

А. И.
ГЕРЦЕН

А. И. ГЕРЦЕН

VIII



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1956

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ВОСЬМОЙ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1852-1868

ЧАСТИ I-III

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА • 1956

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Н. П. ОГАРЕВУ

В этой книге всего больше говорится о двух
личностях. Одной уже нет *, — ты еще остался,
а потому тебе, друг, по праву принадлежит ова.

И с к а н д е р.

1 июля 1860.

Eagle's Nest Bournemouth.



Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить, d'un jet¹, я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений, — мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько *записки*, сколько *исповедь*, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого*, там-сям остановленные мысли из *Дум*. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть*, по крайней мере мне так кажется.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности»^{2*}. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные

¹ сразу (франц.). — *Ред.*

² См. «Тюрьма и ссылка».

мелким шрифтом *; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четыре* месяцев... * Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... * потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью) *; остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки *.

Прошло *пятнадцать лет* ¹, «я жил в одном из лондонских захолустьев, близъ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок *. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастья, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь» *.

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время,— торопиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то слу-

¹ Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года.

чайню попал на них в British Museum'e¹, перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ощутительно увидел, насколько я состарился в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнью и самым счастьем, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы *жизни* и больше никаких следов не видеть.

Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* была отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удалось, — я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности * мои последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного*; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие; это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец, и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко...

¹ Британском музее (англ.). — Ред.

Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд*. Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность *еще* не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зари.

...Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах * было не *тридцать три* года тому назад, а много — три! *

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личною жизнью и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Таков остался наш союз...
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,—
И пусть мечты и люди идут мимо! *



Часть первая

ДЕТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТ

(1812—1834)

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть, и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть *.

Н. Огарев («Юмор»)

ГЛАВА I

Моя нянюшка и *La grande armée*¹.— Пожар Москвы.— Мой отец у Наполеона.— Генерал Иловайский.— Путешествие с французскими пленниками.— Патриотизм.— К. Кало.— Общее управление имением.— Раздел.— Сенатор.

...— Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву,— говаривал я, потягиваясь на своей кровати, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и заветываясь в стеганое одеяло.

— И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почитать пора, лучше завтра пораньше встанете,— отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну как же вы узнали, ну с чего же началось?

— Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой,— все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили: пора ехать, чего ждать? Почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил». Так у нас у всех сердце и опустилось,— сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим — а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш

¹ Великая армия (франц.).— *Ред.*

папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, — такие были щедущие да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

— Сначала еще шло кое-как, первые дни, то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут, да еще делают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны *, дом загорелся; вот Павел Иванович ¹ говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные». Пошли мы, и господа, и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть. Добралась мы, наконец, до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных. Один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хват, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов; видит, что ничего нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки да и бросил. Только они ушли, случилась вот такая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон

¹ Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСКАНДЕРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1812—1838)

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

5, THORNHILL PLACE, CALEDONIAN ROAD, N.

1861.

«Былое и думы», том I. Лондон, 1861. Титульный лист.

выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив. Лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню; должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евши, взосли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть. Не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» Тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице; караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка; она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас — и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже¹, они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: *алле, алле*², а она их ругать, — экие, мол, окаянные, такие, сякие; солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные дома. Так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер...

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы; он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав *la sua dolce favella*³, обещал переговорить с герцогом Тревизским и предвзительно поставить часового в предупреждение диких сцен

¹ поестъ (франц. manger). — *Ред.*

² ступай (франц. aller). — *Ред.*

³ милую родную речь (итал.). — *Ред.*

вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфракe с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского *.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

— Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

— Я принял бы предложение в. в., — заметил ему мой отец, — но мне трудно ручаться.

— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire¹.

— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

— Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых, в четыре часа утра, Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал каббалистическим словом «Москва»; в Москве догадался и он.

Когда мой отец взмолился, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre»².

¹ Ручаюсь честью, государь (франц.). — *Ред.*

² Брату моему, императору Александру (франц.). — *Ред.*

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен *московским* обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

— Что делать с вашими? — спросил казачий генерал Иловайский. — Здесь оставаться невозможно; они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

— Сочтемся после, — сказал Иловайский, — и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, — я был один, возле меня сидел пьяный жандарм *.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В полу-

чении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал, по приказанию государя *, расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не выдавшись ни с кем, кроме старшего брата *, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне не было). Я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца, утром, староста и несколько дворовых с поспешностью вошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать; ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая, ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу: они вошли туда, Старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) среди этих *полудиких* людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти. А *дикие* эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой, как лунь, и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна, вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и, наконец, через год перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца *, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь; дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича; он говорил с чрезвычайно живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк. Но исключительное чувство нацио-

нальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции *. Граф Кенсона, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи имения. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

— Да ведь вы, стало, сражались против нас? — спросил я его пренаивно.

— Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe¹.

— Как,— сказал я,— вы француз и были в нашей армии? Это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замаял разговор. Граф геройски поправил дело; он сказал, обращаясь к моему отцу, что «ему нравятся такие *патриотические* чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять; граф из верности своему королю служил *нашему* императору». Действительно, я этого не понимал.

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его — еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась,— оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, имение нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо.

За мной ходили две нянюшки — одна русская и одна немка; Вера Артамоновна и М-те Прово были очень добрые женщины,

¹ Нет, голубчик, нет, я был в русской армии (франц.).— *Ред.*

но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой, а потому при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора (бывшего посланника), к моему единственному приятелю — к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей. Совершенно одинокий в России, разлученный со всеми своими, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил — он все выносил с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинami — путешествие Гмелина и Палласа и еще толстую книгу «Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вынес. Кало часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз.

Перед днем моего рождения и моих именин Кало запирался в своей комнате; оттуда были слышны разные звуки молотка и других инструментов; часто быстрыми шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая на ключ свою дверь, то с кастрюлькой для клея, то с какими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе представить, как мне хотелось знать, что он готовит; я подсылал дворовых мальчишек выведать, но Кало держал ухо востро. Мы как-то открыли на лестнице небольшое отверстие, падавшее прямо в его комнату, но и оно нам не помогло; видна была верхняя часть окна и портрет Фридриха II с огромным носом, с огромной звездой и с видом исхудалого коршуна. Дни за два шум переставал, комната была отворена — все в ней было по-старому, кой-где валялись только обрезки золотой и цветной бумаги; я краснел, снедаемый любопытством, но Кало, с натянуто серьезным видом, не касался щекотливого предмета.

В мучениях доживал я до торжественного дня, в пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях Кало; часов в восемь являлся он сам в белом галстуке, в белом жилете, в синем ффраке и с пустыми руками. «Когда же это кончится?

Не испортил ли он?» И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и Сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость.

Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне:

— Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человек.

«Вот оно», — думал я, и опускался, скользя на руках по поручням лестницы. Двери в залу открываются с шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчишки, одетые турками, подают мне конфеты, потом кукольная комедия или комнатный фейерверк. Кало в поту, суетится, все сам приводит в движение и не меньше меня в восторге.

Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником, — я же никогда не любил *вещей*, бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст, — усталость от неизвестности, множество свечек, фольги и запах пороха! Недоставало, может, одного — товарища, но я все ребячество провел в одиночестве¹ и, стало, не был избалован с этой стороны.

У моего отца был еще брат, старший обоих *, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; несмотря на то, они именем управляли вместе, т. е. разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он — им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту — меньшие сменяют его

¹ Кроме меня, у моего отца был другой сын *, лет десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с двенадцати и до тридцати он провел под ножом хирургов. Последняя истязания, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, в которых я говорю о его уединенном, печальном существовании, выпущены мной*; я их не хочу печатать без его согласия.

через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормозили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустойством капризных требований.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения, сенат приговорил каждого из братьев к уплате протоней и убытков *по тридцати тысяч* рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки; именье было разбито на три довольно ровные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения; потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме.

Это было одно из тех оригинально-уродливых существ, которые только возможны в оригинально-уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан,— и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти. Он начал свою службу тоже с Измайловского полка, состоял при Потемкине чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры с архиереями он был отставлен, за пощечину, которую хотел дать или дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то господину, ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое тамбовское именье; там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости; он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни.

После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то и другое держал назаперти. Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. Тридцать лет длился у него процесс об аматиевской скрипке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он, по газетам приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал орден, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминанье: чем и чем он мог бы быть и украшен!

Братья и сестры его боялись и не имели с ним никаких сношений, наши люди обходили его дом, чтоб не встретиться с ним, и бледнели при его виде; женщины страшились его наглых преследований, дворовые служили молебны, чтоб не достаться ему.

И вот этот-то страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение; я никогда прежде не видал этого мифического «брата-врага», хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев; мне очень хотелось его посмотреть, и в то же время я боялся — не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца *, двое близких знакомых и один добрый, толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании; вдруг взошел официант и каким-то не своим голосом доложил:

— Братец изволили пожаловать.

— Проси,— сказал Сенатор с приметным волнением. Мой отец принялся нюхать табак, племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлянул. Мне было велено идти вверх, я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате.

Тихо и важно подвигался «братец», Сенатор и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собою, как носят на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью — образ и протяж-

ным голосом, несколько в нос, обратился к братьям с следующими словами:

— Этим образом благословил меня пред своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его... если б покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата...

— Ну, *mon cher frère*¹, — заметил мой отец своим изученно бесстрастным голосом, — хорошо и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминания для вас, да и для нас.

— Как? Что? — закричал набожный братец. — Вы меня за этим звали... — и так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и Сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон.

Что было и как было, я не умею сказать; испуганные люди забились в углы, никто ничего не знал о происходившем; ни Сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имения был сделан, тогда или в другой день — не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное имение в Рузском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

С Сенатором удалялся, во-первых, Кало, а во-вторых, все живое начало нашего дома. Он один мешал ипохондрическому нраву моего отца взять верх, теперь ему была воля вольная. Новый дом был печален, он напоминал тюрьму или больницу; нижний этаж был со сводами, толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур; кругом дома со всех сторон был ненужной величины двор.

В сущности, скорее надобно дивиться, как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они

¹ любезный брат (франц.). — *Ред.*

разъехались. Я редко видал двух человек более противоположных, как они.

Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее,— несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвиллю, чтоб узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ерёме» *, как выражался мой отец в минуты досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует.

Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне; Павел, увидя это в списках, велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод.

— Хочешь оставаться в Лондоне? — спросил сильным голосом Павел.

— Если в. в. угодно будет мне позволить,— отвечал капитан при посольстве.

— Ступай назад, не теряя времени,— ответил Павел сильным голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве.

Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьянской больницы, начальником Александринского института и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.

Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больницы и института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в неделю в Английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.

Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах — все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей... да, сверх того, зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту.

Нельзя ничего себе представить больше противоположного вечно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир, вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей (прескверных), но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч; мой отец их держал отчасти для порядка и отчасти для того, чтоб два кучера и два фореитора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за «Московскими ведомостями» и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором.

Отец мой почти совсем не служил; воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801 он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

После переезда Сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги — все смотрело

с неудовольствием, исподлобья; само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шёпот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальней и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почистить стен.



ГЛАВА II

Разговор нянюшек и беседа генералов.— Ложное положение.—
Русские энциклопедисты.— Скука.— Девичья и передняя.—
Два немца.— Ученье и чтение.— Катехизис и евангелие.

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моем положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, М-ме Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки; все шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров М-ме Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери.

Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастию, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством.

— Я, право,— говаривала, например, М-ме Прово,— на месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт; какая отрада — все капризы да неприятности, скука смертная.

— Разумеется,— добавляла Вера Артамоновна,— да вот что связало по рукам и ногам,— и она указывала спичками чулка на меня.— Взять с собой — куда? к чему? Покинуть здесь одного, с нашими порядками, это и вчуже жаль!

Дети вообще проникательнее, нежели думают, они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе, у Сенатора, и в мужском платье переехала границу; все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца — за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке; я так привык, что всё в доме, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что он всем делал замечания, что не находил этого странным. Теперь я стал иначе понимать дело, и мысль, что доля всего выносятся за меня, заволакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую, детскую фантазию.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась.

Года через два или три, раз вечером, сидели у моего отца два товарища по полку: П. К. Эссен, оренбургский генерал-губернатор, и А. Н. Бахметев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородиным оторвало ногу. Комната моя была возле залы, в которой они уселись. Между прочим мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу.

— Время терять нечего,— прибавил он,— вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтоб до чего-нибудь дослужиться.

— Что тебе, братец, за охота,— сказал добродушно Эссен,—

делать из него писаря? Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем,— это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все.

Мой отец не соглашался, говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии в теплом крае, куда и он бы поехал оканчивать жизнь.

Бахметев, мало бравший участия в разговоре, сказал, вставая на своих костылях:

— Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург, можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно: штатской службой, университетом вы ни *вашему молодому человеку* не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом *в ложном положении*, одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки? А мы-то с вами, да и весь наш круг? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам.

Разговор этот стоил замечаний М-ше Прово и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать *. Такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший прежде, как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе и хотя не разом, но мало-помалу искоренил дотла любовь и нежность к эполетам, аксельбантам, лампасам. Еще раз, впрочем, потухающая страсть к мундиру вспыхнула. Родственник наш *, учившийся в пансионе в Москве и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнурочками, с саблей и

в четвероугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем кудом мундире с красными выпушками! А этишкететы, а помпон, а лядунка... что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны?

Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира.

Внутренний результат дум о «ложном положении» был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что, в сущности, я оставлен на собственные свои силы, и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу * с товарищами.

При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почерпелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье, я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней.

На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов, — так идет всякий разговор, так идет самая жизнь.

Дети вообще любят слуг; родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как

в тысяче других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайпая» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен.

Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они, действительно, не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать,-- которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севильскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?» *

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками

и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие — я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится с *своим* товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение — это Клейнмихели конюшнии, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой — крестьянской простоты, при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны.

Вино и чай, кабак и трактир — две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство * и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край — когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил, лет пятнадцать тому назад, Сенковский в «Библиотеке для чтения». В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, — человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе Irish или Scotch whisky¹ да молчали бы, а то с их бесчеловечной филантропией они накличутся на страшные ответы.

Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает — его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю.

Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не пускают корней; ум их постоянно занят или, лучше, рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трустить взрослого

¹ ирландскую или шотландскую водку (англ.). — *Ред.*

мужчину, и та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех из слуг моего отца: вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было больших грехов; а если кой-что случилось, так уже покончено на духу с «батюшкой».

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для них они — дети, а для слуг — лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для *них*, из снисхождения уступают им, дразнят их и оставляют игру, как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабых и простых*.

Встарь бывала, как теперь в Турции, патриархальная, династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на страшном судилище Христовом, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару божью, не как искуc, — а просто оттого, что он беззащитен; сила солону ломит.

Я знавал еще в молодости два-три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение.

В одной из деревень Сенатора проживал на покое, т. е. на хлебе, дряхлый старик Андрей Степанов.

Он был камердинером Сенатора и моего отца во время их службы в гвардии, добрый, честный и трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было не легко. Потом он управлял подмосковной. Отрезанный сначала войной 1812 года

от всякого сообщения, потом один, без денег, на пепелище выгорелого села, он продал какие-то бревна, чтоб не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и наконец добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним.

Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа глубоко трогали меня.

— Слышал я, государь мой, — говорил он однажды, — что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдам, а ведь не сподобил меня господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!

Я смотрел на старика: его лицо было так детски откровенно, скорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос — все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в «кавалерии и регалиях» человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это: святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?

Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу; они, наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.

Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.

Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, т. е. не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.

Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству «частного дома»*, были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены... Являлись два полицейские солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платок.

Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразили вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафа, но помогать от бесчестья.

Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти стольких же женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить *мальчишек и девчонок*, которых приучали к службе, т. е. к праздности, лени, глянью и к употреблению сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни в России, я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам — рублем меньше, детям лет с десяти — половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из ста рублей ассигнациями в год, другие получали половину, некоторые тридцать рублей в год. Мальчики

лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада, людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получавшим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, т. е. на баню и *говенье*. Взяв все в расчет, слуга обходился рублей в триста ассигнациями; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем трехсот пятидесяти рублей. Это составляет *четвертую* часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.

Плантаторы обыкновенно вводят в счет *страховую* премию рабства, т. е. содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно понижается — премией *страха* телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.

Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи или стоя с тарелкой за столом, — нет места сомнению.

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, — люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.

В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное — наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.

Почтенный старец этот постоянно был сердит, или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и треском отбросить

ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела; сумрачно и навытяжке стоял на запятках и всякий раз, когда его подтряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру: «Легче!», несмотря на то что рытвина уже была на пять шагов сзади.

Главное занятие его, сверх езды за каретой, — занятие, добровольно возложенное им на себя, — состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая; он отворял мне дверь в залу и говорил:

— Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу.

Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам нередко прибавлял он и тумак или «ковырял масло», т. е. щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцем по голове.

Когда он разгонял, наконец, мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета, большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок; тут он заводил с ним разговор.

— Что же ты, дурак, сидишь на дворе, на морозе, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза — ну? Ничего не отвечаешь?

За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок.

— Впрямь, корми собаку — все собака останется; зубы скалит и не подумает, на кого... Блохи бы заели без меня!

И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и, с полным негодованием оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами «мерза-

вещ!» и давал ему ногой толчок. Тут обыкновенно возвращались мальчики, и он принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменялся, и крупная слеза скатилась по щеке — собака умерла. Вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел; это был суровый нрав, подкрепляемый сивухой и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.

Но рядом с этими дилетантами рабства какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти.

У Сенатора был повар, необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый, он шел в гору; сам Сенатор хлопотал, чтоб его приняли в кухню государя, где тогда был знаменитый повар-француз. Поучившись там, он определился в Английский клуб, разбогател, женился, жил барином; но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением.

Собравшись с духом и отслуживши молебен Иверской, Алексей явился к Сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч ассигнациями. Сенатор гордился *своим* поваром точно так, как гордился *своим* живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти.

Повар был поражен, как громом; погрустил, переменялся в лице, стал сидеть и... русский человек — принялся попивать. Дела свои повел он спустя рукава, Английский клуб ему отказал. Он нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выражаться красноречиво, сказал ей с своим важным видом, своим голосом в нос:

— Какая непрозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле!

Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует русской барыне, написала жалобу Сенатору. Сенатор ничего бы не

сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения.

Повар к княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил: от капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним, да и пошла в няньки куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея, обтерханного, одичалого; его подняли на улице, квартиры у него не было, он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтоб помещик его прибрал. Больно было Сенатору, а может, и совестно; он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи; он действительно, не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, воображая, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломлен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрыпом зубов и с мимикой, которая, особенно в поваре, могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил и часто, фамильярно трепля меня по плечу, говорил:

— Добрая ветвь испорченного древа.

После смерти Сенатора мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно и значило сбыть его с рук; он так и пропал.

Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У Сенатора был, вроде письмоводителя, дворовый человек лет тридцати пяти. Старший брат моего отца*, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчиком какому-то знакомому врачу для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии; молодой человек был с способностями, выучился по-латыни, по-немецки и лечил кой-как. Лет двадцати пяти он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, несколько их не теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжалась; она

не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толочанов, должно быть, очень любил ее; он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги; когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочанов взошел при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься и просит его сказать Сенатору, что деньги, которых недостает, истратил он.

— Ты пьян, — сказал ему мой отец, — поди и выпись.

— Я скоро пойду спать надолго, — сказал лекарь, — и прошу только не поминать меня злом.

Спокойный вид Толочанова испугал моего отца, и он, пристальнее посмотрев на него, спросил:

— Что с тобою, ты бредишь?

— Ничего-с, я только принял рюмку мышьяку.

Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молока... Когда его начало тошнить, он удерживался и говорил:

— Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил.

Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдальческий голос, повторявший:

— Жжет! Жжет! Огонь!

Кто-то посоветовал ему послать за священником, он не хотел и говорил Кало, что жизни за гробом быть не может, что он *настолько знает анатомию*. Часу в двенадцатом вечера он спросил штаб-лекаря по-немецки, который час, потом, сказавши: «Вот и Новый год, поздравляю вас», — умер.

Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, — туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер: во фраке, без галстука, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет! огонь!»

В заключение этого печального предмета скажу только одно: на меня передняя не сделала никакого действительно

дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок, — вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: *таким, как другие* по крайней мере, я не сделался.

Сверх передней и девичьей, было у меня еще одно рассеяние, и тут по крайней мере не было мне помехи. Я любил чтение столько же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьезному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог теоретического изучения языков, но очень скоро выучивался кой-как понимать и болтать с грехом пополам, и на этом останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтения.

У отца моего вместе с Сенатором была довольно большая библиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудami в сырой, нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало; мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, т. е. сию смирно, и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе, — иные прятались в шифоньер.

Что же я читал? Само собою разумеется, романы и комедии. Я прочел томов пятьдесят французского «Репертуара»* и русского «Феатра»*; в каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверх французских романов, у моей матери были романы Лафонтена, комедии Коцебу, — я их читал раза по два. Не могу сказать, чтоб романы имели на меня большое влияние; я бросался с жадностью на все двусмысленные или несколько растрепанные сцены, как все мальчишки, но они не занимали меня особенно. Гораздо сильнейшее влияние имела на меня пьеса, которую я любил без ума, перечитывал двадцать раз, и притом в русском переводе «Феатра», — «Свадьба Фигаро».

Я был влюблен в Херубима и в графиню, и, сверх того, я сам был Херубим; у меня замирало сердце при чтении, и, не давая себе никакого отчета, я *чувствовал* какое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где пажу одевают в женское платье, мне страшно хотелось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайком целовать ее *. На деле я был далек от всякого женского общества в эти лета.

Помню только, как изредка по воскресеньям к нам приезжали из пансиона две дочери Б. Меньшая, лет шестнадцати, была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила в комнату, не смел никогда обращаться к ней с речью, а украдкой смотрел в ее прекрасные темные глаза, на ее темные кудри. Никогда никому не заикался я об этом, и первое дыхание любви прошло, не сведанное никем, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встречался с нею, сильно билось сердце, и я вспоминал, как я двенадцати лет от роду молился ее красоте.

Я забыл сказать, что «Вертер» меня занимал почти столько же, как «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понимал и пропускал, торопясь скорее дойти до страшной развязки, тут я плакал, как сумасшедший. В 1839 году «Вертер» попался мне случайно под руки, это было в Владимире; я рассказал моей жене, как я мальчиком плакал, и стал ей читать последние письма... И когда дошел до того же места, слезы полились из глаз, и я должен был остановиться.

Лет до четырнадцати, я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическом здоровье, рядом с полным равнодушием к нравственному, страшно надоедала. Предостережения от простуды, от вредной пищи, хлопоты при малейшем насморке, кашле. Зимой я по неделям сидел дома, а когда позволялось проехаться, то в теплых сапогах, шарфах и пр. Дома был постоянно нестерпимый жар от печей. Все это должно было сделать из меня хилого и изнеженного ребенка, если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья. Она, с своей стороны, вовсе не делила этих предрассудков и на своей половине позволяла мне все то, что запрещалось на половине моего отца.

Учение шло плохо, без соревнования, без поощрений и одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя рукава и думал памятью и живым соображением заменить труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись в цене — лишь бы они приходили в свое время и сидели свой час, — они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета в том, что делали.

Одним из самых странных эпизодов моего тогдашнего учения было приглашение французского актера Далеса давать мне уроки декламации.

— Нынче на это не обращают внимания, — говорил мне мой отец, — а вот брат Александр — он шесть месяцев сряду всякий вечер читал с Офреном *le récit de Thérémène*^{1*} и все не мог дойти до того совершенства, которого хотел Офрен.

Затем принялся я за декламацию.

— А что, *monsieur Dalès*², — спросил его раз мой отец, — вы можете, я полагаю, давать уроки танцевания?

Далес, толстый старик за шестьдесят лет, с чувством глубокого сознания своих достоинств, но и с не меньше глубоким чувством скромности отвечал, что «он не может судить о своих талантах, но что он часто *давал советы* в балетных танцах *au Grand Opéra*»³.

— Я так и думал, — заметил ему мой отец, поднося ему свою открытую табакерку, чего с русским или немецким учителем он никогда бы не сделал. — Я очень хотел бы, если б вы могли *le dégoûdier un peu*⁴, после декламации, немного бы потанцевать.

— *Monsieur le comte peut disposer de moi*⁵.

И мой отец, безмерно любивший Париж, начал вспоминать о фойе Оперы в 1810, о молодости Жорж, о преклонных летах Марс и расспрашивать о кафе и театрах.

Теперь вообразите себе мою небольшую комнатку, печальный зимний вечер, окна замерзли, и с них течет вода по вере-

¹ рассказ Терамена (франц.). — *Ред.*

² господин Далес (франц.). — *Ред.*

³ в «Большой Опере» (франц.). — *Ред.*

⁴ сделать его поразвязнее, растормошить (франц.). — *Ред.*

⁵ граф может располагать мною (франц.). — *Ред.*

вочке, две сальные свечи на столе и наш tête-à-tête¹. Далес на сцене еще говорил довольно естественно, но за уроком считал своей обязанностью наиболее удаляться от натуры в своей декламации. Он читал Расина как-то нараспев и делал тот пробор, который англичане носят на затылке, на цезуре каждого стиха, так что он выходил похожим на надломленную трость.

При этом он делал рукой движение человека, попавшего в воду и не умеющего плавать. Каждый стих он заставлял меня повторять несколько раз и все качал головой.

— Не то, совсем не то! Attention! «Je crains Dieu, cher Abner, — тут пробор, он закрывал глаза, слегка качал головой и, нежно отталкивая рукой волны, прибавлял: — et n'ai point d'autre crainte»².

Затем старичок, «ничего не боявшийся, кроме бога», смотрел на часы, свертывал роман и брал стул: *это была моя дама*.

После этого нечему дивиться, что я никогда не танцевал.

Уроки эти продолжались недолго и прекратились очень трагически недели через две.

Я был с Сенатором в французском театре; проиграла увертюра и раз, и два — занавесь не подымалась; передние ряды, желая показать, что они знают *свой* Париж, начали шуметь, как там шумят *задние*. На авансцену вышел какой-то режиссер, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказал:

— Мы просим всего снисхождения публики; нас постигло страшное несчастье: наш товарищ Далес,— и у режиссера действительно голос перервался слезами, — найден у себя в комнате мертвым от угара.

Таким-то сильным средством избавил меня русский чад от декламации, монологов и монотанцев с моей дамой о четырех точеных ножках из красного дерева.

Лет двенадцати я был переведен с женских рук на мужские. Около того времени мой отец сделал два неудачных опыта приставить за мной немца.

¹ разговор наедине (франц.).— *Ред.*

² Внимание! «Я боюсь бога, дорогой Абнер,... а ничего другого не боюсь» (франц.).— *Ред.*

Немец при детях — и не гувернер, и не дядька, это совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печется о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе, как по-немецки. Если есть в доме гувернер, немец ему покоряется; если есть дядька, он покоряется немцу. Учители, ходящие по билетам, опаздывающие по непредвидимым причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, строят немцу куры, и он при всей безграмотности начинает себя считать ученым. Гувернанты употребляют немца на покупки, на всевозможные комиссии, но позволяют ухаживать за собой только в случае сильных физических недостатков и при совершенном отсутствии других поклонников. Лет четырнадцати воспитанники ходят тайком от родителей к немцу в комнату курить табак, он это терпит, потому что ему необходимы сильные вспомогательные средства, чтоб оставаться в доме. В самом деле, большей частью в это время немца при детях благодарят, дарят ему часы и отсылают; если он устал бродить с детьми по улицам и получать выговоры за насморк и пятна на платьях, то немец *при детях* становится просто немцем, заводит небольшую лавочку, продает прежним питомцам мундштуки из янтаря, одеколонь, сигарки и делает другого рода *тайные* услуги им¹.

Первый немец, приставленный за мною, был родом из Шлезии и назывался Йокиш; по-моему, этой фамилии было за глаза довольно, чтоб его не брать. Высокий плешивый мужчина, он отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своим знанием агрономии, я думаю, что отец мой именно поэтому его и взял. Я с отвращением смотрел на шленского великана и только на том мирился с ним, что он мне рассказывал, гуляя по Девичьему полю и на Пресненских прудах, сальные анекдоты, которые я передавал передней. Он прожил не больше года, напакостил что-то в деревне, садовник хотел его убить косой, отец мой велел ему *убираться*.

¹ Органист и учитель музыки, о котором говорится в «Записках одного молодого человека», И. И. Эрк* давал только уроки музыки, не имея никакого влияния.

На его место поступил брауншвейг-вольфенбюттельский солдат (вероятно, беглый) Федор Карлович, отличавшийся каллиграфией и непомерным тупоумием. Он уже был прежде в двух домах при детях и имел некоторый навык, т. е. придавал себе вид гувернера, к тому же он говорил по-французски на «ши», с обратным ударением ¹.

Я не имел к нему никакого уважения и отравлял все минуты его жизни, особенно с тех пор, как я убедился, что, несмотря на все мои усилия, он не может понять двух вещей: десятичных дробей и тройного правила. В душе мальчиков вообще много беспощадного и даже жестокого; я с свирепостью преследовал бедного вольфенбюттельского егеря пропорциями; меня это до того занимало, что я, мало вступавший в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Федора Карловича.

К тому же Федор Карлович мне похвастался, что у него есть новый фрак, синий, с золотыми пуговицами, и действительно я его видел раз отправляющегося на какую-то свадьбу во фраке, который ему был широк, но с золотыми пуговицами. Мальчик, приставленный за ним, донес мне, что фрак этот он брал у своего знакомого сидельца в косметическом магазине. Без малейшего сожаления пристал я к бедняку: где синий фрак? — да и только.

— У вас в доме много моли, я его отдал к знакомому портному на сохранение.

— Где живет этот портной?

— Вам на что?

— Отчего же не сказать?

— Не надобно не в свои дела мешаться.

— Ну, пусть так, а через неделю мои именины, — утешьте меня, возьмите синий фрак у портного на этот день.

— Нет, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертинент» ².

И я грозил ему пальцем.

Надобно же было для последнего удара Федору Карловичу,

¹ Англичане говорят хуже немцев по-французски, но они только коверкают язык, немцы *оподляют* его.

² дерзкий (франц. impertinent). — *Ред.*

чтоб он раз при Бушо, французском учителе, похвастался тем, что он был рекрутом под Ватерлоо и что немцы дали страшную таску французам. Бушо только посмотрел на него и так страшно понюхал табак, что победитель Наполеона несколько сконфузился. Бушо ушел, сердито опираясь на свою сучковатую палку, и никогда не называл его иначе, как *le soldat de Vilain-ton*¹. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже *, и не мог нарадоваться на выдумку Бушо.

Наконец товарищ Блюхера рассорился с моим отцом и оставил наш дом; после этого отец мой не теснил меня больше немцами.

При брауншвейг-вольфенбюттельском воине я иногда похаживал к каким-то мальчикам, при которых жил его приятель тоже в должности «немца» и с которыми мы делали дальние прогулки; после него я снова оставался в совершенном одиночестве — скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если б вскоре новая умственная деятельность и две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах.

Изредка отпускал он меня с Сенатором в французский театр, это было для меня высшее наслаждение; я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полпиесы и, вечно куда-нибудь званный, увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина, мы жили в Старой Конюшенной, т. е. очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без Сенатора.

Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника * давать мне уроки богословия, *насколько* это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скром-

¹ Игра слов: «*le soldat de Vilain-ton*» — «солдат дурного тона» — звучит по-французски так же, как «*le soldat Wellington*» — «солдат Веллингтона». — *Ред.*

ной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимой он извинялся тем, что священник и дьякон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных.

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, — талант, который я сохранил до совершенноголетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная *mise en scène*¹ поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговорившись после заутрени на святой

¹ постановка (франц.). — *Ред.*

неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. «Но господь бог, — говорил он, — раскрыв ум, не раскрыл еще сердца». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского сумею держать ответ.

Вскоре религия другого рода овладела моей душой.



ГЛАВА III

Смерть Александра I и 14 декабря.— Нравственное пробуждение.— Террорист Бушо.— Корчевская кузина.

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастью, мне не долго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шёпотом подзывало меня; это был лакей Сенатора. Я бросился к двери.

— Вы не слышали? — спросил он.

— Чего?

— Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры*. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поровнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд

«войство гремучей змеи — останавливать кровь в жилах¹. Если наружная кротость Александра была личина, не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья.

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии²; но систематического преследования не было. Тай-

¹ Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, т. е. в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех *лейб*-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марье Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него и глаза сделались еще свирепее; тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг; лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски-царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон-Жуане»*. Николай встал, — он почувствовал, что нашла коса на камень.

² Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев — «самый близкий человек к государю». — «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, — заметил секретарь, — он не только близок к государю, но си-

ная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии под начальством старого волтерьянца, остряка и болтуна и юмориста вроде Жуи де-Санглена. При Николае де-Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «в. в., у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан¹.

Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного

дит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братьев о Христе и о внутреннем человеке»*. Лабзина сослали в Симбирск.

¹ Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и *патриот* Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандалу, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня,— сказал ему граф,— но для полного сходства у вас недоставало одного — этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости.

достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... И у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед *, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о *несчастных*.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй*, которая очень мало известна.

В старинном доме Ивашевых жила молодая француженка гувернанткой *. Единственный сын Ивашева * хотел на ней жениться. Это свело с ума всю родню его; гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им *; ее уговорили уехать из Петербурга, его — отложить до поры до времени свое намерение. Ивашев был одним из энергических заговорщиков; его приговорили к вечной каторжной работе. От этой *mésalliance*¹ родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашеву. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения; ему не удалось — и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не *изменивших* мужьям, сосланным в каторжную работу, присово-

¹ неравного брака (франц.).— *Ред.*

купляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась в Сибирь — он ничем не облегчил ее судьбу.

Царь был строг, но справедлив.

В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство опишется с Петербургом, в каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашеве и дать ему весть о себе.

Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник; он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашева. Через день он предложил ей носить от Ивашева вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера; когда наступала ночь, он брал письмецо Ивашева и отправлялся, не смотря ни на бураны, ни на свою усталость, и возвращался к свету на свою работу¹.

Наконец пришло позволение, их обвенчали. Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу. Ивашев не пережил ее, он умер ровно через год после нее, но и *тогда* он уже не был здесь; его письма (поразившие третье отделение) носили след какого-то безмерно грустного, святого лунатизма, мрачной поэзии; он, собственно, не жил после нее, а тихо, торжественно умирал.

¹ Люди, хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника. И что, говоря о возвращении детей и о участи брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашева. Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому через незнакомого раскольника? Целы ли письма Ивашева? Нам кажется, будто мы имеем право на них.

Это «житие» не оканчивается с их смертью. Отец Ивашева, после ссылки сына, передал свое имение незаконному сыну*, прося его не забывать бедного брата и помогать ему. У Ивашевых осталось двое детей, двое малюток без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири — без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашева испросил у Николая позволение взять детей к себе; Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу: он ходатайствовал о возвращении им имени отца; удалось и это.

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, — коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце...* Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля*.

Народ русский отвык от смертных казней; после Миловидова, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь *de jure*¹ не существовала*. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, — сказал Павел, —

¹ юридически (лат.). — *Ред.*

они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», — и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала незаконно, а потом привенчал ее к своему своду *.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле ¹*. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву *. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

В Ватикане есть новая галерея *, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двойится; с одной

¹ «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» («Полярная звезда» на 1855)*.

стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле. Но есть и другой — это тип воспачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет — это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы *гвардейские и армейские* императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?

Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело между прочим целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светложелтого цвета взъерошенными бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сторбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженного, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года * о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал *гатчинским*, если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина: «Ода на свободу» *, «Кинжал», «Думы» Рылеева, я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!) *

Разумеется, что и чтение мое переменялось. Политика вперед, а главное — история революции; я ее знал только по рассказам М-ше Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем,— спросил я его середь урока,— казнили Людовика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître à la patrie¹.

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов²; для меня было довольно; ясное дело, что поделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям

¹ Потому что он изменил отечеству (франц.).— *Ред.*

² сослагательных наклонений (франц. subjonctif).— *Ред.*

régicides ¹, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх *. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

— Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца *. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко; она приезжала раз в год на святки или об масленицу погостить в Москву с своей теткой *. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, т. е. не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 г., но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях — и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смазывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению записывая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гексамет-

¹ пареубийственным (франц.). — *Ред.*

ре», страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады»,— вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... Я вспыхнул в лице, мне было не до рубленного гнева «Ахиллеса, Пелеева сына» *; я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шالях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» * Словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек,— пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности — самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть ли не самая важная: она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шею, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями *дает* юность человеку, но человека сложившегося *берет* для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти не зависящих от него; он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение — все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери * она лишилась ре-

бенком. Отец * был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. *Les beaux restes*¹ своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын * его, уданский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели; девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря *. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Совсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали» *, она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Феодоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «*Il a repris son sourire de bienveillance!*»²

Можно себе представить стройное *trio*, составленное из отца — игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще, между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

¹ Остатки (франц.). — *Ред.*

² На его устах вновь появилась благосклонная улыбка (франц.). — *Ред.*

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она правственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак — вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак — вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретила с неумолимой логикой жизни — с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца — своей матерью.

С своей стороны и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она, наконец, склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю * и Анахарсисово путешествие *. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, заворачивая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще, она любила мне читать морали, — если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастью, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке, вместо археологического романа, и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневика и гороховый кисель с постным маслом, а летом — крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, — и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я — будущий «Брут или Фабриций» *.

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном доломане; это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадроном, какой чистый огонек теплился для него в груди восемнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, — вероятно, немножко, — но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы; в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон *espègleterie*¹, который всегда был моим злым искусителем, наустил меня переменить булавку, т. е. воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменялась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, дождавшись с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помирились, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан, — его-то волан и был отмечен.

¹ шалости (франц.). — *Ред.*

Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картон, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы — она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневика и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору — так что-то холодно и дурно, взшел в свою комнату — и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал — где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало — в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...

«Едем мы нынешний год в Васильевское или нет?» Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно, — для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем. Отец мой говорил Сенатору, что очень хотелось бы ему отдохнуть в деревне и что хозяйство требует его присмотра, но опять проходили недели.

Мало-помалу дело становилось вероятнее, запасы начинали отправляться: сахар, чай, разная крупа, вино — тут снова пауза, и, наконец, приказ старосте, чтоб к такому-то дню прислал столько-то крестьянских лошадей, — итак, едем, едем!

Я не думал тогда, как была тягостна для крестьян в самую рабочую пору потеря четырех или пяти дней, радовался от души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я с внутренним удовольствием слушал их жеванье и фырканье на дворе и принимал большое участие в суете кучеров, в спорах людей о том, где кто сядет, где кто положит свои пожитки; в людской огонь горел до самого утра, и все укладывались, таскали с места на место мешки и мешочки и одевались по-дорожному (ехать всего было около восьмидесяти верст!). Всего более раздражен был камердинер моего отца, он чувствовал всю важность укладки, с ожесточением выбрасывал все положенное другими, рвал себе волосы на голове от досады и был неприступен.

Отец мой вовсе не раньше вставал на другой день, — казалось, даже позже обыкновенного, так же продолжительно пил кофе и, наконец, часов в одиннадцать приказывал закладывать лошадей. За четвероместной каретой, заложенной шестью господскими лошадьми, ехали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или, вместо ее, две телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками; несмотря на обозы, прежде отправленные, все было битком набито, так что никому нельзя было порядочно сидеть.

На поддороге мы останавливались обедать и кормить лошадей в большом селе Перхушкове, имя которого попало в наполеоновские бюлteni. Село это принадлежало сыну «старшего брата», о котором мы говорили при разделе. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями; но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались, шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры прежнего владельца доживала свой век в этой ссылке; я с любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскоро дорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистр, седой старик с шишкой на голове; повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг; бурмистр слушал его и по временам лаконически отвечал: «И то — пожа-

луй, что и так» — и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая: «Когда нелегкое их пронесет».

Обед подавался на особенном английском сервизе из жести или из какой-то композиции, купленном *ad hoc*¹. Между тем лошади были заложены; в передней и в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов: лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливými горничными лет тридцать тому назад,— вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети с светлопалевыми волосами; босые и запачканные, они всё совались вперед, старухи всё их дергали назад; дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов; одни подходили к *ручке*, которую он никогда не давал, другие кланялись,— и мы уезжали.

В нескольких верстах от Вяземы князя Голицына дожидался васьлевский староста, верхом, на опушке леса, и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стрелка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему.

Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или имение Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина монастыря. На отлогой стороне — село, церковь и старый господский дом. По другую сторону — гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквями видны были там-сям; леса разных цветов делали полукруглую раму, и через все — голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал.

¹ для данного случая (лат.).— *Ред.*

При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сених росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро — лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сторбленный старик-садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево и все затихнет... А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом... Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.

Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса *, читал сам о себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал *философскую* статью о Шиллеровом Валленштейне * — и из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх палубы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускаясь в нем... Вдруг густой пурпур сменился синей темпотою; все подернулось дымчатым испарением, — в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим * надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустили на колена и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга... и тихим шагом поехали к остерии ¹, где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?

Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо *.

(«Юмор»)

...Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, блеянье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курц-галопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе — но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети, девочки — встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь

¹ ресторану (итал. osteria). — *Ред.*

стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:

— Что это вас нигде не сыщешь? И чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. Вот будет завтра насморк, непременно будет.

— Ну, полноте, полноте,— говорил я, смеясь, старушке,— и насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдьте сливок получше, с самого верху.

— В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя... Лакомство какое! Сливики-то я уж и без вашего спроса приготовила. А вот зарница... хорошо! Это к хлебу зарит.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его *. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского *. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку,— этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг,— вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются... Ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувши третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостиhi, муж ее был на поле.

Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно

мне показывало что-то, я подошел — это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаяннем и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала:

— Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала — а я — уж я-то — о-о-ох — и не говори!

Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас; он сначала не узнал меня, но когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся: староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, клапаящаяся середь нивы, знакомо проводила нас из отчуждившегося Васильевского.





ГЛАВА IV

НИК И ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

«Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей» *.

Письмо 1833.

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, т. е. по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке, он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем,— прибавил он,— мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака,— это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца *. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормозить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно об- * был старинный,
Пред в ньем каждый раз
Ходил . поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шопотом творя,
И четки все перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел...
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такую тишиной
Кругом дышало, только чтение

Дьячков звучало, и с душой
Дружилося тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущение
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал *.

«Юмор»)

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана» *, от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта *, переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчишками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *бушотовским* терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Все так,— заметил юный князь О.,— но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно, когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль — Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки * было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, купающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки, дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина *самого* покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга, так же как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, — но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и *sans-gêne*¹ филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минуту шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

¹ беспереборности (франц.). — *Ред.*



Н. П. ОГАРЕВ

Портрет работы неизвестного художника. 1830-е годы.

Государственный Исторический музей. Москва

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были не шуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состареться до безобразия и быть попрежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормозящий надзор Карла Ивановича,— но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сторбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запахавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу *.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма *, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии,— сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. *Сила* сломила в нас многое, *но не она* нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны, — свихнутая нога Иакова была знаменем того, что он боролся ночью с богом *.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно» *.

«Напиши, — заключал он, — как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей» *.

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, — но не с Ником *.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане, *он* с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виделось в нем то помазание, которое достается немногим, — на беду ли, на счастье ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827—28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась

задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина * — может, ей попадутся эти строки и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать *ты* и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру ¹.

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» * и благословить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «*Bet awill schlafen*» ² *, но в свое время этот отроческий язык, этот *jargon de la puberté* ³, эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

¹ «Philosophische Briefe».

² «Беттина хочет спать» (нем.). — *Ред.*

³ жаргон возмужалости (франц.). — *Ред.*

Шиллер остался нашим любимцем¹; лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фие-ско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл — смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена².

...А не странно ли подумать, что умеи Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником, или позже, иначе, не в той комнатке

¹ Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния; несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это, гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Butschen (молодых старичках), которые так хорошо знают недостатки его в семнадцать лет?..

² Писано в 1853 году.

нашего старого дома, где мы, тайком курия сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его — наш «старый дом» *.

Старый дом, старый друг! посетил я,
Наконец, в запустенье тебя,
И бывшее опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой,
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнате счастье бывшее,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал *.



ГЛАВА V

Подробности домашнего жияья.— Люди XVIII века в России.— День у нас в доме.— Гости и habitués ¹.— Зонненберг.— Камердинер и пр.

Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб.

Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа, он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек accompli ², он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех.

Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух вещей до того противоположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию,— помещичьей праздности.

¹ завсегдатаи (франц.).— *Ред.*

² совершенный (франц.).— *Ред.*

Прошрое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе — отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме.

К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский *grand seigneur*¹ и татарский князь Н. Б. Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и *esprits forts*², всех этих Масальских, Санти и *tutti quanti*³. Все они были люди довольно развитые и образованные; оставленные без дела, они бросились на наслаждения, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения, возвышали до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтoб в этом убедиться, достаточно раз побывать в Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал вразбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и живою красотой. В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание*, и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр.

¹ большой барин (франц.).— *Ред.*

² вольнодумцев (франц.).— *Ред.*

³ всяких других (итал.).— *Ред.*

Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни и связям принадлежал к этому же кругу; но ему ни его нрав, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь, и он перешел в противоположную крайность. Он хотел себе устроить жизнь одинокую, в ней его ждала смертельная скука, тем более, что он только *для себя* хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы, незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым.

Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски, он *à la lettre*¹ не читал ни одной русской книги, ни даже библии. Впрочем, библии он и на других языках не читал; он знал понаслышке и по отрывкам, о чем идет речь вообще в св. писании, и дальше не полюбостествовал заглянуть. Он уважал, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского*, Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Н. Н. Бахметева. Как-то мой отец принялся за Карамзина «Историю государства Российского», узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: «Все Изяславиичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?»

Людей он презирал откровенно, открыто — всех. Ни в каком случае он не считал ни на кого, и я не помню, чтоб он к кому-нибудь обращался с значительной просьбой. Он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними он требовал одного — сохранения приличий; *les apparences les convenances*² составляли его нравственную религию. Он много прощал, или, лучше, пропускал сквозь пальцы, но нарушение форм и приличий выводили его из себя, и тут он становился без всякой терпимости, без малейшего снисхождения и сострадания. Я так долго возмущался против этой несправедливости, что, наконец, понял ее: он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит; в нарушении же

¹ буквально (франц.).— *Ред.*

² видимость, приличия (франц.).— *Ред.*

форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества.

«Душа человеческая,— говаривал он, — потемки, и кто знает, что у кого на душе; у меня своих дел слишком много, чтоб заниматься другими да еще судить и пересуживать их намерения; но с человеком дурно воспитанным я в одной комнате не могу быть, он меня оскорбляет, *фруасирует*¹; а там он может быть добрейший в мире человек, за то ему будет место в раю, но мне его не надобно. В жизни всего важнее *esprit de conduite*², важнее превыспренного ума и всякого ученья. Везде уметь найтись, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности».

Отец мой не любил никакого abandon³, никакой откровенности, он все это называл фамильярностью, так, как всякое чувство — сентиментальностью. Он постоянно представлял из себя человека, стоящего выше всех этих мелочей; для чего, с какой целью? в чем состоял высший интерес, которому жертвовалось сердце? — я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренно презиравший людей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного судьи? Для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то, что она иногда ему противуречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непорочность*, для дюжины лакеев, которых он не считал людьми!

И сколько сил, терпения было употреблено на это, сколько настойчивости, и как удивительно верно была доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни. Действительно, душа человеческая — потемки.

Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность.

¹ задевает, раздражает, от *froisser* (франц.).— *Ред.*

² умение вести себя (франц.).— *Ред.*

³ вольности, несдержанности (франц.).— *Ред.*

Разумеется, он не был счастлив: всегда настороже, всем недовольный, он видел с стесненным сердцем неприязненные чувства, вызванные им у всех домашних; он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил; он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмешка, ирония, холодная, язвительная и полная презрения — было орудие, которым он владел артистически, он его равно употреблял против нас и против слуг. В первую юность многое можно скорее вынести, нежели *шпынянье*, и я, в самом деле, до тюрьмы удалялся от моего отца и вел против него маленькую войну, соединяясь с слугами и служанками.

Кто всему остальному, он уверил себя, что он опасно болен, и беспрестанно лечился; сверх домового лекаря, к нему ездили два или три доктора, и он делал по крайней мере три консилиума в год. Гости, видя постоянно неприязненный вид его и слушая одни жалобы на здоровье, которое далеко не было так дурно, редели. Он сердился за это, но ни одного человека не упрекнул, не пригласил. Страшная скука царила в доме, особенно в бесконечные зимние вечера — две лампы освещали целую анфиладу комнат; сгорбившись и заложив руки на спину, в суконных или поярковых сапогах (вроде валенок), в бархатной шапочке и в тулупе из белых мерлушек ходил старик взад и вперед, не говоря ни слова, в сопровождении двух-трех коричневых собак.

Вместе с меланхолией росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своим именем он управлял дурно для себя и дурно для крестьян. Старосты и его *missi dominici*¹ грабили барина и мужиков; зато все находившееся на глазах было подвержено двойному контролю; тут береглись свечи и тощий *vin de Graves*² заменялся кислым крымским вином в то самое время, как в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое лето

¹ господские сподручные (лат.). — *Ред.*

² сорт белого вина (франц.). — *Ред.*

ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля; он при мне раз на дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок. С тех пор я не мог на него равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько раз говорил моему отцу:

— Откуда же Шкун взял деньги на покупку дома?

— Вот что значит трезвость, — отвечал мне старик, — он капли вина в рот не берет.

Всякий год около масленицы пензенские крестьяне * привозили из-под Керенска оброк *натурой*. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свинными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали *за воду* в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы — *за тепло* в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги, делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутой старой ливрейной шинели, без жилета и куртки, в сенях кухни. Никита Андреевич, видимо, худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отворотить этого нельзя.

После приема мерзлой *жизности* отец мой, — и тут самая замечательная черта в том, что эта шутка повторялась ежегодно, — призывал повара Спиридона и отправлял его в Охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше, чем вполовину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец, Слепушкин

предлагал взять все гулом: и яйца, и поросят, и масло, и рожь, «чтоб вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было». Цену он давал, само собою разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался, Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару — двухсотрублевую ассигнацию.

Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги, он и тут был оригинален, именно потому, что глубоко изучил характер старика.

Выпросит, бывало, себе рублей пятьсот месяца на два и за день до срока является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с пятьюстами рублей на куличе. Отец мой брал деньги, Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы, тысячи полторы. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок; отец мой ставил его в пример; а тот через неделю увеличивал куш и имел таким образом для своих оборотов тысяч пять в год наличными деньгами, за небольшие проценты двух-трех куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов да сотню апельсинов и крымских яблоков.

В заключение упомяну, как в Новоселье пропало несколько сот десятин строевого леса. В сороковых годах М. Ф. Орлов, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексеевна * давала капитал для покупки имения его детям, стал торговать тверское имение, доставшееся моему отцу от Сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал осмотреть и, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет.

— Ведь вот умный человек,— говорил мой отец,— и в конспирации был, книгу писал *des finances*¹*, а как до дела дошло, видно, что пустой человек... Неккеры! А я вот попрошу Григория Ивановича * съездить; он не конспиратор, но честный человек и дело знает.

Поехал и Григорий Иванович в Новоселье и привез весть, что леса нет, а есть только лесная декорация, так что ни из

¹ о финансах (франц.).— Ред.

господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза. Сенатор после раздела, на худой конец, был пять раз в Новоселье, и все оставалось шито и крыто.

Чтоб дать полное понятие о нашем житье-бытье, опишу целый день с утра; однообразие было именно одна из самых убийственных вещей, жизнь у нас шла, как английские часы, у которых убавлен ход, — тихо, правильно и громко напоминающая каждую секунду.

В десятом часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальни, уведомлял Веру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась готовить кофей, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид, люди начинали чистить комнаты, по крайней мере показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до тех пор пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь.

За кофеем старик читал «Московские ведомости» и «Journal de St. Pétersbourg»; не мешает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтоб не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой и говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал «Journal de Francfort», а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было лет пятнадцать, Карл Иванович завел было лавку, но, не имея ни товара, ни покупателей и растратив кой-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом «ревельского негоцианта». Ему было тогда гораздо лет за сорок, и он в этот приятный возраст повел жизнь птички божией или четырнадцатилетнего мальчика, т. е. не знал, где завтра будет спать и на что обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца; мы сейчас увидим, что это значит.

В 1830 году отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом; дом этот принадлежал графине Ростопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, внаймы они не отдавались, в предупреждение пожара (дома были застрахованы) и беспокойства от наемщиков; они, сверх того, и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из них дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу, с условием ворот после десяти часов вечера не отпирать,—условие легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать из домашнего запаса (он их действительно покупал, у нашего кучера) и состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, т. е. приходить поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходить вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями.

Как ни проста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябого и немца, не мог постоянно выносить ее. Года в два, в полтора глубоко оскорбленный Карл Иванович объявлял, что «это вовсе несносно», укладывался, покупал и менял разные вещички подозрительной целости и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То клячонка его,—он ездил на своей лошади в Тифлис и в Редут-Кале,—падала неподалеку Земли донских казаков, то у него крали половину груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились, никем не оцененные, у подножия Эльбруса на сломанное колесо; то он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой пасс. Месяцев через десять, обыкновенно, Карл Иванович, постарше, поизматее, победнее и еще с меньшим числом зубов и волос, смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линиялой тармаламы, ржавых черкесских кинжалов и снова

поселялся в пустом доме на тех же условиях: исполнять комиссии и печь топить своими дровами.

Приметив Карла Ивановича, отец мой тотчас начинал небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье, старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например:

— Где вы покупаете помаду?

При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, презабобразнейший из смертных, был страшный волокита, считал себя Ловласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом.

— У Буйс, на Кузнецкой Мост,— отрывисто отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя.

— Как называется этот запах?

— Нахтфиолен ¹,— отвечал Карл Иванович.

— Он вас обманывает, *violette* ²— это запах нежный, *c'est un parfum* ³, а это какой-то крепкий, противный, тела бальзамируют чем-то таким; куда нервы стали у меня слабы, мне даже тошно сделалось, велите-ка мне дать одеколонь.

Карл Иванович сам бросался за склянкой.

— Да нет, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мне сделается дурно, я упаду.

Карл Иванович, рассчитывавший на действие своей помады на девичью, глубоко огорчился.

Опрыскавши комнату одеколоном, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету (он ничего не покупал). Карл Иванович, приятно раскланявшись и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда.

После Карла Ивановича являлся повар; что б он ни купил и что б ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим.

— У-у, какая дороговизна! Что это, подвозов, что ли, нет?

— Точно так-с,— отвечал повар,— дороги очень дурны.

¹ ночная фиалка (нем. *Nachtviole*).— *Ред.*

² фиалка (франц.).— *Ред.*

³ это благоухание (франц.).— *Ред.*

— Ну, так, знаешь, пока их починят, мы с тобой будем поменьше покупать.

После этого он садился за свой письменный стол, писал отписки и приказания в деревни, сводил счета, между делом журил меня, принимал доктора, а главное — ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он, как нарочно, был создан для того, чтоб дразнить моего отца и вызывать его поучения. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение тридцати пяти лет. Камердинер, с своей стороны, не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения: он, по большей части, к обеду был несколько навеселе. Отец мой замечал это и ограничивался легкими околичностями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтоб не пахло водкой. Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюда, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посылал его, например, спросить у «дирюльника Антона, не переменял ли он квартиры», прибавляя мне по-французски:

— Я знаю, что он не съезжал; но он нетрезв, уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня; пусть он проветрится, *le grand air*¹ помогает.

Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал; но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин, тем же спокойным голосом, звал его и спрашивал, что он ему сказал.

— Я не докладывал ни слова.

— С кем же ты говоришь? Кроме меня и тебя, никого нет ни в этой комнате, ни в той.

— Сам с собой.

— Это очень опасно, с этого начинается сумасшествие.

¹ свежий воздух (франц.).— *Ред.*

Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальни; там он читал «Московские ведомости» и тресировал¹ волосы для продажных париков. Вероятно, чтоб отвести сердце, он свирепо нюхал табак; табак ли был у него силен, нервы носа, что ли, были слабы, но он вследствие этого почти всегда раз шесть или семь чихал.

Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил.

— Это ты чихаешь?

— Я-с.

— Желаю здравствовать.— И он давал рукой знак, чтоб камердинер удалился.

В последний день масленицы все люди, по старинному обычаю, приходили вечером просить прощения к барину; в этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает.

— Что это за почтенный старец стоит там в углу? — спрашивал он камердинера.

— Кучер Данило,— отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это — одно драматическое представление.

— Скажи, пожалуйста, как он переменялся! Я, право, думаю, что это все от вина люди так стареют; чем он занимается?

— Дрова таскает в печи.

Старик делал вид нестерпимой боли.

— Как это ты в тридцать лет не научился говорить?.. Таскает — как это таскать дрова? Дрова носят, а не таскают. Ну, Данило, слава богу, господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока силенка есть, ну, а теперь настает пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех.

В этом роде он делал общий смотр.

Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скучен. Спиридон был отличный повар; но, с одной сто-

¹ заплетал, от tresser (франц.).— Ред.

роны, экономия моего отца, а с другой — его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то, что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак; сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, следовательно, меня. Почему? Трудно сказать...

Гости вообще ездили редко, обедать — еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз морщины моего отца — Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружен с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле оба были под военным судом: Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а мой отец — за то, что был секундантом; потом один уехал в чужие края — туристом, а другой в Уфу — губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев, полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поест, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время оно съедал до ста подовых пирожков, и мог, лет около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла; этим опытам я бывал не раз свидетель.

Бахметев имел какую-то тень влияния или по крайней мере держал моего отца в узде. Когда Бахметев замечал, что мой отец уж через край не в духе, он надевал шляпу и, шаркая по-военному ногами, говорил:

— До свиданья, — ты сегодня болен и глуп; я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц! Гегорсамер динер!¹...

А отец мой, в виде пояснения, говорил мне:

— *Impressario!*² Какой живой еще Н. Н.! Слава богу, здоровый человек, ему понять нельзя нашего брата, Иова много-страдального; мороз в двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего... с Покровки... а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... ох! недаром пословица говорит: сытый голодного не понимает.

¹ Покорный слуга (нем. gehorsamer Diener). — *Ред.*

² Здесь: предприимчивый (итал.). — *Ред.*

Больше снисходительности нельзя было от него ждать.

Изредка давались семейные обеды, на которых бывал Сенатор, Голохвастовы и прочие, и эти обеды давались не из удовольствия и неспроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, в день Льва Катанского, т. е. в именины Сенатора, обед был у нас, а 24 июня, т. е. в Иванов день,— у Сенатора, что, сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя.

Затем были разные *habitués*; тут являлся *ex officio*¹ Карл Иванович Зонненберг, который, хвативши дома перед самым обедом рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настоящей водки; иногда приезжал последний французский учитель мой, старик-скряга, с дерзкой рожей и сплетник. *Monsieur Thirié* так часто ошибался, наливая вино в стакан, вместо пива, и выпивая его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему:

— С правой стороны вашей стоит *vin de Graves*, вы опять не ошибитесь,— и Тирье, пихая огромную щепотку табаку в широкий и вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку.

В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький и короткий фрак и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет, собственно, начинается, с тоненькой тросточкой,— он представлял всей своей фигурой двадцать лет назад, в 1830—1810 год, а в 1840—1820 год. Дмитрий Иванович Пименов, статский советник по чину, был один из начальников Шереметевского странноприимного дома * и притом занимался литературой. Скупой наделенный природой и воспитанный на сентиментальных фразах Карамзина, на Мармонтеле и Мариво, Пименов мог стать средним братом между Шаликовым и В. Панаевым. Вольтер этой почтенной фаланги был начальник тайной полиции при Александре — Яков Иванович де-Санглен; ее молодой человек, подававший надежды,— Пимен Арапов. Все это примыкало к общему патри-

¹ по обязанности (лат.).— *Ред.*

арху — Ивану Ивановичу Дмитриеву; у него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименов всякий вторник являлся к «ветхому деню» Дмитриеву, в его дом на Садовой, рассуждать о красотах стиля и об испорченности нового языка. Дмитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности; сначала он издал «Мысли герцога де Ларошфуко» *, потом трактат «О женской красоте и прелести» *. В этом трактате, которого я не брал в руки с шестнадцатилетнего возраста, я помню только длинные сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев * — блондинок с черноволосыми. «Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина зато — то, то и то...» * Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться и смех у него вырастал в припадки коклюша, со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры: вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо и, когда наступал кризис, вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше; потом, усталый от пароксизма, красный, обтирая пот с плешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало.

Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош, он был тих, добр, неловок, *литератор* и бедный человек, — стало, по всем условиям стоял за цензом; но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил, в силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начинали, под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улыбаясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят.

Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи.

— Инженер-полковник такой-то, — докладывал человек.

— Проси, — говорил мой отец и, обращаясь к Пименову, прибавлял: — Дмитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем: у него несчастный тик, когда он говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая

отрыжка.— При этом он представлял совершенно верно полковника.— Я знаю, вы человек смешливый,— пожалуйста, воздержитесь.

Этого было довольно. По второму слову инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из руки и, наконец, вскакивал.

Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне преспокойно:

— Что это с Дмитрием Ивановичем? Il est malade¹, это спазмы; вели поскорее подать стакан холодной воды да принеси одеколонь.

Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь на перекрестках и опираясь на фонарные столбы.

Он в продолжение нескольких лет постоянно через воскресенье обедал у нас, и равно его аккуратность и неаккуратность, если он пропускал, сердили моего отца, и он теснил его. А добрый Пименов все-таки ходил и ходил пешком от Красных ворот в Старую Конюшенную до тех пор, пока умер, и притом совсем не смешно. Одиноким, холостой старик, после долгой хворости, умирающими глазами видел, как его экономка забирала его вещи, платья, даже белье с постели, оставляя его без всякого ухода.

Но настоящие souffre-douleur²ы² обеда были разные старухи, убогие и кочующие приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемены, а долею для того, чтоб осведомиться, как все обстоит в доме у нас, не было ли ссоры между господами, не дрался ли повар с своей женой и не узнал ли барин, что Палашка или Уляша с прибылью,— прихаживали они иногда в праздники на целый день. Надобно заметить, что эти вдовы еще незамужними, лет сорок, пятьдесят тому назад, были *прибежны* к дому княгини и княжны Мещерской и с тех пор знали моего отца; что в этот промежуток между молодым шатаньем и старым кочевьем они лет двадцать бранились с мужьями, удерживали их от пьянства, ходили за ними в параличе и снесли их на кладбище. Одни тас-

¹ Он болен (франц.).— *Ред.*

² козлы отпущения (франц.).— *Ред.*

кались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повиновений и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство.

С ними бывали сцены удивительные.

— Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли, ничего не кушаешь? — спрашивал мой отец.

Скорчившаяся, с поношенным и вылинялым лицом старушонка, вдова какого-то смотрителя в Кременчуге, постоянно и сильно пахнувшая каким-то пластырем, отвечала, унижаясь глазами и пальцами:

— Простите, батюшка, Иван Алексеевич, право-с, уж мне совестно-с, да так-с, по-старинному-с, ха, ха, ха, теперь спажинки.

— Ах, какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквернит, что в уста входит, а что из-за уст; то ли есть, другое ли — один исход; вот что из уст выходит, — надобно наблюдать... пересуды да о ближнем. Ну, лучше ты обедала бы дома в такие дни, а то тут еще турок придет — ему пилав надобно, у меня не герберг¹ à la carte².

Испуганная старуха, имевшая в виду, сверх того, попросить крупки да мучки, бросалась на квас и салат, делая вид, что страшно ест.

Но замечательно то, что, стоило ей или кому-нибудь из них начать есть скоромное в пост, отец мой (никогда не употреблявший постного) говорил, скорбно качая головой:

— Не стоило бы, кажется, Анна Якимовна, на несколько последних лет менять обычай предков. Я грешу, ем скоромное, по множеству болезней; ну, а ты, по твоим летам, славу богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдруг... что за пример для *них*.

Он указывал на прислугу. И бедная старуха снова бросалась на квас да на салат.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной раз я дерзал вступаться и напоминал противоположное мнение. Тогда отец мой привстаивал, снимал с себя за кисточку бархатную шапочку и,

¹ постоянный двор, трактир (нем. Herberge). — *Ред.*

² Здесь: с подачей по карте (франц.). — *Ред.*

держа ее на воздухе, благодарил меня за уроки и просил извинить забывчивость, а потом говорил старухе:

— Ужасный век! Мудрено ли, что ты *кушаешь* скоромное постом, когда дети учат родителей! Куда мы идем? Подумать страшно! Мы с тобой, по счастью, не увидим.

После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по полпивным и по трактирам. В семь часов готовили чай; тут иногда кто-нибудь приезжал, всего чаще Сенатор; это было время отдыха для нас. Сенатор привозил обыкновенно разные новости и рассказывал их с жаром. Отец мой показывал вид совершенного невнимания, слушая его: делал серьезную мину, когда тот был уверен, что морит со смеху, и переспрашивал, как будто не слышал, в чем дело, если тот рассказывал что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не так, когда он противуречил или был не одного мнения с меньшим братом, что, впрочем, случалось очень редко; а иногда без всяких противуречий, когда мой отец был особенно не в духе. При этих комико-трагических сценах, что всего было смешнее, это естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровие моего отца.

— Ну, ты сегодня болен,— говорил нетерпеливо Сенатор, хватал шляпу и бросался вон.

Раз в досаде он не мог отворить дверь и толкнул ее что есть сил ногой, говоря: «Что за проклятые двери!» Мой отец спокойно подошел, отворил дверь в противоположную сторону и совершенно тихим голосом заметил:

— Дверь эта делает свое дело, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь.

При этом не мешает заметить, что Сенатор был двумя годами старше моего отца и говорил ему *ты*, а тот, в качестве меньшого брата,— *вы*.

После Сенатора отец мой отправлялся в свою спальную, всякий раз осведомлялся о том, заперты ли ворота, получал утвердительный ответ, изъявлял некоторое сомнение и ничего не делал, чтобы удостовериться. Тут начиналась длинная история умываний, примочек, лекарств; камердинер готовил на столике возле постели целый арсенал разных вещей: склянок,

ночников, коробочек. Старик обыкновенно читал с час времени Бурьенна «Mémorial de S-te Hélène» * и вообще разные «Записки»; за сим наступала ночь.

Так я оставил в 1834 наш дом, так застал его в 1840, и так все продолжалось до его кончины в 1846 году.

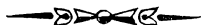
Лет тридцати, возвратившись из ссылки, я понял, что во многом мой отец был прав, что он, по несчастию, оскорбительно хорошо знал людей. Но моя ли была вина, что он и самую истину проповедовал таким возмутительным образом для юного сердца. Его ум, охлажденный длинной жизнью в круту людей испорченных, поставил его en garde ¹ противу всех, а равнодушное сердце не требовало примирения, он так и остался в враждебном отношении со всеми на свете.

Я его застал в 1839, а еще больше в 1842, слабым и уже действительно больным. Сенатор умер,— пустота около него была еще больше, даже и камердинер был другой, но он сам был тот же, одни физические силы изменили: тот же злой ум, та же память, он так же всех теснил мелочами, и неизменный Зонненберг имел свое прежнее кочевье в старом доме и делал комиссии.

Тогда только оценил я все безотрадное этой жизни; с сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком, каменистом пустыре, который он сам создал возле себя, но который изменить было не в его воле; он знал это, видел приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего — он был неприступен.

...Тихо проходил я иногда мимо его кабинета, когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженный своими собачонками, один-одинехонек играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка и он отдыхал от непрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

¹ настороже (франц.).— *Ред.*



ГЛАВА VI

Кремлевская экспедиция.— Московский университет.— Химик.— Мы.— Маловская история.— Холера.— Филарет.— Сунгуровское дело.— В. Пассек.— Генерал Лесовский.

О, годы вольных, светлых дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи, пира шум?
Где труд, столь полный ожиданий? *

(«Юмор»)

Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала *, отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слышал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал таким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывал работникам в подвале, известить, что я получил первый офицерский чин. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны: чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавши экзамен на кандидата,— из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь к канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда, чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые «комитетские экзамены» *. Все лентяи с деньгами, барищи, ничему не учившиеся, все, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин асессора, держало комитетские экза-

мены; это было нечто вроде *золотых* приисков, уступленных старым профессорами, дававшим *privatissime*¹ по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими каудинскими фурулами * науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдет другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые на толковали мне этот вздор, но, видя, что все это очень мало меня трогает, решился ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец, — сказал ему князь, — что тут затрудняться; ну — в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках — слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории *.

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвою. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

¹ самым частным образом (лат.). — *Ред.*

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст *, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем * и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий *по очереди* должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, не уволенным своей общиной. Николай все это искажил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян*. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшегося на русское колесо,—

вместе с законом о пассах*, о религиозной нетерпимости* и пр.¹

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавливалась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами

¹ Кстати, вот еще одна из отеческих мер «незабвенного» Николая. Воспитательные дома и приказы общественного призрения составляют один из лучших памятников екатерининского времени*. Самая мысль учреждения больниц, богаделен и воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами*, замечательно умна.

Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные дома и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частью оставались там, частью раздавались крестьянкам в деревни; последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт. То же с девочками: одни приготавлились к рукодельям, другие — к должности нянюшек и, наконец, способнейшие — в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась; та сказала ей, что она из «пансионерок воспитательного дома». Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, — это ей подало повод подумать о *неприличии* давать такое воспитание подкинутым детям.

Через несколько месяцев Николай *произвел* высшие классы воспитательных домов в *обер-офицерский институт**, т. е. не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной — он не велел в губернских заведениях, в приказах принимать новорожденных детей*. Лучшая комментария на эту умную меру — в отчете министра юстиции в графе «Детоубийство».

так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев *. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западномецанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы досадовали на их христианское смирение ¹.

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя *, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не любопытствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять, — это франкёров курс *; но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет, потому что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия.

После знаменитого раздела имения в 1822 году *, о котором я рассказывал, «старший братец» переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за шестьдесят лет тогда, и все знали, что, сверх совершеннолетнего сына, у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына; «молодой» тоже было за пятьдесят. Этим браком он «привенчал», как говорили встарь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать отчего, если б главная цель,

¹ В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся.

с которой он все это делал, была неизвестна: он хотел одного — лишить своих братьев наследства, и этого он достигал вполне «привенчиванием» сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 года умер.

О сыне носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не znalся, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума»:

— Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник,
От женщин бегаёт и даже от меня*.

Дяди, перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как Химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

Отец перед смертью страшно теснил сына, он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, — разврата цинического, — но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагородной жизни лауданумом; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном.

После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты.

Года через полтора он приехал в Москву, мне хотелось его видеть, я его любил за крестьян и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядей.

Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реакциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и

расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит.

Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дядям; в последний раз он виделся с моим отцом после смерти Сенатора, он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал; Химик рассердился и, потирая рукою нос, с улыбкой ему заметил: «Какой же тут риск, у меня именье *родовое*, я беру деньги для его усовершенствования, детей у меня нет, и мы друг после друга наследники». Старик семидесяти пяти лет никогда не прощал племяннику эту выходку.

Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобразно; в большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Старуха мать его жила через коридор в другой комнатке; остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Почерневшие канделябры, необыкновенная мебель, всякие редкости, стенные часы, *будто бы* купленные Петром I в Амстердаме, креслы, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене,— все это, поставленное кой-как, наполняло три большие залы, нетопленные и неосвещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане и курили (в той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться). Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатые и курьезные вещи, отражавшиеся и двигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах, солома, остававшаяся от укладки, спокойно лежала там-сям вместе с стриженной бумагой и бечевками.

Рядом этих комнат достигалась, наконец, дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем Химик, в замаранном халате на беличьем меху, сидел безвыходно, обложенный книгами, обстановленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные, вопиющие дела,— в этом кабинете я родился. Отец мой, возвратившись из чужих краев, до ссоры

с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 году. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева, спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, сени, лестница, передняя — все осталось, также и маленький кабинет остался.

Хозяйство Химика было еще менее сложно, особенно когда мать его уезжала на лето в подмосковную, а с нею и повар. Камердинер его являлся часа в четыре с кофейником, распускал в нем немного крепкого бульону и, пользуясь химическим горном, ставил его к огню вместе с всякими ядами. Потом он приносил из трактира полрябчика и хлеб — в этом состоял весь обед. По окончании его камердинер мыл кофейник и он входил в свои естественные права. Вечером снова являлся камердинер, снимал с дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наследству от отца, и груду книг, стлал простыню, приносил подушки и одеяло, и кабинет так же легко превращался в спальню, как в кухню и столовую.

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах * и де-Кандолеву растительную органографию *. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангутанга его все интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, т. е. верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм *. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов несколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный,

последовательный, окончанный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. «Кант принимает гипотезу бога», — сказал ему Бонапарт. «Sire¹, — возразил астроном, — мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химики шел далее теологических сфер. Он считал Жоффуа Сент-Илера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их ни найти, ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой *больше ждут, нежели она в состоянии дать*. Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их; он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет с шпцем, позволяя ему себя терзать и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался *à la charge*², не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, т. е. лет через двенадцать, я много раз поминал Химику так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, — мы уже говорили об

¹ Государь (франц.). — *Ред.*

² к нападению (франц.). — *Ред.*

этом, — которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению.

Перед окончанием моего курса Химик уехал в Петербург, и я не видался с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в подмосковную *, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак.

По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались; Химик меня ожидал и даже приготовил обед и две бутылки шампанского. Он через четыре или пять лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно:

— Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите семейную жизнь, брак? Что, хорошо, что ли, или не очень?

Я смеялся.

— Какая смелость с вашей стороны, — продолжал он, — я удивляюсь вам; в нормальном состоянии никогда человек не может решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали две-три партии очень хорошие, но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок, пожалуй, будет мне запрещать курить мой табак (он курил нежинские корешки), поднимет шум, сумбур, тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве.

— Остаться мне у вас ночевать или ехать в Покровское? — спросил я его после обеда.

— Недостатка в месте у меня нет,— ответил он,— но для вас, я думаю, лучше ехать, вы приедете часов в десять к вашему батюшке. Вы ведь знаете, что он еще сердит на вас; ну, вечером, перед сном у старых людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, он вас примет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра; утром вы его найдете совсем готовым для сражения.

— Ха, ха, ха — как я узнаю моего учителя физиологии и материализма,— сказал я ему, смеясь от души,— ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам, вроде гётевского Вагнера, надоедать моим идеализмом и выслушивать не без негодования ваши охлаждающие сентенции.

— Вы с тех пор довольно жили,— ответил он, тоже смеясь,— чтоб знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава.

После мы как-то разошлись с ним; вероятно, мы оба были неправы... Тем не менее в 1846 он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?» Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился за ваши „Письма об изучении природы“; в них я понял (насколько человеческому уму можно понимать) немецкую философию — зачем же, вместо продолжения серьезного труда, вы пишете сказки?» Я отвечал ему несколькими дружескими строками — тем наши сношения и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель, когда нервы ослаблены, и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более что я храню серьезную и добрую память о нем.

Итак, наконец, затворничество родительского дома пало. Я был *au large*¹; вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым — шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения.

¹ на просторе (франц.).— *Ред.*

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделялся от провожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю: «официально», потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по несколько дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для *своего* спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута; до одиннадцати меня мыла в корыте Вера Артамоновна; стало, очень последовательно — за мной, студентом, посылали слугу и до двадцати одного года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет... до тридцати пяти.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что

здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские ассессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до таблицы о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки *, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, — но и те молчали ¹.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о маловской истории * под угрозой прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, *аристократка* и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор * в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять, — отвечал студент.

¹ Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентаров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами,— заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью,— и буря поднялась; свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его! *Pereat!*»¹ Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом, и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17—18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. *Vae victis*² с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

¹ Да сгинет! (лат.).— *Ред.*

² Горе побежденным (лат.).— *Ред.*

Итак, дело закипело. На другой день после обеда припелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал *à la lettre*, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлага шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.

— Лгать отчаянно, запираяться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории, — отвечал я ему.

— А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

— Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по пустому, пошли слушать другую.

— Он не поверит.

— Это уж его дело.

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона, пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

— Слушайте, — сказал я, — вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями, вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете, — много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных*, т. е. до 1812 г. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета *. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках

à l'instar¹ конноегерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и, вместо неумеренного употребления сигар, употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica»², неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию,— с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню — bâton de coton³, яд — рыбой (poisson)⁴, а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится,— мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову,— времени, в котором читали Хераскова

¹ вроде (франц.).— *Ред.*

² «Медицинское вещество» (лат.).— *Ред.*

³ хлопчатобумажной палкой, надо: «cordon de coton» — хлопчатобумажный фитиль (франц.).— *Ред.*

⁴ Яд — poison; рыба — poisson (франц.).— *Ред.*

и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну *Баваркой*¹, а другую *Пруденкой*².

Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке—меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь; видно, меня не первого вели; когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова; князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу *. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем.

Раз как-то товарищ попечителя Панин, брат министра юстиции, верный своим конногвардейским привычкам, вздумал обойти ночью рундом государственную тюрьму в университетском подвале. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтоб снаружи не было видно, и принялись за наш ночной завтрак, раздался стук в наружную дверь,— не тот стук, который своей

¹ Болтушкой, от франц. bavard.— *Ред.*

² Трусихой, от франц. prudent.— *Ред.*

слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышат, нежели то, что не услышат; нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер, мы спрятали бутылки и студентов в небольшой чулан, задули свечу и бросились на наши койки. Взошел Панин.

— Вы, *кажется*, курите? — сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь, из-за густых облаков дыма. — Откуда это они берут огонь, ты даешь?

Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собою трут. Инспектор обещал его отнять и обобрать сигары, и Панин удалился, не заметив, что количество фуражек было вдвое больше количества голов.

В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой, но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным, и я спросил инспектора, могу ли остаться; он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно-грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев, и, сказавши: «Сидите, пожалуйста», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю.

Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не восемь дней *, а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко.

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à *même*¹ продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны —

¹ дать ему возможность (франц.).— *Ред.*

и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса — от Федора Ивановича Чумакова, *подгонявшего* формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и x за известное, до Гавриила Мягкова, читавшего самую *жесткую* науку в мире — тактику *. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку; застегнутый до горла, в нестигающемся галстуке, он больше командовал свои лекции, чем говорил.

— Господа! — кричал он, — на поле! *Об артиллерии!*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто, что на марже ¹ такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет; если б он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, т. е. водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось — он отправил вместо себя племянника...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр), принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова *.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете *, членами которого были разные сенаторы, губернаторы — вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император

¹ полях книги (франц. *marge*). — *Ред*

изволил дать Анну * и приказал не брать с него денег за материал и диплом *, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимбо-разо и жил в Сан-Суси *.

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание высказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativité¹ сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын, — сказал как-то лорд Дюрам, — настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» — не понимаю. Будьте уверены, князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом.

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градо-начальники, сенат — все явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с трехугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей — везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще и именно потому говорящий очень медленно, — каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться

¹ желания понравиться (франц.). — *Ред.*

на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал. Я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах *отдать приказ*, по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густосиплым, прочел свое стихотворение *, начинавшееся так:

Humboldt—Prométhée de nos jours!¹

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой *, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими — вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I...; на силу Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях ².

У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе *. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все *Blumenstreuen* ³; у нас — подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все «честь имею явиться к вашему превосходительству». Тут же, по несчастию, прибавилась слава Листа как известного ловласа, дамы толпились около него так, как крестьянские мальчишки на

¹ Гумбольдт — Прометей наших дней! (франц.).— *Ред.*

² Как розно было понято в Россия путешествие Гумбольдта, можно судить из повествования уральского казака, служившего при канцелярии пермского губернатора; он любил рассказывать, как он провожал «сумасшедшего прусского принца Гумплота». «Что же он делал?» — «Так, самое, то есть, пустое: травы наберет, песок смотрит; как-то в солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань что на дне; ну, я достал, обыкновенно, что на дне бывает, а он спрашивает: что, внизу очень холодна вода? Думаю — нет, брат, меня не проведешь, сделал фрунт и ответил: того, мол, ваша светлость, служба требует — все равно, мы рады стараться».

³ осыпание цветами (нем.).— *Ред.*

проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все говорило только с ним одним, отвечало только ему. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:

— Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.

В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормозились, не давали проходу другим знаменитостям — Кошуту, потом Гарибальди и прочим; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет краде не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным, в послании к Лукуллу, был министром народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров *. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюры по-французски *, потом переписывался с Гёте по-немецки * о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прекурёзный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слогe; вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,— вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были готовиться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии... И он уже умер!

Где наш старец Ланжерон!
Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало! *

Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата, он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: «Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии», потом он садился и продолжал: «О глиноземии...» У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: «Кристаллизация — не кристаллизуется, употребление — никуда не употребляется, польза — вред, приносимый организму...»

Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял: «Господа, это обман». В сельском хозяйстве он находил *моральными* качествами хорошего петуха, если он «охотник петить и до кур», и отличительным свойством аристократического барана — «плешивые коленки». Он умел тоже трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это прозопопея» ¹.

¹ олицетворение (франц. *prosopopée*). — *Ред.*

Когда декан * вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся... Я шепнул ему:

— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

— Не хвались, идучи на рать... — отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

Я чуть не захохотал, но когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавёре. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха, я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну, — он сказал что-то одними гласными, так что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал.

Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял «Угара», а жена жандармского полковника — «Марфу» * при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру и занавесь стала, как-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы с Марфой ожидали за кулисами

начала. Ей было меня до того жаль или до того она боялась, что я испорчу дело, что она мне подала огромный стакан шампанского, по и с ним я был едва жив.

С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне *, это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю-Ролленом.

Но не довольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это — останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года.

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патристический поэт называет холеру едипственной верной союзницей Николая, — раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве!» — разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены, возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что тот-то занемог, что такой-то умер...

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов; самые священники, привыкшие обращаться с богом запанибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль; там на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился — да мимо идет чаша сия. На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад.

Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха; во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности. Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский; все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем А. Н. Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Синод запретил учить по его катехизису *. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма. Может, именно по соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем.

Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть; в его проповедях просвечивал тот христианский, неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвященнического

амвона говорил о том, что человек никогда не может быть *законно* орудием другого, что между людьми может только быть обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселения — рабы.

Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах: «Гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь». Потом, утешая их, он прибавлял, что «они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими (вероятно, других, *кроме* чиновников, не было налицо) есть еще бóльшие преступники», и он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом.

Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры * превзошла все остальные; он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму; Давид избрал чуму *. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквям, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах *. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу.

Так играл в оппозицию московский митрополит.

Молебствие так же мало помогло от заразы, как хлористая известь; болезнь увеличивалась.

Я был все время жесточайшей холеры 1849 в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать действительных мер. Тщедушные коллекты ¹ были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у по-

¹ сборы пожертвований (франц. collecta).— *Ред.*

лиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, т. е. без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse ¹ привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, — и все это без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссиянина, кажется, Фицхелаурова *, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он, наконец, получил его; в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен, — и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

¹ в полном составе (франц.). — *Ред.*

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обгавленную кровью своего мужа *, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения, — и она тихо удалилась из Москвы, хмурая брови и надувая губы.

Хмурая брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя *,

как говорит Пушкин, — а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклиффовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!», как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и фюретор Сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* — Два листа «*Journal des Débats*», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва художавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда *, Бельгия вспыхнула *, трон короля-гражданина * качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы всё принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий, языческий Пан умер» *. Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамена Констана до Дюпон де-Лёра и Армана Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уж недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume!^{1*}

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неудачам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал *, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, *испуган*, он усомнился² в прочности трона и готовился мстить за страданное им, за страх и сомнение.

¹ Нет! Это не пустые мечты! (нем.).— *Ред.*

² Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову: „Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе,

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк *, студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слышали от него ни одного резкого слова, но никогда не слышали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день — тоже нет. Мы стали спрашивать, казенно-коштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велили об

в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами»*.

«Записки» партизана не оставляют никакого сомнения, что Николай, как Аракчеев, как все бездушно-жестокосердые и мстительные люди, был *трус*. Вот что рассказывал Давыдову генерал Чеченский: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма *бледным, душа была в пятках*»*.

А вот что рассказывает сам Давыдов. «Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на *второй* день, когда уже все успокоилось. Государь был в Петергофе и как-то сам случайно проговорился: „Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы“. Вместо озабоченного прислушивания в саду и непрерывных отправок курьеров в Петербург,— добавляет Давыдов,— он должен был лично поспешить туда; так поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек. На следующий день (когда все было усмирено) государь, въехав в коляске в толпу, наполнявшую площадь, закричал ей: „На колени!“ — и толпа поспешно исполнила его приказание. Государь, увидев несколько лиц, одетых в партикулярных платьях (в числе следовавших за экипажем), *вообразил*, что это были лица подозрительные, приказал взять этих несчастных на гауптвахты и, обратившись к народу, стал кричать: „Это все подлые полячишки, они вас подбили!“ Подобная неуместная выходка совершенно испортила, по моему мнению, результаты»*. — Каков гусь был этот Николай?

этом говорить. Тем и кончилось, мы *никогда не слышали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека* ¹.

Прошло несколько месяцев, вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов, — называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других *; мы их знали коротко — все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия*, в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет *, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала *, тут мы встретились с Пассеком.

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, т. е. ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш провинциальный; он далеко не так попл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастья развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел от всей души самовластье * и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился.

¹ А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили? *

Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

— Хочешь познакомиться с К<етчером>, о котором ты столько слышал? — говорит мне Вадим.

— Непременно хочу.

— Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай,— он будет у меня.

Я прихожу — Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу — он берет книгу.

— Да вы,— говорит он, раскрывая ее,— вы Герцен?

— Да, а вы К<етчер>?

Начинается разговор,— живей, живей...

— Позвольте,— грубо перебивает меня К<етчер>,— позвольте, сделайте одолжение, говорите мне *ты*.

— Будемте говорить *ты*.

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; с этой минуты гнев и милость, смех и крик К<етчера> раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь.

Собирались мы попрежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское имение. Он жил один в пижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки и других... я хотел сказать — яств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было,— итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет,

а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой, ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью — нашей.

Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского *посещения*; она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастье не на каждого страдальца, а на чело тех, которые *умели* вынести.

Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлюссельбург и потом сослан в Сибирь на поселенье. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но Пассек был *забыт*. Он был племянник того Пассека, который участвовал в убийстве Петра III, потом был генерал-губернатором в польских провинциях, и *мог требовать* долю наследства, уже перешедшего в другие руки, — эти-то другие руки и задержали его в Сибири *.

Содержась в Шлюссельбурге, Пассек женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась уstraшенная ссылкой. Сначала они в Сибири кой-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо и тем скорее, что семья росла числом. В нужде, в работе, лишённые теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков; отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий, он воспитал их примером, мать — самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. Да чего бояться слов — это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи — невероятно, — и всё с поднятой головой, несколько не словившись.

В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков; они ее берегли для прогулки, чтоб посторонние не видали крайности.

В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию *. Дело было зимой; шутка ли подняться с такой семьей без шуб, без денег из Тобольской губернии, а с другой стороны, сердце рвалось — ссылка всего невыносимее после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кой-как; кормилица-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кой-как сколоченные ею, им на дорогу, прося только, чтобы и ее взяли; ямщики провезли их до русской границы за бесценок или даром; часть семьи шла, другая ехала, молодежь сменялась, так они перешли дальний зимний путь от Уральского хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, их надеждой, — там их ждал голод.

Правительство, прощая Пассеков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю имения. Истощенный усилиями и лишениями, старик слег в постель; не знали, чем будут обедать завтра.

В это время Николай праздновал свою коронацию *, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу; везде огни, щиты, наряды... Две старших сестры *, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение имения. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробираются вперед и ждут «венчанного и превознесенного» царя. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую.

Николаю тогда было около тридцати лет и он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту *непоколебимую* твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть, и какая необходимость не опоздать минутой на развод?

Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано.

Не вынес больше отец, с него было довольно, он умер. Остались дети одни с матерью, кой-как перебиваясь с дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья; трое блестящим образом окончили курс в университете * и вышли кандидатами. Старшие * уехали в Петербург; оба отличные математики, они, сверх службы (один во флоте, другой в инженерях *), давали уроки и, отказывая себе во всем, посылали в семью вырученные деньги.

Живо помню я старушку-мать * в ее темном капоте и белом чепце; худое бледное лицо ее было покрыто морщинами, она казалась с виду гораздо старше, чем была, одни глаза несколько отстали, в них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала нам их письма, она с таким свято глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез.

Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости, ходила около стола, хлопотала и, вдруг останавливаясь, смотрела на свою молодежь с такою гордостью, с таким счастьем и потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая: «Не правда ли, как они хороши?» — Как в эти минуты мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку! И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачем она не умерла за одним из этих обедов?

В два года она лишилась трех старших сыновей. Один * умер блестяще, окруженный признанием врагов, середь успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердца матери... Другим даже не удалось хорошо погибнуть; тяжела русская жизнь давила их, давила — пока продавила грудь.

Бедная мать! И бедная Россия!

Вадим умер в феврале 1843 г. *, я был при его кончине и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем несмягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лет перед своей смертью Вадим жепился на моей кухне, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своем *à parte* ¹, но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятія не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали в месте. Товарищ попечителя * признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать кафедры за известные правительству связи его с *злумышленными людьми*.

Вадим остался без места, т. е. без хлеба,—вот его Вятка.

Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него; в семилетней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности переключиться с ними, здоровые мышцы его изнашивались.

— Раз,—сказывала мне его жена потом,—у нас вышли все деньги до последней копейки; накануне я старалась достать где-нибудь рублей десять, нигде не нашла; у кого можно было занять несколько, я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги; мы думали об одном — что же завтра будут есть дети? Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтись. Я видела, что ему очень тяжело, мне было страшно, но все же я радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потом стала думать, что делать: все сколько-нибудь ценные вещи — кольца, ложки — давно были заложены; я видела один выход: приходилось идти к *нашим* и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришлось в голову спросить, не продан ли

¹ Здесь: в семейной жизни (франц.).— *Ред.*

он хоть один экземпляр его книги; он был дней пять перед тем, но ничего не нашел; со страхом взошел он в его лавку. «Очень рад вас видеть,— сказал ему Ширяев,— от петербургского корреспондента письмо, он продал на триста рублей ваших книг, желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему пятнадцать золотых. Вадим потерял голову от радости, бросился в первый трактир за съестными припасами, купил бутылку вина, фрукт и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавила водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивши его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселый и радостный, как бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин не выпускает меча из руки, чувствуя, что сам ранен навылет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году; обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно — это эполеты Полежаева *, это прощение Кольрейфа *, сделанное не русским царем, а русской жизнью.

Вадим таял, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года,— страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть.

За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют, точно догорающие свечи, в комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, он спрашивал меня, я подошел к нему и тихо взял его за руку, его жена назвала меня, он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей, он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком; тут в ближней церкви

ударили в колокол; Вадим прислушался и сказал: «Это заутреня». Больше он не произнес ни одного слова... Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника; добрый, милый молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал шторы... Я вышел вон, на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гроб.

Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина, покойник, по русскому обычаю, лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом, сквозь слез, снимал его портрет; возле покойника, молча, сложя руки, с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую «Скорбь». Женщина эта была немолода, но следы строгой, величавой красоты остались; завернутая в длинную черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно.

Я остановился в дверях.

Прошли две-три минуты,— та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: «Прощай, прощай, друг Вадим!», твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал, он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось, я молча сел у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря, Е. Черткова *.

Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и наконец архимандритом. При этом он остался плотником, т. е. не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного, здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве *.

Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится

другой прах, дорогой нам,— прах Веневитинова с надписью: «Как знал он жизнь, как мало жил!» *. Много знал и Вадим жизнь!

Судьбе и этого было мало. Зачем, в самом деле, так долго зажилась старушка-мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта — чего было жить еще! Кто дорожит счастьем, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.

Старший брат Вадима * умер несколько месяцев спустя после того, как Диомид был убит; он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд было ли ему сорок лет, а он был старший.

Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени; последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил...

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в *намерении* составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — *Сунгурова*. Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно *пятнадцать лет*, именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломались два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что

делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свиные наказания мальчиков 16-17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз; но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции *. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

— А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся, — сказал Киреевский, — и счет.

— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.

— Об этом нечего говорить.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена? — с этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву,

попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданных чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое имение игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве — месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, *это еще хуже*. На первый раз государь *так милосерд*, что он вас прощает; только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на К<етчере>, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, в *вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что К<етчер> был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было *.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его

слабость с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через *десять лет* из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку, так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за *смерть* *. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры. Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволение выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность — ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого посельщика — ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в *предупреждение* побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила *один* удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

— Боже мой, — сказал лекарь, — знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сию я на почтовой

станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов, пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа, взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу на соломе, какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

— Вот больной,— сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полубритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

— Что, брат, плохо?— сказал я больному и прибавил офицеру:— идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня не узнаете»,— прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

— Извините меня,— сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку,— не могу припомнить.

— Я Сунгуров,— отвечал он.

— Бедный Сунгуров!— повторил лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили?— спросил я.

— Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске*. Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили; впрочем, сперва позаботились и о том, чтобы ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила в Пречистенской части, грудной ребенок там и умер*. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!



ГЛАВА VII

Конец курса.— Шиллеровский период.— Молодая юность
и артистическая жизнь.— Сен-симонизм и Н. Полевой.

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспяные ночи для бесполезных мнемонических попыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес,— все это — как всегда. Я писал *астрономическую* диссертацию * на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес *серебра*.

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен,— я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься да и только,— и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорта, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. А в самом деле профессора удивились бы, что я в столько лет так много пошел назад. Раз это со мной уже и случилось ¹.

¹ В 1844 г. встретился я с Перовожиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал:

— Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства-с помешали-с заниматься делом-с,— у вас прекрасные-с были-с способности-с.

— Да ведь не всем же,—говорил я ему,—за вами на небо лезть.. Мы здесь займемся, на земле, кой-чем.

— Помилуйте-с, как же-с это-с можно-с, какое занятие-с — Гегелева-с философия-с! Ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с. Какое-с это дело-с. Нет-с!

Я долго смеялся над этим приговором, т. е. долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был скверный, и если птичий, то, наверно, птицы, состоящей при Минерве*.

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сениям. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец, вышел Гейман.

— Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы кандидат *.

— Кто еще? кто еще?

— Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия,— и отчего же не признаться,— и название кандидата, полученное сразу ¹.

Alma mater! ² Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... И я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве

¹ В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я изведал *кузину*, бывшую тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. «Экзамен кончился, и я кандидат! Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера»* (26 июня 1833). Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления. Но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому (Александру Драшусову). Во втором письме, от 6 июля, сказано: «Сегодня акт, но я не был, я не хотел быть вторым при получении медали»*.

² Благая мать (лат.).— Ред.

будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растрепанства мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от *истинных* падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек *серьезно* должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто,— открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троют пороки.

Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские *пожилые* люди лет в пятнадцать от роду — просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с Реставрацией, «с воскресением старости», юность вовсе несовместна,— все становится совершеннолетним, деловым, т. е. мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаически-плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились оттого, что они были юны в обществе стариков. Другие бились,

как рыба, выкинутая из воды на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие — на иезуитскую уду.

Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность *артистическим* периодом, т. е. живет, если нет денег, в маленьких кафе, с маленькими гризетками в *quartier Latin*¹, и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период поль-де-коковский; в нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое, и человек готов — в *commis*² торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть — жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет; практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин (следствие многочисленных побед над *побежденными* по ремеслу). Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увядших знаменитостей, *d'un vieux prostitué*³, живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки; ему подражают в произношении, в питье, а главное — в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд.

В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, т. е. безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север — по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых *baby*⁴, обороты, «Times», парламент и придавливающий к земле ольдпорт⁵.

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела.

¹ в Латинском квартале (франц.).— *Ред.*

² приказчики (франц.).— *Ред.*

³ старого развратника (франц.).— *Ред.*

⁴ детей (англ.).— *Ред.*

⁵ старый портвейн (англ. old port).— *Ред.*

И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня — 6 декабря, Николин день. Обилие Николаев страшное: Николай Огарев, Николай С<атин>, Николай К<етчер>, Николай Сазонов...

— Господа, кто празднует именины?

— Я! — Я!

— А я на другой день.

— Это все вздор, что такое на другой день? Общий праздник, складку! Зато каков будет и пир!

— Да, да! У кого же собираться?

— С<атин> болен, ясно, что у него.

И вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к «Яру» заказывать ужин, другой — к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Дебре, на книжке которого Огарев написал эпиграф:

De près ou de loin
Mais je fournis toujours¹.

Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу Rivesaltes mousseux². В Париже я на карте у ресторана увидел это имя, вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся.

При этом не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у С<атина>. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись «Хевери», и потому решил дать праздник * не только нам, но и pour les gros bonnets³, т. е. позвал Полевого, Максимовича и прочих. Накапуне он с утра поехал с Полежаевым, который тогда был с своим полком в Москве, делать покупки, накупил

¹ Близко ли далеко ли, но я доставляю всегда. Игра слов: De près (близко) и Дебре (фамилия) (франц.).— *Ред.*

² шипучего вина «Ривесальт» (франц.).— *Ред.*

³ для важных особ, для «шишек» (франц.).— *Ред.*

чашек и даже самовар, разных ненужных вещей и наконец вина и съестных припасов, т. е. пастетов, фаршированных индеек и прочего. Вечером мы пришли к С<атину>. Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую; нас было человек пять; к концу вечера, т. е. к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов.

Огорчился было Соколовский, но, скрепив сердце, подумал, подумал и написал ко всем *gros bonnets*, что он страшно занемог и праздник откладывает.

Для пира *четырёх именин* я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена.

— *A la lettre*,— отвечал я ему. Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре или в великой пятнице.

После ужина возникал обыкновенно *капитальный* вопрос,— вопрос, возбуждавший прения, а именно: «Как варить жженку?» Остальное обыкновенно елось и пилось, как вотируют по доверию в парламентах,— без спору. Но тут каждый участвовал, и притом с высоты ужина.

— Зажигать — не зажигать еще? как зажигать? тушить шампанским или сотерном? ¹ класть фрукты и ананас, пока еще горит,— или после?

— Очевидно, пока горит, тогда-то весь аром ² перейдет в пунш.

— Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда.

— Все это вздор! — кричит К<етчер> всех громче.— А вот что не вздор — свечи надобно потушить.

Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, француз, присланный от

¹ сорт белого вина (франц. *sauternes*).— *Ред.*

² аромат (франц. *arome*).— *Ред.*

«Яра», готов; он приготовляет какой-то антитезис жженки, напиток со льдом из разных вин, *à la base de cognac*¹; неподдельный сын «великого народа», он, наливая французское вино, объясняет нам, что оно потому так хорошо, что два раза проехало экватор. — *Oui, oui, messieurs; deux fois l'équateur, messieurs!*²

Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен и вообще пить больше не надобно, К<етчер> кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем:

— Пора тушить! Пора тушить!

Огонь краснеет от шампанского, бегаёт по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием.

А тут отчаянный голос:

— Да помилуй, братец, ты с ума сходишь, разве не видишь, смола топится прямо в пунш.

— А ты сам поддержи бутылку в таком жару, чтоб смола не топилась.

— Ну, так ее прежде обить, — продолжает огорченный голос.

— Чашки, чашки! Довольно ли у вас их, сколько? нас — девять, десять... четырнадцать, — так, так.

— Где найти четырнадцать чашек?

— Ну, кому чашек не достало — в стакан.

— Стаканы лопнут.

— Никогда, никогда, стоит только ложечку положить.

Свечи поданы; последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт — и нет его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась! — говорят со всех сторон.

На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки, — смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отравы.

Входит Петр Федорович.

— А вы-с сегодня пришли не в своей шляпе: наша шляпа будет лучше.

¹ на коньяке (франц.). — *Ред.*

² Да, да, господа, два раза экватор, господа (франц.). — *Ред.*

— Черт с ней совсем.

— Не прикажете ли сбегать к Николай Михайловичу Кузьме *?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы?

— Не мешает-с, на всякий случай.

Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича.

— Ты к Кузьме ступай, да только прежде попроси у повара мне кислой капусты.

— Знать, Лександ Иваныч, именинники-то не ударили лицом в грязь?

— Какой — в грязь! Эдакого пира во весь курс не было.

— В ниверситет-то уже, должно быть, сегодня отложим попечение?

Меня угрызает совесть, и я молчу.

— Папенька-то ваш меня спрашивал: «Как это, говорит, еще не вставал?» Я, знаете, не промах: голова изволит болеть, с утра-с жаловались, так я так и сторы не подымал-с. «Ну, говорит, и хорошо сделал».

— Да дай ты мне Христа ради уснуть. Хотел идти к С<а-тину>, ну и ступай.

— Сию минуту-с, только за капустой сбегаю-с.

Тяжелый сон снова смыкает глаза, часа через два просыпаясь гораздо свежее. Что-то они делают там? К<етчер> и Огарев остались почевать. Досадно, что жженка так на голову действует, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жжепку стаканом, я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку.

Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара.

— У тебя голова болит сегодня?

— Очень.

— Может, слишком много занимался? — И при этом вопросе видно, что прежде ответа он усомнился. — Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаши ¹ и у Огарева?

— Как же-с.

¹ Голохвастова.

— Потчевали, что ли, они тебя... именины? Опять суп с мадерой? Ох, не охотник я до всего до этого. Николаша-то любит, я знаю, не во-время вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павл Иванович... ну, 29 июня именины, позовет всех родных, обед, как водится, все скромно, прилично. А это, по-нынешнему, шампанского да сардинки в масле,— противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю — один, брошен! Москва... деньги есть — кучер Еремей, «пошел за вином!» А кучер рад: ему за это в лавке гривеспник.

— Да, я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтоб от этого болела голова. Я пройдуся немного, это мне всегда помогает.

— С богом; обедаешь дома, я надеюсь.

— Без сомнения, я только так.

Для пояснения *супа с мадерой* необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на Святой неделе отпраплялись с Огаревым гулять, и, чтоб отделаться от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Огарева.

Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом: так, С<атина> он безошибочно называл Сакеным, а Сазонова — Сназиным. Огарева он еще меньше других любил и за то, что у него волосы были длинные, и за то, что он курил без его спроса. Но, с другой стороны, он его считал внучатым племянником и, следовательно, родственной фамилии искажать не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал, и по родству и по богатству, к малому числу признанных моим отцом личностей, и мое близкое знакомство с его домом ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если б у Платона Богдановича не было сына.

Итак, отказать ему не считалось приличным.

Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, в балаган Прейса (я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве и Лондоне); там была небольшая девочка, которой мы восхищались и которую называли Миньонной.

Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправились обедать к «Яру». У меня был

золотой и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали *ouka au champagne*¹, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином.

— Это, верно, оттого,— сказал я,— что суп был с мадерой.

— *Au madère*; это зять Платона Богдановича, верно, так завел; *cela sent les casernes de la garde*².

С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне:

— Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой!

Итак, я скорым шагом к С<атину>.

Разумеется, Огарев и К<етчер> были на месте. К<етчер> с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у С<атины>:

В роще Марьиной гулянье
В самый тот день семика.

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась так: «Сад — вдали дом — окна освещены — буря — никого нет — калитка не заперта, она хлопает и скрипит».

— Сверх калитки и сада, есть действующие лица? — спросил я у Вадима.

¹ уху на шампанском (франц.).— *Ред.*

² с мадерой... это пахнет гвардейскими казармами (франц.).— *Ред.*

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

— Ты все дурачишься! Это не шутка, а боль моего сердца; если так, я и читать не стану,— и стал читать.

Были и вовсе не платонические шалости, даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *содержанок* (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат,— разврат по контракту, миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть не *вы* вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвентитуры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитый научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени, о тогдашнем *грундтоне*¹ нашей жизни, можно легко по ним судить. В 1833 году, июня 7, Огарев, например, мне пишет:

«Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи,— с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется,— мало того, кажется,— мне врезалась мысль, что мое призвание — быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, *alles eins*², но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду, и порядочно (извини за такое пошлое выражение), писать. Друг, скажи же, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Июня 7, 1833».

«Ты пишешь: *Да ты поэт, поэт истинный!* * Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, оно

¹ основном тоне (нем. Grundton).— *Ред.*

² все одно (нем.).— *Ред.*

не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бред горячки — это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли? Я это действительно чувствую. Нет, эта высокая жизнь — не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана, она действительна, я живу ею, я не могу вообразить себя с иною жизнью. Для чего я не знаю музыки, какая симфония вылетела бы из моей души теперь! Вот слышишь величественное *adagio*¹, но нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано; *presto, presto*², мне надобно бурное, неукротимое *presto*. *Adagio* и *presto*, две крайности. Прочь с этой посредственностью, *andante*³, *allegro moderato*⁴, это заики или слабоумные, не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833» *.

Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности, он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло 20 лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него не загрязнившись.

Это — не неуверенность в себе, это — сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это — беспокойство зарождающегося творчества, это — тревожное озиранье души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять, — пишет он в том же письме, — те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми! Я поэт, поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения» *.

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

¹ очень медленно (итал.). — *Ред.*

² очень быстро (итал.). — *Ред.*

³ не спеша (итал.). — *Ред.*

⁴ умеренно быстро (итал.). — *Ред.*

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Баранже, терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию* была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи*, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отращенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона* и по орлеанской религии*.

С одной стороны, *освобождение женщины*, призывание ее на общий труд, отдавание ее судеб в ее руки, союз с нею как с равным.

С другой — оправдание, *искупление плоти*, *réhabilitation de la chair!*¹

¹ реабилитация плоти (франц.).— *Ред.*

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в свою очередь и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести все-народно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закреплённый, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно согласенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 года *. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существе.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно растают и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят

черезо всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юпошей. Одна представляет логику, другая — историю, одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них *правее*, другая *возможнее*.

О выборе не может быть и речи, обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, — она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том, легче или тяжелее будет, — тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начала, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса — и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, — время, предшествовавшее запрещению «Телеграфа».

Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него.

Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

— Придет время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы — отсталый человек».

Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом,— он принялся за «Парашу Сибирячку»...*

Какое счастье во-время умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на *многих других!*



П Р И Б А В Л Е Н И Е

А. ПОЛЕЖАЕВ

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию *. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu¹ *.

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева...

И вот в одну ночь, часа в три, ректор * будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет — но, на этот раз, уж прямо к государю.

Князь Ливен * оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря

¹ Праздника божества (франц.). — *Ред.*

на то что был шестой час утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты ли,— спросил он,— сочинил эти стихи?

— Я,— отвечал Полежаев.

— Вот, князь,— продолжал государь,— вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу,— сказал Полежаев.

— Читай!— закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал «Сашку» так переписанного и на такой славной бумаге.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете?— спросил Николай по окончании чтения.— Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки*; я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, в. в.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно, для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться,— отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

— От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне *писать*, — *поцеловал его в лоб*.

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе — так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, в. с.

— Что же! Доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был — видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом.

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты *.

Прошли года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое — тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал *, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй *; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

— Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:

Без утешений
Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал... *

Полежаева отправили на Кавказ *; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломало его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве *. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чухотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами: она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и пр. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева,— он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели *. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах,— он был произведен в больнице.



Часть вторая
ТЮРЬМА И ССЫЛКА
(1834—1838)

ГЛАВА VIII

Пророчество.— Арест Огарева.— Пожар.— Московский либерал.— М. Ф. Орлов.— Кладбище.

...Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму; ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взшел наверх, в небольшую комнату его, и сел писать.

Дверь тихо отворилась, и вошла старушка, мать Вадима; шаги ее были едва слышны, она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них:

— Пишите, пишите,— я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя; дети пошли гулять, внизу такая пустота, мне сделалось грустно и страшно, я посижу здесь; я вам не мешаю, делайте свое дело.

Лицо ее было задумчиво, в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.

— Много, много пришлось мне перестрадать; что-то еще придется увидеть,— прибавила она, качая головой,— хорошего ничего не чует сердце.

Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы * и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова.

— Вы,— продолжала она,— и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю, как сына.

Слезка катилась по исхудалой щеке.

Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:

— Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые недостает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать... Вот он,— прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал.

Бедная мать! Святая, великая женщина!

Это стоит корнелевского «*qu'il mourût*»¹ *.

Пророчество ее скоро сбылось; по счастью, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху.

— *Как взяли?* — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

— Полицмейстер приезжал ночью, с квартальным и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Н. П.*

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция,— в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал... и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложив руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастье, падшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне, наконец, пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В. *; это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был

¹ «ему следовало умереть» (франц.).— *Ред.*

богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими замечками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё — новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией *, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком.

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Балли до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей — набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на *делового* революционера, как на государственного человека *in spe* ¹.

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем; его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и *au rez-de-chaussée* ², огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий,

¹ в будущем (лат.). — *Ред.*

² в нижнем этаже (франц.). — *Ред.*

из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень... а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то страстным одушевлением позвал меня с террасы.

— Что такое? — спросил я.

— Да пожалуйста сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу — и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая:

— Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится.

Пожар имеет в себе что-то революционное: он смеется над собственностью, нивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот дефь выгорело Лафертово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец, приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил:

— Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол...

— Прежде, нежели посадят нас на кол, — отвечал я, — боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

— Полиция, — что вы говорите?

— Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать. съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо его, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами, — он ахал и беспокоился.

— Что с вами?

— Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет... Да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно,— ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят, эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

— Поедете вы к князю?

— Помилуйте, зачем же это? Я вам советую дружески, и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны — мой искренний совет: держите себя в стороне; тормозитесь как хотите — Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластье,— какие права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М. Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же — попытка не пытка и спрос не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого Союза благоденствия, и если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата *, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде *captatio benevolentiae*¹, стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил — потом согласился.

¹ заискивания (лат.).— Ред.

Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стучался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтись в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности, — без этих комфортативов ¹ они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю-Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор, как отрастил усы.

Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст — *pendant* ² бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состаревшегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе.

От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинками, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «о кредите», — нет,

¹ подкрепляющих средств *confortatif* (франц.). — *Ред.*

² под стать (франц.). — *Ред.*

ТЮРЬМА И ССЫЛКА

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ

И С К А Н Д Е Р А.

—
Второе Изданіе.



ЛОНДОНЪ

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858

«Тюрьма и ссылка». Титульный лист второго издания. 1858.



не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком *. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, а тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Все отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на язык, он беспрестанно делал ошибки; увлекаемый первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно, он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и он, заступив за одну постройку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут выпить, с натянутой регуловской точки зрения, человека. — надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда, под полой да затворивши двери; а сказал слово громко — так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция...

Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря; сын знаменитого Н. Н. Раевского, он мальчиком четырнадцати лет находился с своим братом под Бородиным возле отца; впоследствии он умер от ран на Кавказе *. Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать.

Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.

— Тут нет места хотеть или не хотеть, — отвечал он, — только я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот, —

прибавил он, помолчав,— и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

Расспросивши меня, Орлов написал письмо к князю Голицыну, прося его свиданья.

— Князь,— сказал он мне,— порядочный человек; если он ничего не сделает, то скажет по крайней мере правду.

Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что материальным поводом был какой-то пир 24 июня *, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца; я весь день был дома, и Огарев был у нас.

С тяжелым сердцем оставил я Орлова; и ему было нехорошо; когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал.

Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго.

Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет *. Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение, знал расстройство дел — и не видел выхода. Месяца через два он умер; кровь свернулась в его жилах.

...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале *. В впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...

Ехавши от Орлова домой мимо обер-полицмейстерского дома, мне пришлось в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым.

Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного полицейского лица. Меня заставили долго ждать, наконец обер-полицмейстер * вышел.

Мой вопрос его удивил.

— Какой повод заставляет вас просить дозволение?

— Огарев — мой родственник.

— Родственник?— спросил он, прямо глядя мне в глаза.

Я не отвечал, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства.

— Я не могу вам дать позволения,— сказал он,— ваш родственник *au secret*¹. Очень жаль!

...Неизвестность и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе, узнать решительно нельзя было ничего. Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволочло серыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня.

Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня.

Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни.

Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

— До завтра,— сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра,— ответил я... и долго смотрел вслед за исчезающим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834 *.

¹ под строгим арестом (франц.).— *Ред.*



ГЛАВА IX

Арест.— Добросовестный.— Канцелярия Пречистенского частного дома.— Патриархальный суд.

...«До завтра»,— повторял я, засыпая... На душе было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во втором ночи меня разбудил камердинер моего отца; он был раздет и испуган.

— Вас требует какой-то офицер.

— Какой офицер?

— Я не знаю.

— Ну, так я знаю,— сказал я ему и набросил на себя халат.

В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель; к окну виднелся белый султан, сзади были еще какие-то лица,— я разглядел казацкую шапку.

Это был полицмейстер Миллер.

Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи; квартальный и его поручик стали рыться в книгах, в белье. Полицмейстер занялся бумагами; ему все казалось подозрительным, он все откладывал и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Я вас попрошу покаместь одеться: вы поедете со мной *.

— Куда? — спросил я.

— В Пречистенскую часть,— ответил полицмейстер успокоивающим голосом.

— А потом?

— Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора.

Я стал одеваться.

Между тем испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась из своей спальни ко мне в комнату, но в дверях между гостиной и залой была остановлена казаком. Она вскрикнула, я вздрогнул и побежал туда. Полицмейстер оставил бумаги и вышел со мной в залу. Он извинился перед моею матерью, пропустил ее, разругал казака, который был не виноват, и воротился к бумагам.

Потом взошел мой отец. Он был бледен, но старался выдержать свою бесстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидела в углу и плакала. Старик говорил безразличные вещи с полицмейстером, но голос его дрожал. Я боялся, что не выдержу этого *à la longue*¹, и не хотел доставить квартальным удовольствие видеть меня плачущим.

Я дернул полицмейстера за рукав.

— Поедемте!

— Поедемте,— сказал он с радостью.

Отец мой вышел из комнаты и через минуту возвратился; он принес маленький образ, надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я был тронут; этот *религиозный* подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика. Я стал на колени, когда он надевал его; он поднял меня, обнял и благословил.

Образ представлял, на финифти, отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде. Что это было — пример, совет или пророчество? — не знаю, но смысл образа поразил меня.

Мать моя была почти без чувств.

Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки,— я заживо присутствовал при своем выносе; полицмейстер хмурился и торопил.

Когда мы вышли за ворота, он собрал свою команду; с ним было четыре казака, двое квартальных и двое полицейских.

— Позвольте мне идти домой? — спросил у полицмейстера человек с бородой, сидевший перед воротами.

— Ступай,— сказал Миллер.

— Это что за человек? — спросил я, садясь на дрожки.

¹ долго (франц.).— *Ред.*

— Добросовестный *; вы знаете, что без добросовестного полиция не может входить в дом.

— За тем-то вы и оставили его за воротами?

— Пустая форма! Даром помешали человеку спать,— заметил Миллер.

Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом.

В частном доме не было для меня особой комнаты. Полицмейстер велел до утра посадить меня в канцелярию. Он сам привел меня туда; бросился на кресла и, устало зевая, бормотал:

— Проклятая служба, на скачке был с трех часов да вог с вами провозился до утра,— небось, уж четвертый час, а завтра в девять часов с рапортом ехать. Прощайте,— прибавил он через минуту и вышел.

Унтер запер меня на ключ, заметив, что если что нужно, то могу постучать в дверь.

Я отворил окно — день уж начался, утренний ветер подымался; я попросил у унтера воды и выпил целую кружку. О сне не было и в помышлении. Впрочем, и лечь было некуда: кроме грязных кожаных стульев и одного кресла, в канцелярии находился только большой стол, заваленный бумагами, и в углу маленький стол, еще более заваленный бумагами. Скудный ночник не мог освещать комнату, а делал колеблющееся пятно света на потолке, бледневшее больше и больше от рассвета.

Я сел на место частного пристава и взял первую бумагу, лежавшую на столе,— билет на похороны дворового человека князя Гагарина и медицинское свидетельство, что он умер по всем правилам науки. Я взял другую — полицейский устав. Я пробежал его и нашел в нем статью, в которой сказано: «Всякий арестованный имеет право через три дня после ареста узнать причину оного или быть выпущен». Эту статью я себе заметил.

Через час времени я видел в окно, как приехал наш дворецкий и привез мне подушку, одеяло и шинель. Он просил о чем-то унтера, вероятно, о позволении взойти ко мне. Это был седой старик, у которого я ребенком перекрестил двух или трех детей. Унтер грубо и отрывисто отказывал ему. Один из наших кучеров стоял возле. Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. Старик кланялся мне в пояс и плакал; кучер, стегнувши лошадь, снял шляпу и утер

глаза,— дрожки застучали, и слезы полились у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние слезы во все время заключения.

К утру канцелярия начала наполняться; явился писарь, который продолжал быть пьяным с вчерашнего дня,— фигура чахоточная, рыжая, в прыщах, с животноразвратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прескверно сшитом, нечистом, лоснящемся. Вслед за ним пришел другой, в унтер-офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Он тотчас обратился ко мне с вопросом:

— В театре, что ли-с, попались?

— Меня арестовали дома.

— И сам Федор Иванович?

— Кто это Федор Иванович?

— Полковник Миллер-с.

— Да, он.

— Понимаем-с,— он моргнул рыжему, который не показал никакого участия. Кантонист не продолжал разговора; он увидел, что я взят не за буянство, не за пьянство, и потерял ко мне весь интерес, а может, и боялся вступить в разговор с *опасным* арестантом.

Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и непроспавшиеся, наконец просители и тяжущиеся.

Содержательница публичного дома жаловалась на полпивщика, что он в своей лавке обругал ее всенародно и притом такими словами, которые она, будучи женщиной, не может произнести при начальстве. Полпивщик клялся, что он таких слов никогда не произносил. Содержательница клялась, что он их неоднократно произносил и очень громко, причем она прибавляла, что он замахнулся на нее и если б она не наклонилась, то он раскрыл бы ей все лицо. Сиделец говорил, что она, во-первых, ему не платит долг, во-вторых, разбидела его в собственной его лавке и, мало того, обещала исколотить его не па живот, а на смерть руками своих приверженцев.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, с отеками глазами, кричала пронзительно громким, визжащим голосом и была чрезвычайно многоречива. Сиделец больше брал мимикой и движениями, чем словами.

Соломон-квартильный, вместо суда, бранил их обоих на чем свет стоит.

— С жиру собаки бесятся, — говорил он. — Сидели б, бестии, покойно у себя, благо мы молчим да мирволим. Видишь, важность какая! Поругались — да и тотчас начальство беспокоить. И что вы за фря такая? Словно вам в первый раз — да вас назвать нельзя не выругавши — таким ремеслом занимаетесь.

Полпивщик тряхнул головой и передернул плечами в знак глубокого удовольствия. Квартильный тотчас напал на него.

— А ты что из-за прилавка лаешься, собака? Хочешь в сибирку? Сквернослов эдакий! Да лапу еще подымать — а березовых, горячих... хочешь?

Для меня эта сцена имела всю прелесть новости, она у меня осталась в памяти навсегда; это был первый патриархальный русский процесс, который я видел.

Содержательница и квартильный кричали до тех пор, пока взошел частный пристав. Он, не спрашивая, зачем эти люди тут и чего хотят, закричал еще больше диким голосом:

— Вон отсюда, воп! Что здесь: торговая баня или кабак?

Прогнавши «сволочь», он обратился к квартильному:

— Как вам это не стыдно допускать такой беспорядок? Сколько раз вам говорил! Уважение к месту теряется — шваль всякая станет после этого содом делать. Вы потакаете слишком этим мошенникам. Это что за человек? — спросил он обо мне.

— Арестант, — отвечал квартильный, — которого привезли Федор Иванович, тут есть бумажка-с.

Частный пробежал бумажку, посмотрел на меня, с неудовольствием встретил прямой и неподвижный взгляд, который я на нем оставил, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказал: «Извините».

Дело содержательницы и полпивщика снова явилось; она требовала присяги — пришел поп; кажется, они оба присягнули — я конца не видал. Меня увезли к обер-полицмейстеру — не знаю зачем — никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой. Унтер-офицер заметил, что если я хочу поесть, то надобно послать купить что-нибудь, что казенный паек еще не назначен и что он еще дня два не будет назначен;

сверх того, как он состоит из трех или четырех копеек серебром, то *хорошие* арестанты предоставляют его в экономию.

Запачканный диван стоял у стены, время было за полдень, я чувствовал страшную усталь, бросился на диван и уснул мертвым сном. Когда я проснулся, на душе все улеглось и успокоилось. Я был измучен в последнее время неизвестностью об Огареве, теперь черед дошел и до меня, опасность не виднелась издали, а обложилась вокруг, туча была над головой. Это первое гонение должно было нам служить рукоположением.



ГЛАВА X

Под каланчой.— Лиссабонский квартальный.— Зажигатели.

К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания. К тишине и совершенной воле в клетке привыкаешь быстро — никакой заботы, никакого рассеяния.

Сначала не давали книг; частный пристав уверял, что из дому книг не дозволяется брать. Я его просил купить. «Разве что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли, пожалуй, можно, а не то, надобно спросить генерала». Предложение читать от скуки грамматику было неизмеримо смешно, тем не менее я ухватился за него обеими руками и попросил частного пристава купить итальянскую грамматику и лексикон. Со мной были две красненькие ассигнации, я отдал одну ему; он тут же послал поручика за книгами и отдал ему мое письмо к обер-полицмейстеру, в котором я, основываясь на вычитанной мною статье, просил объявить мне причину ареста или выпустить меня.

Частный пристав, в присутствии которого я писал письмо, уговаривал не посылать его. «Напрасно-с, ей-богу, напрасно-с утруждаете генерала, — скажут: беспокойные люди, — вам же вред, а пользы никакой не будет».

Вечером явился квартальный и сказал, что обер-полицмейстер велел мне на словах объявить, что в свое время я узнаю причину ареста. Далее он вытащил из кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавил: «Так хорошо случилось, что тут и словарь есть, лексикончика не нужно». Об сдаче и разговора не было. Я хотел было снова писать к обер-

полицмейстеру, но роль миниатюрного Гемпдена в Пречистенской части показалась мне слишком смешной.

Недели через полторы после моего взятия, часу в десятом вечера, пришел маленького роста черненький и рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию.

Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома, слуга отдавал внизу дежурному унтер-офицеру, тот присылал с солдатом ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полубутылки до целой в день. Н. Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного «Иоганнисберга». Солдат и я — мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букет поразил издалека. Этим вином я хотел наслаждаться дни три-четыре.

Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем.

Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было; однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков; я во всей Европе не видал людей, которые бы пили *залпом* стакан или умели *хватить* рюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда». Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой.

Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом; он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях.

— Вы, верно, — сказал он мне, — по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых?

Я подтвердил.

— Слышал я,— продолжал он,— мельком. Странное дело, ничего не понимаю.

— Я сижу две недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.

— Это-то и прекрасно,— сказал он, пристально посмотревши на меня,— и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вам дам совет: вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить — это, беда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасения.

Я смотрел на него с удивлением: лицо его не выражало ничего дурного; он догадался и, улыбнувшись, сказал:

— Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад.

Взошел какой-то чиновник; толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вон, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина и не знаю, кто он; но искренность его совета я испытал.

Потом взошел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал.

Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал:

— Батюшка, не угодно ли?

Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник * с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой; думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукою рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня *увещевать*; толковал о грехе утаивать истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо божие; он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от бога» и «кесарю — кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому евангелию и *честному* кресту в удостоверение

обета,— которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал,— искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, он поспешно начал завертывать евангелие и крест. Цынский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык:

— Я прибавлю к словам священника одно: запирайтесь вам нельзя, если б вы и хотели.

Он указал на кипы бумаг, писем, портретов, с намерением разбросанных по столу.

— Одно откровенное сознание может смягчить вашу участь; быть на воле или в Бобруйске, на Кавказе — это зависит от вас.

Вопросы предлагались письменно; наивность некоторых была поразительна. «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу — литературному или *иному*? кто его члены? где они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвечать одним *нет*.

— Вы, я вижу, ничего не знаете,— сказал, перечитывая ответы, Цынский.— Я вас предупредил — вы усложните ваше положение.

Тем и кончился первый допрос *.

...Восемь лет спустя, в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью-красавицей, сестра нового обер-полицмейстера *.

Я бывал у них и всякий раз проходил той залой, где Цынский с компанией судил и рядил нас; в ней висел, тогда и потом, портрет Павла — напоминанием ли того, до чего может унижить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтоб поощрять полицейских на всякую свирепость,— не знаю, но он был тут, с тростью в руках, курпосый и нахмуренный — я останавливался всякий раз пред этим портретом, тогда арестантом, теперь гостем. Небольшая гостипая возле, где все дышало женщиной и красотой, была как-то неуместна в доме строгости и следствий; мне было не по себе там и как-то жаль, что прекрасно развернувшийся цветок попал на кирпичную, печальную степу съезжей. Наши речи и речи

небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так пронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнущих слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках, — в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчанья жандармских шпор и сабли уральского казака...

Через неделю или две снова пришел рябенский квартальный и снова привез меня к Цынскому. В сенях сидели и лежали несколько человек скованных, окруженные солдатами с ружьями; в передней было тоже несколько человек, разных сословий, без цепей, но строго охраняемых. Квартальный сказал мне, что это всё зажигатели. Цынский был на пожаре, следовало ждать его возвращения; мы приехали часу в десятом вечера; в час ночи меня еще никто не спрашивал, и я все еще преспокойно сидел в передней с зажигателями. Из них требовали то одного, то другого — полицейские бегали взад и вперед, цепи гремели, солдаты от скуки брякали ружьями и выкидывали артикул. Около часу приехал Цынский, в саже и копоти, и пробежал в кабинет, не останавливаясь. Прошло с полчаса, позвали моего квартального; он воротился бледный, растерянный и с судорожным подергиванием в лице. Вслед за ним Цынский высунул голову в дверь и сказал:

— А вас, *monsieur Г.*, вся комиссия ждала целый вечер, этот *болван* привез вас сюда в то время, как вас требовали к князю Голицыну. Мне очень жаль, что вы здесь прождали так долго, но это не моя вина. Что прикажете делать с такими исполнителями? Я думаю, пятьдесят лет служит и все чурбал. — Ну, пошел теперь домой! — прибавил он, изменив голос на гораздо грубейший и обращаясь к квартальному.

Квартальный повторял целую дорогу:

— Господи! какая беда! Человек не думает, не гадает, что над ним сделается, — ну, уж он меня доедет теперь. Он бы еще ничего, если б вас там не ждали, а то ведь ему срам. Господи, какое несчастье!

Я простил ему рейпвейн, особенно когда он мне сообщил, что он менее был испуган, когда раз тонул возле Лиссабона, чем теперь. Последнее обстоятельство было так пещадпно для меня, что мною овладел безумный смех.

— Как же вы это попали в Лиссабон? Помилуйте, на что же это похоже? — спросил я его.

Старик был лет за двадцать пять морским офицером. Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкипа, что в России, некоторым образом, никакая служба не остается без вознаграждения *. Его судьба спасла в Лиссабоне для того, чтоб быть обруганным Цынским, как мальчишка, после сорокалетней службы.

Он же почти не был виноват.

Следственная комиссия, составленная генерал-губернатором, не понравилась государю *; он назначил новую под председательством князя Сергея Михайловича Голицына. В этой комиссии членами были: московский комендант Стааль, другой князь Голицын *, жандармский полковник Шубинский и прежний аудитор Оранский.

В обер-полицмейстерском приказе не было сказано, что комиссия переведена; весьма естественно, что лиссабонский квартальный свез меня к Цынскому...

В частном доме была тоже большая тревога: три пожара случились в один вечер, и потом из комиссии присылали два раза узпать, что со мной сделалось, — не бежал ли я. Чего Цынский не добранил, то добавил частный пристав лиссабонцу, что и следовало ожидать, потому что частный пристав был тоже долею виноват, не справившись, куда именно требуют. В канцелярии, в углу, кто-то лежал на стульях и стонал; я посмотрел, — молодой человек красивой наружности и чисто одетый, он харкал кровью и охал, частный лекарь советовал пораньше утром отправить его в больницу.

Когда унтер-офицер привел меня в мою комнату, я выпытал от него историю раненого. Это был отставной гвардейский офицер, он имел интригу с какой-то горничной и был у нее, когда загорелся флигель. Это было время наибольшего страха от зажигательства; действительно, не проходило дня, чтоб я не слышал трех-четырёх раз сигнального колокольчика; из окна я видел всякую ночь два-три зарева. Полиция и жители с ожесточением искали зажигателей. Офицер, чтоб не компрометировать девушку, как только началась тревога, перелез забор и спрятался в сарае соседнего дома, выжидая минуты, чтоб

выйти. Маленькая девчонка, бывшая на дворе, увидела его и сказала первым прискакавшим полицейским, что зажигатель спрятался в сарае; они ринулись туда с толпой народа и с торжеством вытащили офицера. Они его так основательно избили, что он на другой день к утру умер.

Начался разбор захваченных людей; половину отпустили, других нашли подозрительными. Полицмейстер Брянчанинов ездил всякое утро и допрашивал часа три или четыре. Иногда допрашиваемых секли или били; тогда их вопль, крик, просьбы, визг, женский стон, вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письмоводителя, доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, и я просыпался в исступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе, в цепях, с изодранной, с избитой спиной и паверное без всякой вины.

Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических арестантов, которые большею частью принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбою бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. К кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд?

Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь,— его мученичество оканчивается с началом наказания. Теперь вспомним, что три четверти людей, хватаемых полицией по подозрению, судом освобождаются и что они прошли через те же истязания, как и виновные.

Петр III упичтожил застенки и тайную канцелярию *.

Екатерина II упичтожила пытку *.

Александр I *еще раз* ее упичтожил *.

Ответы, сделанные «под страхом», не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию.

И во всей России — от Берингова пролива до Таурогена — людей пытаются; там, где опасно пытаться розгами, пытаются нестер-

пимым жаром, жаждой, соленой пищей; в Москве полиция ставила какого-то подсудимого босого, градусов в десять мороза, на чугунный пол — он занемог и умер в больнице, бывшей под начальством князя Мещерского, рассказывавшего с негодованием об этом. Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, *правительствующий* сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, помещики и квартальные — все согласны с Селифаном, что «отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!» *

Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, т. е. секла — месяцев шесть кряду — и ничего не высекла. Государь рассердился и велел дело окончить в три дня. Дело и кончилось в три дня; виновные были найдены и приговорены к наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Из всех домов собрали дворников смотреть страшное наказание «зажигателей». Это было уже зимой, и я содержался тогда в Крутицких казармах. Жандармский ротмистр, бывший при наказании, добрый старик, сообщил мне подробности, которые я передаю. Первый осужденный на кнут громким голосом сказал народу, что он клянется в своей невинности, что он сам не знает, что отвечал под влиянием боли, при этом он снял с себя рубашку и, повернувшись спиной к народу, прибавил: «Посмотрите, православные!»

Стон ужаса пробежал по толпе: его спина была синяя полосатая рана, и по этой-то ране его следовало бить кнутом. Ропот и мрачный вид собранного народа заставили полицию торопиться, палачи отпустили законное число ударов, другие заклеямили, третьи сковали ноги, и дело казалось оконченным. Однако сцена эта поразила жителей; во всех кругах Москвы говорили об ней. Генерал-губернатор донес об этом государю. Государь велел назначить *новый* суд и особенно разобрать дело зажигателя, протестовавшего перед наказанием.

Спустя несколько месяцев прочел я в газетах, что государь, желая вознаградить двух невинно наказанных кнутом, приказал им выдать по двести рублей за удар и снабдить особым паспортом, свидетельствующим их невинность, несмотря на клеймо. Это был зажигатель, говоривший к народу, и один из его товарищей.

История о зажигательствах в Москве в 1834 г., отозвавшаяся лет через десять в разных провинциях, остается загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения; вообще огонь, «красный петух», — очень национальное средство мести у нас. Беспрестанно слышишь о поджоге барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаров именно в 1834 в Москве, этого никто не знает, всего меньше — члены комиссии.

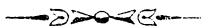
Перед 22 августа, днем коронации *, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет.

Переполюшилось трусливое московское начальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон уланов стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешие беспрестанно объезжали улицы. В экзерциргаузе была приготовлена артиллерия. Полицмейстеры скакали взад и вперед с казаками и жандармами, сам князь Голицын с адъютантами проехал верхом по городу. Этот военный вид скромной Москвы был странным и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор... Спешившиеся уланы сидели кучками около лошадей, другие садились на коней; офицеры расхаживали, с пренебрежением глядя на полицейских; плац-адъютанты приезжали с озабоченным видом, с желтым воротником и, ничего не сделавши, — уезжали.

Пожаров не было.

Вслед за тем явился сам государь в Москву. Он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен, что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен, что не нашли зажигателей, словом, был недоволен всем и всеми.

Мы вскоре почувствовали высочайшую близость.



ГЛАВА XI

Крутицкие казармы.— Жандармские повествования.—
Офицеры.

Дня через три после приезда государя, поздно вечером — все эти вещи делаются в темноте, чтоб не беспокоить публику,— пришел ко мне полицейский офицер с приказом собрать вещи и отправляться с ним.

— Куда? — спросил я.

— Вы увидите,— отвечал умно и учтиво полицейский. После этого, разумеется, я не продолжал разговора, собрал вещи и пошел.

Ехали мы, ехали часа полтора, наконец проехали Симонов монастырь и остановились у тяжелых каменных ворот, перед которыми ходили два жандарма с карабинами. Это был Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы *.

Меня привели в небольшую канцелярию. Писаря, адъютанты, офицеры — все было голубое. Дежурный офицер, в каске и полной форме, просил меня подождать и даже предложил закурить трубку, которую я держал в руках. После этого он принялся писать расписку в получении арестанта; отдав ее квартальному, он ушел и воротился с другим офицером.

— Комната вапа готова,— сказал мне последний,— пойдемте.

Жандарм светил нам, мы сошли с лестницы, прошли несколько шагов двором, взойшли небольшой дверью в длинный коридор, освещенный одним фонарем; по обеим сторонам были небольшие двери, одну из них отворил дежурный офицер; дверь вела в крошечную кордегардию, за которой была небольшая

комнатка, сырая, холодная и с запахом подвала. Офицер с аксельбантом, который привел меня, обратился ко мне на французском языке, говоря, что он *désolé d'être dans la nécessité*¹ шарить в моих карманах, но что военная служба, обязанность, повиновение... После этого красноречивого вступления он очень просто обернулся к жандарму и указал на меня глазом. Жандарм в ту же минуту запустил невероятно большую и шершавую руку в мой карман. Я заметил учтивому офицеру, что это вовсе не пужно, что я сам, пожалуй, выворочу все карманы, без таких пасильственных мер. К тому же, что могло быть у меня после полуторамесячного заключения?

— Знаем мы,— сказал, неподражаемо самодовольно, улыбаясь, офицер с аксельбантом,— знаем мы порядки частных домов.

Дежурный офицер тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтоб он только смотрел; я выпул все, что было.

— Высыпьте на стол ваш табак,— сказал офицер *désolé*².

У меня в кисете был перочинный ножик и карандаш, завернутые в бумажке; я с самого начала думал об них и, говоря с офицером, играл с кисетом до тех пор, пока ножик мне попал в руку, я держал его сквозь матерку и смело высыпал табак на стол, жандарм снова его всыпал. Ножик и карандаш были спасены — вот жандарму с аксельбантом урок за его гордое пренебрежение к явной полиции.

Это происшествие расположило меня чрезвычайно хорошо, я весело стал рассматривать мои новые владения.

В монашеских кельях, построенных за триста лет и ушедших в землю, устроили несколько светских келий для политических арестантов.

В моей комнате стояла кровать без тюфяка, маленький столик, на нем кружка с водой, возле стул, в большом медном шандале горела тонкая сальная свеча. Сырость и холод проникали до костей; офицер велел затопить печь, потом все ушли. Солдат обещал принести сена; пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку.

¹ огорчен необходимостью (франц.).— *Ред.*

² огорченный (франц.).— *Ред.*

Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали свечи и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкались, суеились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола.

Я не любил тараканов, как вообще всяких незваных гостей; соседи мои показались мне страшно гадки, но делать было нечего — не начать же было жаловаться на тараканов, — и первые покорились. Впрочем, дня через три все прусаки перебрались за загородку к солдату, у которого было теплее; иногда только забежит, бывало, один, другой таракан, поводит усами и тотчас назад — греться.

Сколько я ни просил жандарма, он печку все-таки закрыл. Мне становилось не по себе, в голове кружилось, я хотел встать и постучать солдату; действительно встал, но этим и оканчивается все, что я помню...

...Когда я пришел в себя, я лежал на полу, голову ломило страшно. Высокий, седой жандарм стоял сложа руки и смотрел на меня бессмысленно-внимательно, в том роде, как в известных бронзовых статуэтках собака смотрит на черепаху.

— Славно угорели, ваше благородие, — сказал он, видя, что я очнулся. — Я вам хренку принес с солью и с квасом; я уж вам давал нюхать, теперь выпейте.

Я выпил, он поднял меня и положил на постель; мне было очень дурно, окно было с двойной рамой и без форточки; солдат ходил в канцелярию просить разрешения выйти на двор; дежурный офицер велел сказать, что ни полковника, ни адъютанта нет налицо, а что он на свою ответственность взять не может. Пришлось оставаться в угарной комнате.

Обжился я и в Крутицких казармах, спрягая итальянские глаголы и почитывая кой-какие книжонки. Сначала содержание было довольно строго. В девять часов вечера при последнем звуке вестовой трубы солдат входил в комнату, тушил свечу и запирал дверь на замок. С девяти вечера до восьми следующего дня приходилось сидеть в потемках. Я никогда не спал много, в тюрьме без всякого движения мне за глаза было достаточно четырех часов сна — каково же наказание не иметь свечи? К тому же часовые с двух сторон коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко: «Слу-у-ушай!»

Через несколько недель полковник Семенов (брат знаменитой актрисы *, впоследствии княгини Гагариной) позволил оставлять свечу, запретив, чтоб чем-нибудь завешивали окно, которое было ниже двора, так что часовой мог видеть все, что делается у арестанта, и не велел в коридоре кричать «Слушай».

Потом комендант * разрешил нам иметь чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетом на том условии, чтоб все листы были целы. Гулять было дозволено раз в сутки на дворе, окруженном оградой и цепью часовых, в сопровождении солдата и дежурного офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо, военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность вроде цезуры в стихах. Утром я варил с помощью жандарма в печке кофей; часов в десять являлся дежурный офицер, внося с собой несколько кубических футов мороза, гремя саблей, в перчатках с огромными обшлагами, в каске и шинели; в час жандарм приносил грязную салфетку и чашку супа, которую он держал всегда за края, так что два большие пальца были приметно чище остальных. Кормили нас сносно, но при этом не следует забывать, что за корм брали по два рубля ассигнациями в день, что в продолжение девятимесячного заключения составило довольно значительную сумму для неимущих. Отец одного арестанта просто сказал, что у него денег нет; ему хладнокровно ответили, что у него из жалованья вычтут. Если б он не получал жалованья, весьма вероятно, что его посадили бы в тюрьму.

В дополнение должно заметить, что в казармы присылалось для нашего прокормления полковнику Семенову один рубль пятьдесят копеек из ордонансгауза. Из этого было вышел шум, но пользовавшиеся этим плац-адъютанты задали жандармский дивизион ложами на первые представления и бенефисы, тем дело и кончилось.

После вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустевшими по снегу перед самым окном, ни дальними окликающими часовых. Обыкновенно я читал до часу и потом тушил свечу. Сон переносил на волю, иной раз впросоньях казалось: фу, какие тяжелые грезы приснились — тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сон, а тут вдруг прогремит сабля по коридору, или дежурный офи-

цер отворит дверь, сопровождаемый солдатом с фонарем, или часовой прокричит нечеловечески «кто идет?», или труба под самым окном резкой «зарей» раздерет утренний воздух...

В скучные минуты, когда не хотелось читать, я толковал с жандармами, караулившими меня, особенно с стариком, лечившим меня от угара. Полковник в знак милости отряжает старых солдат, избавляя их от строю, на спокойную должность беречь запертого человека, над ними назначается ефрейтор — шпион и плут. Пять-шесть жандармов делали всю службу.

Старик, о котором идет речь, был существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которых, вероятно, ему не много давалось в жизни. Он делал кампанию 1812 года, грудь его была покрыта медалями; срок свой он выслужил и остался по доброй воле, не зная, куда деться.

— Я два раза, — говорил он, — писал на родину в Могилевскую губернию, да ответа не было, видно, из моих никого больше нет; так оно как-то и жутко на родину прийти, побудешь-побудешь, да, как скаанный какой, и пойдешь куда глаза глядят Христа ради просить.

Какое варварское и безжалостное устройство военной службы в России, с ее чудовищным сроком! Личность человека у нас везде принесена на жертву без малейшей пощады, без всякого вознаграждения.

Старик Филимонов имел притязания на знание немецкого языка, которому обучался на зимних квартирах после взятия Парижа. Он очень удачно перекладывал на русские нравы немецкие слова: лошадь он называл *ферт*, яйца — *еры*, рыбу — *пиш*, овес — *овер*, блины — *панкухи* ¹.

В его рассказах был характер наивности, наводивший на меня грусть и раздумье. В Молдавии, во время турецкой кампании 1805 года, он был в роте капитана, добрейшего в мире, который о каждом солдате, как о сыне, пекся и в деле был всегда впереди.

— Его приворожила к себе одна молдаванка; мы видим: наш ротный командир в заботе, а он, знаете, того, подметил, что молдаванка к другому офицеру похаживает. Вот раз позвал

¹ Искаженные немецкие слова: Pferd — лошадь; Eier — яйца; Fisch — рыба; Hafer — овес; Pfannkuchen — блин. — *Ред.*

он меня и одного товарища — славного солдата, ему потом под Малым Ярославцем обе ноги оторвало — и стал нам говорить, как его молдаванка обидела и что хотим ли мы помочь ему и дать ей науку. «Отчего же,— говорим мы ему,— мы ваше-му высокоблагородию всегда ради стараться». Он поблагодарил да и указал дом, в котором жил офицер, и говорит: «Вы ночью станьте на мосту, она беспреренно пойдет к нему, вы ее без шума возьмите да и в реку». — «Можно, мол, ваше высокоблагородие,— говорим мы ему да и припасли с товарищем мешочек; сидим-с; только едак к полночи бежит молдаванка; мы, знаете, говорим ей: «Что, мол, сударыня, торопитесь?» да и дали ей раз по голове; она, голубушка, не пикнула, мы ее в мешок — да и в реку. А капитан на другой день к офицеру пришел и говорит: «Вы не гневайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, т. е., теперь в реке, а с вами, дескать, прогуляться можно на сабле или на пистолях, как угодно». Ну, и рублились. Тот нашему капитану грудь сильно прохватил, почая, сердечный, одначе месяца через три богу душу и отдал.

— А молдаванка, — спросил я, — так и утонула?

— Утонула-с, — отвечал солдат.

Я с удивлением смотрел на детскую беспечность, с которой старый жандарм мне рассказывал эту историю. И он, как будто догадавшись или подумав в первый раз о ней, добавил, успокоивая меня и примиряясь с совестью:

— Язычница-с, все равно что некрещеная, такой народ.

Жандармам дают всякий царский день чарку водки. Вахмистр позволял Филимонову отказываться раз пять-шесть от своей порции и получать разом все пять-шесть; Филимонов метил на деревянную бирку, сколько стаканчиков пропущено, и в самые большие праздники отправлялся за ними. Водку эту он выливал в миску, крошил в нее хлеб и ел ложкой. После такой закуски он закуривал большую трубку на крошечном чубучке, табак у него был крепости невероятной, он его сам крошил и вследствие этого остроумно называл «санкраше». Курия, он укладывался на небольшом окне, — стула в солдатской комнате не было, — согнувшись в три погибели, и пел песню:

Вышли девки на лужок,
Где муравка и цветок.

По мере того как он пьянел, он иначе произносил слово цветок — «тветок», «кветок», «хветок», дойдя до «хветок», он засыпал. Каково здоровье человека, с лишком шестидесяти лет, два раза раненного и который выносил такие завтраки!

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандские картины à la Вуверман — Калло и эти тюремные сплетни, похожие на воспоминания всех в неволе заключенных, скажу еще несколько слов об офицерах.

Большая часть между ними были довольно хорошие люди, вовсе не шпионы, а люди, случайно занесенные в жандармский дивизион. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами потому, что не нашли другого дела. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замечал тени усердия — исключая, впрочем, адъютанта, — но зато он и был адъютантом.

Когда офицеры ознакомились со мной, они делали все маленькие льготы и облегчения, которые от них зависели, жаловаться на них было бы грешно.

Один молодой офицер рассказывал мне, что в 1831 году он был командирован отыскать и захватить одного польского помещика, скрывавшегося в соседстве своего имения. Его обвиняли в сношениях с эмиссарами *. Офицер отправился, по собранным сведениям он узнал место, где укрывался помещик, явился туда с командой, оцепил дом и взобрал в него с двумя жандармами. Дом был пустой; походили они по комнатам, пошныряли — нигде никого, а, между прочим, некоторые бездельцы явно показывали, что в доме недавно были жильцы. Оставя жандармов внизу, молодой человек второй раз пошел на чердак; осматривая внимательно, он увидел небольшую дверь, которая вела к чулану или к какой-нибудь каморке; дверь была заперта изнутри, он толкнул ее ногой, она отворилась — и высокая женщина, красивая собой, стояла перед ней; она молча указывала ему на мужчину, державшего в своих руках девочку лет двенадцати, почти без памяти. Это был он и его семья. Офицер смутился. Высокая женщина заметила это и спросила его:

— И вы будете иметь жестокость погубить их?

Офицер извинялся, говоря обычные пошлости о беспрекословном повиновении, о долге, и, наконец, в отчаянии, видя, что его слова нисколько не действуют, кончил свою речь вопросом:

— Что же мне делать?

Женщина гордо посмотрела на него и сказала, указывая рукой на дверь:

— Идти вниз и сказать, что здесь никого нет.

— Ей-богу, не знаю, — говорил офицер, — как это случилось и что со мной было, но я сошел с чердака и велел унтеру собрать команду. Через два часа мы его усердно искали в другом поместье, пока он пробирался за границу. Ну, женщина! Признаюсь!

...Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названия — страшная вещь. Ж.-П. Рихтер говорит с чрезвычайной верностью: если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он — *лгун*. Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна. «Это — убийца», говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать — постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером — не утратив всего человеческого достоинства, так, как сплошь да рядом можно найти женственность, нежное сердце и даже благородство в несчастных жертвах «общественной невоздержности».

Я имею отвращение к людям, которые не умеют, не хотят или не дают себе труда идти далее названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это делают обыкновенно отвлеченные, сухие, себялюбивые, противные в своей чистоте натуры или натуры пошлые, низшие, которым еще не удалось или не было нужды заявить себя официально; они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали.



ГЛАВА XII

Следствие.— Голицын sen*.— Голицын jun¹*.— Генерал
Стааль.— Сентенция.— Соколовский.

...Но при всем этом что же *дело*, что же следствие и процесс?

В новой комиссии дело так же не шло на лад, как в старой. Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в своем усердии дожидаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера Скарятку, чтоб нас завлечь, обличить; он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большею частью студенты, не были так осторожны, но эти *другие* не имели с нами никакой серьезной связи.

Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года *. Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто *не был приглашен*. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и между прочим спели хором известную песню Соколовского:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин урод.

¹ senior — старший, junior — младший (лат.).— *Ред.*

Но царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,—
С.... ..подлец *.

Вечером Скарятка *вдруг* вспомнил *, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь, и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Середь пения отворилась дверь, и вошел Цынский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно.

Полиция хотела захватить нас, она искала внешний повод запутать в дело человек пять-шесть, до которых добиралась,— и захватила двадцать человек невинных.

Но русскую полицию трудно сконфузить. Через две недели арестовали нас *, как *соприкосновенных* к делу праздника. У Соколовского нашли письма С<агина>, у С<агина> — письма Огарева, у Огарева — мои,— тем не менее ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось. Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А. Ф. Голицына.

Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник третьего отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан да несколько служилых остзейцев и падших поляков ¹.

Но на беду инквизиции, первым членом был назначен московский комендант Стааль. Стааль — прямодушный воин, старый, храбрый генерал, разобрал дело и нашел, что оно состоит из двух обстоятельств, не имеющих ничего общего между собой: из дела о празднике, за который следует полицейски наказать, и из ареста людей, захваченных бог знает почему, которых вся видимая вина в каких-то полувывысказанных мнениях, за которые судить и трудно и смешно.

¹ К вновь отличившимся талантам принадлежит известный Липранди, подавший проект об учреждении академии шпионства (1858).

Мнение Стааля не понравилось Голицыну младшему. Спор их принял колкий характер; старый воин вспыхнул от гнева, ударил своей саблей по полу и сказал:

— Вместо того чтоб губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов, это предупредит других несчастных — а впрочем, вы можете делать что хотите, но делать без меня; нога моя не будет в комиссии.

С этими словами старик поспешно оставил залу.

В тот же день это было донесено государю.

Утром, когда комендант явился с рапортом, государь спросил его, зачем он не хочет ездить в комиссию? Стааль рассказал зачем.

— Что за вздор? — возразил император. — Ссориться с Голицыным, как не стыдно! Я надеюсь, что ты попрежнему будешь в комиссии.

— Государь, — ответил Стааль, — пощадите мои седые волосы, я дожил до них без малейшего пятна. Мое усердие известно в. в., кровь моя, остаток дней принадлежат вам. Но тут дело идет о моей чести — моя совесть восстает против того, что делается в комиссии.

Государь сморщился, Стааль откланился и в комиссии не был ни разу с тех пор.

Этот анекдот, которого верность не подлежит ни малейшему сомнению, бросает большой свет на характер Николая. Как же ему не пришло в голову, что если человек, которому он не отказывает в уважении, храбрый воин, заслуженный старец, так упирается и так умоляет пощадить его честь, то, стало быть, дело не совсем чисто? Меньше нельзя было сделать, как потребовать налицо Голицына и велеть Стаалю при нем объяснить дело. Он этого не сделал, а велел нас строже содержать.

После него в комиссии остались одни враги подсудимых под председательством простенького старичка, князя С. М. Голицына, который через девять месяцев так же мало знал дело, как девять месяцев прежде его начала. Он хранил важно молчание, редко вступал в разговор и при окончании допроса всякий раз спрашивал:

— Его *можно* отпустить?

— Можно, — отвечал Голицын junior, и senior, важно говорил арестанту:

— Ступайте!

Первый допрос мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, «не свойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона» — так выражались Голицын junior и аудитор Оранский.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: «Как вы объясняете следующее место вашего письма?»

Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном письме аудитор открыл фразу: «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов» *. Когда мне пришлось объяснять эту фразу, я заметил, что я не вижу никакой обязанности защищать конституционное правительство и что, если б я его защищал, меня в этом обвинили бы.

— На конституционную форму можно нападать с двух сторон,— заметил своим нервным, шипящим голосом Голицын junior,— вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о *рабах*.

— В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной II, которая не велела своим подданным зваться *рабами*.

Голицын junior, задыхаясь от злобы за этот иронический ответ, сказал мне:

— Вы, верно, думаете, что мы здесь собираемся для того, чтоб вести схоластические споры, что вы в университете защищаете диссертацию?

— Зачем же вы требуете объяснений?

— Вы делаете вид, будто не понимаете, чего от вас хотят.

— Не понимаю.

— Какая у них у всех упорность,— прибавил председатель Голицын senior, пожал плечами и взглянул на жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся.

— Точно Огарев,— довершил добрейший председатель.

Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергея Михайловича; я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим тут стояло многотомное издание записок герцога Сен-Симона *.

— Вот,— сказал я, обращаясь к председателю,— какая несправедливость! Я под следствием за сен-симонизм, а у вас, князь, томов двадцать его сочинений!

Так как добряк отродясь ничего не читал, то он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын jun. взглянул на меня глазами ехидны и спросил:

— Что, вы не видите, что ли, что это записки герцога С.-Симона, который был при Людовике XIV?

Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший: «Что, брат, обмишурился?», и сказал:

— Ступайте.

Когда я был в дверях, председатель спросил:

— Ведь это он писал о Петре I, вот что вы мне показывали? *

— Оя,— отвечал Шубинский.

Я приостановился.

— Il a des moyens ¹,— заметил председатель.

— Тем хуже. Яд в ловких руках опаснее,— прибавил инквизитор.— Превредный и совершенно неисправимый молодой человек...

Приговор мой лежал в этих словах.

А пронос к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, он отложил том истории французской революции Тьера *, потом нашел другой... третий... восьмой. Наконец он не вытерпел и сказал: «Господи! Какое количество революционных книг... И вот еще!» — прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье «Sur les révolutions du globe terrestre» *.

Другой порядок вопросов был запутаннее. В них употреблялись разные полицейские уловки и следственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противуречие. Тут делались

¹ Он не без способностей (франц.). — *Ред.*

намеки на показание других и разные нравственные пытки. Рассказывать их не стоит, довольно сказать, что между нами четверьма *, при всех своих уловках, они не могли натянуть *ни одной очной ставки*.

Получив последний вопрос, я сидел один в небольшой комнате, где мы писали. Вдруг отворилась дверь и вошел Голицын jun. с печальным и озабоченным видом.

— Я,— сказал он,— пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру; для этого вам надобно выпутаться из дела... а это зависит, по счастью, от вас. Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест и живет теперь надеждой, что вас выпустят; мы с князем Сергием Михайловичем сейчас говорили об этом и искренно готовы многое сделать; дайте нам средства помочь.

Я видел, куда шла его речь — кровь у меня бросилась в голову — я с досадой грыз перо.

Он продолжал:

— Вы идете прямо под белый ремень или в казематы, по дороге вы убьете отца, он дня не переживет, увидев вас в серой шинели.

Я хотел что-то сказать, но он перервал мои слова.

— Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того чтоб обратить на вас монаршую милость, нам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы запираетесь во всем, уклоняетесь от ответов и из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, *и которые не были так скромны, как вы*¹; вы им не поможете, а они вас стащат с собой в пропасть. Напишите письмо в комиссию, просто, откровенно, скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лет, *назовите* несчастных заблудших людей, которые вовлекли вас... Хотите ли вы этой легкой ценой искупить вашу будущность? и жизнь вашего отца?

¹ Нужно ли говорить, что это была наглая ложь, пошлая полицейская уловка.

— Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова,— ответил я.

Голицын встал и сказал сухим голосом:

— А, так вы не хотите,— не наша вина!

Этим заключились допросы.

В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если хочу, и подписать. Один Шубинский был налицо. Окончив чтение, я сказал ему:

— Хотелось бы мне знать, в чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью Свода вы подведете меня?

— *Свод законов назначен для преступлений другого рода*,— заметил голубой полковник.

— Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все *дело*, по которому я сижу в тюрьме седьмой месяц.

— Да вы, в самом деле, воображаете,— возразил Шубинский,— что мы так и поверили вам, что у вас не *составлялось* тайного общества?

— Где же это общество? — спросил я.

— Ваше счастье, что следов не нашли, что вы не успели ничего наделать. Мы во-время вас остановили, т. е., просто сказать, мы спасли вас.

Опять история слесарши Пошлепкиной и ее мужа в «Ревизоре» *.

Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взошел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собою разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было (а это опять мой добросовестный за воротами!).

По окончании следствия тюремное заключение несколько ослабили. Близкие родные могли доставать в ордонансгаузе дозволение видетсья. Так прошли еще два месяца.

В половине марта приговор наш был утвержден; никто не знал его содержания; одни говорили, что нас посылают на Кавказ, другие — что нас свезут в Бобруйск, третьи надеялись,

что всех выпустят (таково было мнение Стааля, посланное им особо государю; он предлагал вменить нам тюремное заключение в наказание).

Наконец нас собрали всех двадцатого марта к князю Голицыну для слушания приговора *. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца.

Соколовский был налицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора.

Соколовский, автор «Мироздания», «Хеверы» и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, *bon vivant* ¹, любивший покутить — как мы все... может, немного больше.

Попавшись невзначай с оргий в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел, он вырос в остроге. Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший, поседевший в зависти, стяжании и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены, — сказал Соколовский, — что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту *облегчающую* причину.

Аудитор пожал плечами, возвел глаза горé и, долго, молча посмотрев на Соколовского, понюхал табаку.

Соколовского схватили в Петербурге и, не сказавши, куда его повезут, отправили в Москву. Подобные шутки полиция у нас делает часто и совершенно бесполезно. Это ее поэзия. Нет на свете такого прозаического, такого отвратительного за-

¹ любивший хорошо пожить (франц.). — *Ред.*

нения, которое бы не имело своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшений. Соколовского привезли прямо в острог и посадили в какой-то темный чулан. Почему его посадили в острог, когда нас содержали по казармам?

У него было с собой две-три рубашки и больше ничего. В Англии всякого колодника, приводимого в тюрьму, тотчас по приходе сажают в ванну, у нас берут предварительные меры против чистоты.

Если б доктор Гааз не прислал Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи.

Доктор Гааз был преоригинальный чудака. Память об этом *юродивом и поврежденном* не должна заглухнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела.

Старый, худощавый, восковой старичок, в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что выпешшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом *grand gala* ¹ похорон и свадеб и в приятном климате 59° сев. шир. Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств — грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование *благотворительных* дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтоб спасти от голодной смерти и трескучих морозов.

Но Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за «глупое баловство преступниц», потирал себе руки и говорил:

— Извольте видеть, милостивой сударинь, кусок хлеба, крош им всякой дает, а конфекту или ашфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать ² из ваших слов; потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится.

¹ парадном костюме (франц.).— *Ред.*

² вывести, от *conséquence* (франц.).— *Ред.*

Гааз жил в больнице. Приходит к нему перед обедом какой-то больной посоветоваться. Гааз осмотрел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвратившись, он не нашел ни больного, ни серебряных приборов, лежавших на столе. Гааз позвал сторожа и спросил, не входил ли кто, кроме больного? Сторож смекнул дело, бросился вон и через минуту возвратился с ложками и пациентом, которого он остановил с помощью другого больничного солдата. Мошенник бросился в ноги доктору и просил помилования. Гааз сконфузился.

— Сходи за квартальным,— сказал он одному из сторожей.— А ты позови сейчас писаря.

Сторожа, довольные открытием, победой и вообще участием в деле, бросились вон, а Гааз, пользуясь их отсутствием, сказал вору:

— Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, бог тебя рассудит... а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились... Да постой, может, у тебя нет ни гроша,— вот полтинник; но старайся исправить свою душу— от бога не уйдешь, как от будочника!

Тут восстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое:

— Воровство — большой порок; но я знаю полицию, я знаю, как они истязают,— будут допрашивать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам гораздо больший порок; да и почему знать — может, мой поступок тронет его душу!

Домочадцы качали головой и говорили: «*Er hat einen Raptus*»¹; благотворительные дамы говорили: «*C'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle là*»², и они указывали на лоб. А Гааз потирал руки и делал свое.

...Едва Соколовский кончил свои анекдоты, как несколько других разом начали свои; точно все мы возвратились после долгого путешествия — расспросам, шуткам, остромам не было конца.

Физически С<атин> пострадал больше других, он был худ и лишился части волос. Узнав в Тамбовской губернии, в деревне

¹ «Он — человек с причудами» (нем.).— *Ред.*

² «Это человек хороший, но тут вот у него не все в порядке» (франц.).— *Ред.*

у своей матери, что нас схватили, он сам поехал в Москву, чтоб приезд жандармов не испугал мать, простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его застала в постели, вести в часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальни с внутренней стороны полицейского солдата и *братом милосердия* посадили у постели больного квартального надзирателя; так что, приходя в себя после бреда, он встречал *слушающий* взгляд одного или испитую рожу другого.

В начале зимы его перевезли в Лефортовский госпиталь *; оказалось, что в больнице не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой безделицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный угол *без печи*, — положили больного в эту южную веранду и поставили к нему часового. Какова была температура зимой в каменном чулане, можно понять из того, что часовой ночью до того изнемог от стужи, что пошел в коридор погреться к печи, прося Скатина > не говорить об этом дежурному.

Тропическое помещение показалось самым властям госпиталя в такой близости к полюсу невозможным; Скатина > перевели в комнату, возле которой оттирали замерзлых.

Не успели мы пересказать и переслушать половину походов, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно — и маленький князь Сергей Михайлович Голицын взмошел *en grande tenue*¹, лента через плечо; Цынский — в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светлозеленый статско-военный мундир для такой радости. Комендант, разумеется, не приехал.

Шум и смех между тем до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное *неуважение* к высочайшей воле, которую мы должны услышать.

Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела; в первом были: Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем *tutti frutti*².

¹ в парадной форме (франц.).— *Ред.*

² все прочие (итал.).— *Ред.*

Приговор прочли особо первой категории — он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлюс-сельбург на *бессрочное время*.

Все трое выслушали геройски этот дикий приговор.

Когда Оранский, мямля для важности, с расстановкой читал, что за оскорбление величества и августейшей фамилии следует то и то..., Соколовский ему заметил:

— Ну, фамилии-то я никогда не оскорблял.

У него в бумагах, сверх стихов, нашли шутя несколько раз писанные под руку вел. кн. Михаила Павловича резолюции с намеренными орфографическими ошибками, напр.: «утвѣрждаю», «пѣрговорить», «доложить мне», и пр., и эти ошибки способствовали к обвинению его.

Цынский, чтоб показать, что и он может быть развязным и любезным человеком, сказал Соколовскому после сентенции:

— А вы прежде в Шлюссельбурге бывали?

— В прошлом году, — отвечал ему тотчас Соколовский, — точно сердце чувствовало, я там вышил бутылку мадеры.

Через два года Уткин умер в каземате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пятигорске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком *.

Уткин, «вольный художник, содержащийся в остроге», как он подписывался под допросами, был человек лет сорока; он никогда не участвовал ни в каком политическом деле, но, благородный и порывистый, он давал волю языку в комиссии, был резок и груб с членами. Его за это *уморили* в сыром каземате, в котором вода текла со стен.

Ибаев был виноватее других только эполетами. Не будь он офицер, его никогда бы так не наказали. Человек этот попал на *какую-то* пирушку, вероятно, пил и пел, как все прочие, но наверное не более и не громче других.

Пришел наш черед. Оранский протер очки, откашлянул и принялся благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было *изображено*, что государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые лета преступников, *повелел под суд нас не отдавать*, а объявить нам, что по закону

следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества пением возмутительных песен, лишить живота, а в силу других законов сослать на вечную каторжную работу. Вместе чего государь, в беспредельном милосердии своем, большую часть виновных прощает, оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправлении их на бес-срочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства.

Этих более виновных нашлось шестеро: Огарев, Скатын, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. В числе осужденных был Лахтин, который вовсе не был арестован. Когда его позвали в комиссию слушать сентенцию, он думал, что это для страха, для того чтоб он казнился, глядя, как других наказывают. Рассказывали, что кто-то из близких князя Голицына, сердясь на его жену, удружил ему этим сюрпризом. Слабый здоровьем, он года через три умер в ссылке.

Когда Оранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который председательствовал в комиссии, что государь был так милосерд.

Шубинский ждал, что при этом слове все примутся благодарить князя; но вышло не так.

Несколько из прощенных кивнули головой, да и то украдкой глядя на нас.

Мы стояли сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью.

Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал:

— Вы едете в Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец — князь просил государя вам назначить этот город для того, чтоб ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?

Делать было нечего, Огарев слегка поклонился. Вот из чего они бились.

Добренькому старику это понравилось, и он, не знаю почему, вслед за тем позвал меня. Я вышел вперед с святейшим намерением, что бы он и Шубинский ни говорили, не благодарить; к тому же меня посылали дальше всех и в самый скверный город.

— А вы едете в Пермь,— сказал князь.

Я молчал. Князь срезался и, чтоб что-нибудь сказать, прибавил:

— У меня там есть имение.

— Вам угодно что-нибудь поручить через меня вашему старосте? — спросил я, улыбаясь.

— Я таким людям, как вы, ничего не поручаю — *карбонариям*,— добавил находчивый князь.

— Что же вы желаете от меня?

— Ничего.

— Мне показалось, что вы меня позвали.

— Вы можете идти,— перервал Шубинский.

— Позвольте,— возразил я,— благо я здесь, вам напомнить, что вы, полковник, мне говорили, когда я был в последний раз в комиссии, что меня никто не обвиняет в деле праздника, а в приговоре сказано, что я — один из виновных по этому делу. Тут какая-нибудь ошибка.

— Вы хотите возражать на высочайшее решение? — заметил Шубинский.— Смотрите, как бы Пермь не переменилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать.

— Я об этом хотел просить. В приговоре сказано: по докладу комиссии, я возражаю на ваш доклад, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мне не было даже вопроса ни о празднике, ни о каких песнях.

— Как будто вы не знаете,— сказал Шубинский, начинавший бледнеть от злобы,— что ваша вина вдесятеро больше тех, которые были на празднике. Вот,— он указал пальцем на одного из прощенных,— вот он под пьяную руку спел мерзость, да после на коленках со слезами просил прощения. Ну, вы еще от всякого раскаяния далеки.

Господин, на которого указал полковник, промолчал и понурил голову, побагровев в лице... Урок был хорош. Вот и делай после подлости...

— Позвольте, не о том речь,— продолжал я,— велика ли моя вина или нет; но если я убийца, я не хочу, чтоб меня считали вором. Я не хочу, чтоб обо мне, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то наделал «под пьяную руку», как вы сейчас выразились.

— Если б у меня был сын, родной сын, с такой закоснелостью, я бы сам попросил государя сослать его в Сибирь.

Тут обер-полицмейстер вмешал в разговор какой-то бесвязный вздор. Жаль, что не было меньшого Голицына,— вот был бы случай поораторствовать.

Все это, разумеется, окончилось ничем.

Лахтин подошел к князю Голицыну и просил отложить отъезд.

— Моя жена беременна,— сказал он.

— В этом я не виноват,— отвечал Голицын.

Зверь, бешеная собака, когда кусается, делает серьезный вид, поджимает хвост, а этот юродивый вельможа, аристократ, да притом с славой доброго человека... не постыдился этой подлой шутки.

...Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещаниям жандармских и полицейских офицеров, крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Оболенского, я никого не видел до возвращения из Вятки.

Отъезд был перед нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но с отъездом в глушь она обрывалась.

Юношеское существование в нашем дружеском кружке оканчивалось.

Ссылка продолжится наверное несколько лет. Где и как встретимся мы, и встретимся ли?..

Жаль было прежней жизни, и так круто приходилось ее оставить... не простясь. Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало.

Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище... В ее лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим...

Мы увиделись на несколько минут, 9 апреля 1835 г. *, накануне моего отправления в ссылку.

Долго святил я этот день в моей памяти, это — одно из счастливейших мгновений в моей жизни.

...Зачем же воспоминание об этом дне и обо всех светлых днях моего бывшего напоминает так много страшного?.. Могилу, венок из темнокрасных роз, двух детей, которых я держал за руки, — факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце...

Все прошло! *



ГЛАВА XIII

Ссылка.— Городничий.— Волга.— Пермь.

Утром 10 апреля жандармский офицер привез меня в дом генерал-губернатора. Там, в секретном отделении канцелярии, позволено было родственникам проститься со мною.

Разумеется, все это было неловко и щемило душу — шныряющие шпионы, писаря, чтение инструкции жандарму, который должен был меня везти, невозможность сказать что-нибудь без свидетелей, — словом, оскорбительнее и печальнее обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнул, когда коляска покатилась, наконец, по Владимирке.

Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nel eterno dolore...^{1*}

На станции где-то я написал эти два стиха, которые равно хорошо идут к преддверию ада и к сибирскому тракту.

В семи верстах от Москвы есть трактир, называемый «Перовым». Там меня обещался ждать один из близких друзей. Я предложил жандарму * выпить водки, он согласился: от городу было далеко. Мы вошли, но приятеля там не было. Я мешкал в трактире всеми способами, жандарм не хотел больше ждать, ямщик трогал коней — вдруг несется тройка и прямо к трактиру, я бросился к двери... двое незнакомых гуляющих купеческих сынков шумно слезали с телеги. Я посмотрел

¹ Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечную муку (итал.).— *Ред.*

вдаль — ни одной движущейся точки, ни одного человека не было видно на дороге к Москве... Горько садиться и ехать. Я дал двугривенный ямщику, и мы понеслись, как из лука стрела.

Мы ехали не останавливаясь; жандарму велено было делать не менее двухсот верст в сутки. Это было бы сносно, но только не в начале апреля. Дорога местами была покрыта льдом, местами водой и грязью; притом, подвигаясь к Сибири, она становилась хуже и хуже с каждой станцией.

Первый путевой анекдот был в Покрове.

Мы потеряли несколько часов за льдом, который шел по реке, прерывая все сношения с другим берегом. Жандарм तो-ропился; вдруг станционный смотритель в Покрове объявляет, что лошадей нет. Жандарм показывает, что в подорожной сказано: «Давать из курьерских, если нет почтовых». Смотритель отзывается, что лошади взяты под товарища министра внутренних дел. Как разумеется, жандарм стал спорить, шуметь; смотритель побежал доставать обывательских лошадей. Жандарм отправился с ним.

Надоело мне дожидаться их в нечистой комнате станционного смотрителя. Я вышел за ворота и стал ходить перед домом. Это была первая прогулка без солдата после девятимесячного заключения.

Я ходил с полчаса, как вдруг повстречался мне человек в мундирном сертуке без эполет и с голубым *pour le mérite*¹ на шее. Он с чрезвычайной настойчивостью посмотрел на меня, прошел, тотчас возвратился и с дерзким видом спросил меня:

— Вас везет жандарм в Пермь?

— Меня,— отвечал я, не останавливаясь.

— Позвольте, позвольте, да как же он смеет...

— С кем я имею честь говорить?

— Я здешний городничий*,— ответил незнакомец голосом, в котором звучало глубокое сознание высоты такого общественного положения.— Прошу покорно, я с часу на час жду товарища министра*— а тут политические арестанты по улицам прогуливаются. Да что же это за осел жандарм!

— Не угодно ли вам адресоваться к самому жандарму?

¹ орденской лентой (франц.).— *Ред.*

— Не адресоваться, а я его арестую, я ему велю вцепить сто палок, а вас отправлю с полицейским.

Я кивнул ему головой, не дожидаясь окончания речи, и быстрыми шагами пошел в станционный дом. В окно мне было слышно, как он горячился с жандармом, как грозил ему. Жандарм извинялся, но, кажется, мало был испуган. Минуты через три они вошли оба, я сидел, обернувшись к окну, и не смотрел на них.

Из вопросов городничего жандарму я тотчас увидел, что он снесдаем желанием узнать, за какое дело, почему и как я сослан. Я упорно молчал. Городничий начал безличную речь между мною и жандармом:

— В наше положение никто не хочет взойти. Что, мне весело, что ли, браниться с солдатом или делать неприятности человеку, которого я отродясь не видал? Ответственность! Городничий — хозяин города. Что бы ни было, отвечай: казначейство обокрадут — виноват; церковь сгорела — виноват; пьяных много на улице — виноват; вина мало пьют — тоже виноват (последнее замечание ему очень понравилось, и он продолжал более веселым тоном); хорошо, вы меня встретили, — ну, встретили бы министра да тоже бы эдак мимо, а тот спросил бы: «Как, политический арестант гуляет? — городничего под суд...»

Мне, наконец, надоело его красноречие, и я, обращаясь к нему, сказал:

— Делайте все, что вам приказывает служба, но я вас прошу избавить меня от поучений. Из ваших слов я вижу, что вы ждали, чтоб я вам поклонился. Я не имею привычки кланяться незнакомым.

Городничий сконфузился.

«У нас всё так, — говаривал А. А., — кто первый даст острастку, начнет кричать, тот и одержит верх. Если, говоря с начальником, вы ему позволите поднять голос, вы пропали; услышав себя кричащим, он делается дикий зверь. Если же при первом грубом слове вы закричали, он непременно испугается и уступит, думая, что вы с характером и что таких людей не надобно слишком дразнить».

Городничий услал жандарма спросить, что лошади, и, обращаясь ко мне, заметил вроде извинения:

— Я это больше для солдата и сделал, вы не знаете, что такое наш солдат,— ни малейшего попущения не следует допускать, но поверьте, я умею различать людей — позвольте вас спросить, какой несчастный случай...

— По окончании дела нам запретили рассказывать.

— В таком случае... конечно... я не смею... — и взгляд городничего выразил муку любопытства. Он помолчал.

— У меня был родственник дальний, он сидел с год в Петропавловской крепости, знаете, тоже, сношения — позвольте, у меня это на душе, вы, кажется, все еще сердитесь? Я человек военный, строгий, привык; по семнадцатому году поступил в полк, у меня нрав горячий, но через минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю в покое, черт с ним совсем...

Жандарм взошел с докладом, что ранее часа лошадей нельзя пригнать с выгона.

Городничий объявил ему, что он прощает его по моему ходатайству; потом, обращаясь ко мне, прибавил:

— И вы уж не откажите в моей просьбе, и в доказательство, что не сердитесь,— я живу через два дома отсюда,— позвольте вас просить позавтракать чем бог послал.

Это было так смешно после нашей встречи, что я пошел к городничему и ел его балык и его икру, и пил его водку и мадеру.

Он до того разлюбезничался, что рассказал мне все свои семейные дела, даже семилетнюю болезнь жены. После завтрака он с гордым удовольствием взял с вазы, стоявшей на столе, письмо и дал мне прочесть «стихотворение» его сына, удостоенное публичного чтения на экзамене в кадетском корпусе. Одолжив меня такими знаками несомненного доверия, он ловко перешел к вопросу, косвенно поставленному, о моем деле. На этот раз я долею удовлетворил городничего.

Городничий этот напомнил мне того секретаря уездного суда, о котором рассказывал наш Щепкин. «Девять исправников переменялись, а секретарь остался бессменно и управлял попрежнему уездом.

— Как это вы ладите со всеми? — спросил его Щепкин.

— Ничего-с, с божией помощью обходимся кой-как. Иной, точно, сначала такой сердитый, бьет передними и задними но-

гами, кричит, ругается; и в отставку, говорит, выгоню и в губернию, говорит, отпишу — ну, знаете, наше дело подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срок, надорвется еще! Так это, — еще первая упряжка. И, действительно, глядишь, — куда потом *в езде хорош*» *.

...Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива; целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике — река разливалась верст на пятнадцать или больше. День был ненастный. Перевоз остановился, множество телег и всяких повозок ждали на берегу.

Жандарм пошел к смотрителю и требовал дощаника. Смотритель давал его нехотя, говорил, что, впрочем, лучше обождать, что неровен час. Жандарм торопился, потому что был пьян, потому что хотел показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшом дощанике, и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татарин через полчаса поднял парус, как вдруг утихавшая буря снова усилилась. Нас понесло с такой силой, что, нагнав какое-то бревно, мы так в него стукнулись, что дрянной паром проломился, и вода разлилась по палубе. Положение было неприятное; впрочем, татарин сумел направить дощаник на мель.

Купеческая барка прошла в виду; мы ей кричали, просили прислать лодку; бурлаки слышали и проплыли, не сделав ничего.

Крестьянин подъехал на небольшой комыге с женой, спросил нас, в чем дело, и, заметив: «Ну, что же? Ну, заткнуть дыру, да благословясь и в путь. Что тут киснуть? Ты вот для того, что татарин, так ничего и не умеешь сделать», — взошел на дощаник.

Татарин в самом деле был очень встревожен. Во-первых, когда вода залила спящего жандарма, тот вскочил и тотчас начал бить татарина. Во-вторых, дощаник был казенный, и татарин повторял:

— Ну, вот потонет, что мне будет! что мне будет!

Я его утешал, говоря, что и он тогда с дощаником потонет.

— Хорошо, бачка, коли потону, а как нет? — отвечал он.

Мужик и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужик постучал топором, прибил какую-то дощечку; потом, по поясе в воде, помог другим стащить дощаник с мели, и мы скоро

выплыли в русло Волги. Река несла свирепо. Ветер и дождь со снегом секли лицо, холод проникал до костей, но вскоре стал вырезываться из-за тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла, как вдруг татарин жалобным голосом закричал: «Тече, тече!» — и действительно, вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стрежне реки, дощаник двигался тише и тише, можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет. Татарин снял шапку и молился. Мой камердинер *, растерянный, плакал и говорил:

— Прощай, моя матушка, не увижусь я с тобой больше.

Жандарм бранился и обещался на берегу всех исколотить.

Сначала и мне было жутко, к тому же ветер с дождем прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтоб я мог погибнуть, *ничего не сделав*, это юношеское «*Quid timeas? Caesarem vehis!*»¹ * взяло верх, и я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью. Жизнь впоследствии отучает от гордой веры, наказывает за нее; оттого-то юность и отважна и полна героизма, а в годах человек осторожен и редко увлекается.

...Через четверть часа мы были на берегу подле стен казанского кремля, передрогнувшие и вымоченные. Я взошел в первый кабаk, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился в почтамт.

В деревнях и маленьких городках у станционных смотрителей есть комната для проезжих. В больших городах все останавливаются в гостиницах, и у смотрителей нет ничего для проезжающих. Меня привели в почтовую канцелярию. Станционный смотритель показал мне свою комнату; в ней были дети и женщины, больной старик не сходил с постели, — мне решительно не было угла переодеться. Я написал письмо к жандармскому генералу и просил его отвести комнату где-нибудь, для того чтоб обогреться и высушить платье.

Через час времени жандарм воротился и сказал, что граф Апраксин велел отвести комнату. Подождал я часа два, никто не приходил, и я опять отправил жандарма. Он пришел с ответом, что полковник Поль, которому генерал приказал отвести

¹ «Чего ты боишься? Ты везешь Цезаря!» (лат.).— *Ред.*

мне квартиру, в дворянском клубе играет в карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство, и я написал второе письмо к графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на следующей станции могу найти приют. Граф изволил почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было делать; я снял мокрое платье и лег на столе почтовой конторы, завернувшись в пинель «старшого»; вместо подушки я взял толстую книгу и положил на нее немного белья.

Утром я послал принести себе завтрак. Чиновники уже собирались. Экзекутор ставил мне на вид, что, в сущности, завтракать в присутственном месте нехорошо, что ему лично это все равно, но что почтмейстеру это может не понравиться.

Я шутя говорил ему, что выгнать можно только того, кто имеет право выйти, а кто не имеет его, тому поневоле приходится есть и пить там, где он задержан...

На другой день граф Апраксин разрешил мне остаться до трех дней в Казани и остановиться в гостинице.

Три дня эти я бродил с жандармом по городу. Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквями — все это напоминает Азию и Восток. В Владимире, Нижнем подозревается близость к Москве, здесь — даль от нее.

...В Перми меня привезли прямо к губернатору *. У него был большой съезд: в этот день венчали его дочь с каким-то офицером. Он требовал, чтоб я взшел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти к нему, говоря, что он тогда сыщет мне запяtie в канцелярии.

Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние; как крот, где-то под землю, незаметно, он прибавлял зерно к зерну и отложил-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятого контроля и порядка он приказывал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в десять часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и с листом,

поверял, все ли налицо, а если кого не было, посылал квартального узнавать о причине, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким образом я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтоб я не был знаком.

На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле.

На воле... в маленьком городе на сибирской границе, без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить.

Из детской я перешел в аудиторию, из аудитории — в дружеский кружок, — теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма, чтоб дать всему осесться. Практическое соприкосновение с жизнью начиналось тут — возле Уральского хребта.

Она тотчас заявила себя; на другой день после приезда я пошел с сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру; он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему ни толковал, что я ищу дом очень маленький и, еще лучше, часть дома, он упорно требовал, чтоб я взошел.

Хозяйка усадила меня на диван; узнав, что я из Москвы, спросила — видел ли я в Москве г. Кабрита. Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слышал.

— Что ты это, — заметила старушка, — Кабрит-то? — и она назвала его по имени и по отчеству. Помилуй, батюшка, он у нас вист-то губернатором.

— Да я девять месяцев в тюрьме сидел, может, потому не слышал, — сказал я, улыбаясь.

— *Пожалуй*, что и так. Так ты, батюшка, домик нанимаешь?

— Велик, больно велик, я служивому-то говорил.

— Лишнее добро за плечами не висит.

— Оно так, но за лишнее добро вы попросите и денег побольше.

— Ах, отец родной, да кто же это тебе о моих ценах говорил, я и не молвила еще.

— Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом.

— Даешь-то ты сколько?

Чтоб отделаться от нее, я сказал, что больше трехсот пятидесяти рублей (ассигнациями) не дам.

— Ну, и на том спасибо; вели-ка, голубчик мой, чемоданчики-то перенести да выпей тенерифу рюмочку.

Цена ее мне показалась баснословно дешевой, я взял дом, и, когда совсем собрался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить: а что коровку свою станешь держать?

— Нет, помилуйте, — отвечал я, до оскорбления пораженный ее вопросом.

— Ну, так я буду тебе сливочек приносить.

Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку.

Но я еще не успел обглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку, потому что другой сосланный, назначенный в Вятку *, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники. Губернатор хотел, чтоб я ехал на другой же день. Это было невозможно; думая остаться несколько времени в Перми, я накупил всякой всячины, надобно было продать хоть за полцены. После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое суток, взяв слово, что я не буду искать случая увидѣться с другим сосланным.

Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, как вдруг явился полицмейстер * с приказом выехать в продолжение двадцати четырех часов. Я объяснил ему, что губернатор дал мне отсрочку. Полицмейстер показал бумагу, в которой, действительно, было ему предписано выпроводить меня в двадцать четыре часа. Бумага была подписана в самый тот день, следовательно, после разговора со мною.

— А, — сказал полицмейстер, — понимаю, понимаю: это наш герой-то хочет оставить дело на моей ответственности.

— Поедемте его уличать.

— Поедемте!

Губернатор сказал, что он забыл разрешение, данное мне. Полицмейстер лукаво спросил, не прикажет ли он переписать бумагу.

— Стоит ли труда! — прибавил простодушно губернатор.

— Поймали, — сказал мне полицмейстер, потирая от удовольствия руки... — Чернильная душа!

Пермский полицмейстер принадлежал к особому типу воен-

но-гражданских чиновников. Это люди, которым посчастливилось в военной службе как-нибудь наткнуться на штык или подвернуться под пулю, за это им даются преимущественно места городничих, экзекуторов.

В полку они привыкли к некоторым замашкам откровенности, затвердили разные сентенции о неприкосновенности чести, о благородстве, язвительные насмешки над писарями. Младшие из них читали Марлинского и Загоскина, знают на память начало «Кавказского пленника», «Войнаровского» и часто повторяют затверженные стихи. Например, иные говорят всякий раз, заставая человека куращим:

Янтарь в устах его дымился *.

Все они без исключения глубоко и громко сознают, что их положение гораздо ниже их достоинства, что одна нужда может их держать в этом «чернильном мире», что если б не бедность и не раны, то они управляли бы корпусами армии или были бы генерал-адъютантами. Каждый прибавляет поразительный пример кого-нибудь из прежних товарищей и говорит:

— Ведь вот — Крейц или Ридигер — в одном приказе в корнеты произведены были. Жили на одной квартире — Петруша. Алеппа, — ну, я, видите, не немец, да и поддержки не было никакой — вот и сиди будочником. Вы думаете, легко благородному человеку с нашими понятиями занимать полицейскую должность?

Жены их еще более горюют и с стесненным сердцем возят в ломбард всякий год денежки класть, отправляясь в Москву под предлогом, что мать или тетка больна и хочет в последний раз видеть.

И так они живут себе лет пятнадцать. Муж, жалуясь на судьбу, сечет полицейских, бьет мещан, подличает перед губернатором, покрывает воров, крадет документы и повторяет стихи из «Бахчисарайского фонтана». Жена, жалуясь на судьбу и на провинциальную жизнь, берет все на свете, грабит просителей, давки и любит месячные ночи, которые называет «лунными».

Я потому остановился на этой характеристике, что сначала я был обманут этими господами и в самом деле считал их несколько лучше других, что вовсе не так...

Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне.

На одном из губернаторских смотров ссылкой меня пригласил к себе один ксендз. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок, лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который удивляет сначала и привязывает потом; такие черты были у величайшего из поляков — у Фаддея Костюшки. Одежда Цехановича свидетельствовала о страшной бедности.

Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая; молодой лист разvertyвался, березы цвели (помнится, вся аллея была березовая) — и никем никого. Провинциалы наши не любят *платонических* гуляний. Долго бродя, я увидел наконец по другую сторону бульвара, т. е. на поле, какого-то человека, гербаризировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел к нему.

Впоследствии я много видел мучеников польского дела; чьи-то миссии польской борьбы чрезвычайно богаты, — Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца, — жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше следствие.

В Вильне был в то время начальником, *со стороны победоносного неприятеля*, тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что «он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают». Для узкого, мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере всего симпатичнее.

Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых их знакомых, обращались с арестантами, как мерзавцы, лишённые всякого воспитания, всякого чувства деликатности и притом очень хорошо знавшие, что все их дей-

ствия покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучеников, и слезами польских матерей... Еще эта *страстная неделя* целого народа ждет своего Луки или Матфья... Но пусть *они* знают: один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея николаевского времени в *pendant* галереи полководцев 1812 года *.

Муравьев говорил арестантам «ты» и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цехановичу и хотел его взять за грудь, а может, и ударить, — встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном.

Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд: рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цехановича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его.

— Что же бы вы сделали в цепях?

— Я разорвал бы его зубами, я своим черепом, я цепями избил бы его, — сказал он дрожа.

Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске или Красноярске. Совершенно одинокий, Цеханович занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор, наконец получил позволение перебраться в Пермь; и это уже для него было улучшение: снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся в Литве, писала к нему, что она отправится к нему *пешком из Виленской губернии*... Он ждал ее.

Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста; небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель, — на меня пахло моей крутицкой кельей.

Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне:

— Вот за то-то я и люблю природу: ее никак не отнимешь, где бы человек ни был.

Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее.

— К моей рубашке она не идет,— сказал он мне,— но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах.

Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом, оторвав от нее несколько звеньев, подал мне с словами:

— Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени; все я вам не дам, а возьмите эти кольца. Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику.

Я обнял его и простился.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Завтра утром, но я вас не зову: у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм.

— Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня.

На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм *, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около коляски. Все было готово; я печаянно взглянул на улицу — идет мимо Цеханович. Я бросился к окну.

— Ну, слава богу,— сказал он,— я вот четвертый раз прохожу, чтоб проститься с вами хоть издали, но вы все не видали.

Глазами, полными слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми!

...На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь сильный, непрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день; часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было; вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись, две ли печати или одна, кричали «айда, айда!» и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем бы это

сделалось при зрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть что-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я вошел в избу, душную, черную, и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету верст пять, я было раскаялся и хотел спросить лошадей.

Пока я думал, ехать или не ехать, вошел солдат и отпартовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая.

— С большим удовольствием. Где твой офицер?

— Возле, в избе, ваше благородие! — и солдат выделал известное *па* налево кру — *ом*.

Я пошел вслед за ним.

Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недалких, добродушных служаек, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся, без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить.

— Кого и куда вы ведете?

— И не спрашивайте, индо сердце надывается; ну, да про то знают першие, наше дело — исполнять приказания, не мы в ответе; а по-человеческому — некрасиво.

— Да в чем дело-то?

— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятiletнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала было их *велели гнать в Пермь, да вышла перемена — гоним в Казань*. Я их принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорил: «Беда да и только, треть осталась на дороге» (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, — прибавил он.

— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.

— Нет, не то, чтоб повальные, а так, мрут, как мухи. Жиденок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари... Опять — чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну,

покашливает, покашливает — да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?

Я молчал.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь был уже больно силен... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет... Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу.

И притом заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну, а если б попался военно-политический эконом?

Я взял офицера за руку и, сказав: «Поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь...

Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая! Мы к ним привыкли, они делались обыденно, делались как ни в чем не бывало, никем не замеченные, потерянные за страшной далью, беззвучно заморенные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой.

Разве мы не видали своими глазами семьи голодных исковских мужиков, переселяемых насильственно в Тобольскую губернию и кочевавших без корма и ночлегов по Тверской площади в Москве до тех пор, пока князь Д. В. Голицын на свои деньги велел их призреть?



ГЛАВА XIV

Вятка.— Канцелярия и столовая его превосходительства.—
К. Я. Тюфяев.

Вятский губернатор не принял меня, а велел сказать, чтоб я явился к нему на другой день в десять часов.

В зале утром я застал исправника *, полицмейстера * и двух чиновников; все стояли, говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога; большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались; старое и с тем вместе приапическое выражение лица, небольшие, быстрые серенькие глазки и редкие прямые волосы делали пeverоятно гадкое впечатление.

Он сначала сильно намылил голову исправнику за дорогу, по которой вчера ехал. Исправник стоял с несколько опущенной, в знак уважения и покорности, головою и ко всему прибавлял, как это встарь делывали слуги:

— Слушаю, ваше превосходительство.

После исправника он обратился ко мне. Дерзко посмотрел на меня и спросил:

— Вы ведь кончили курс в Московском университете?

— Я кандидат.

— Потом служили?

— В Кремлевской экспедиции.

— Ха, ха, ха! Хорошая служба! Вам, разумеется, при такой службе был досуг пировать и песни петь. Аленицын! — закричал он.

Взошел молодой золотушный человек.

— Послушай, братец, вот кандидат Московского университета; он, вероятно, все знает, кроме службы; его величеству угодно, чтоб он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Завтра вы явитесь в канцелярию в девять утром, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете?

Я сразу не понял.

— Ну, то есть почерк.

— У меня ничего нет с собой.

— Дай бумаги и перо,— и Аленицын подал мне перо.

— Что же я буду писать?

— Что вам угодно,— заметил секретарь,— напишите: *А по справке оказалось.*

— Ну, к государю переписывать вы не будете,— заметил, иронически улыбаясь, губернатор.

Я еще в Перми многое слышал о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания.

Что и чего не производит русская жизнь!

Тюфяев родился в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, кувыркаются колесом и пр. Он с ними дошел от Тобольска до польских губерний, потешая православный народ. Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в Тобольск. Его мать овдовела и жила в большой крайности; сын клал сам печку, когда она развалилась; надобно было приискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Развязный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом.

В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор. Ему нужны были деловые писаря, кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у

которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решил сделать карьеру.

И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрина *, который тогда был генерал-интендантом. Еще год спустя он уже заведует одной экспедицией в канцелярии Аракчеева, заведовавшей всею Россией; он с графом был в Париже во время занятия его союзными войсками.

Тюфяев все время просидел безвыходно в походной канцелярии и à la lettre не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги, с достойным товарищем своим Клейнмихелем.

Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут. Устал наконец и Тюфяев на этой фабрике приказов и указов, распоряжений и учреждений и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не полюбить такого человека, как Тюфяев: без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повинование в первую добродетель людскую. Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног.

Власть губерпатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири. Такой-то край и был нужен Тюфяеву.

Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый. Тюфяев был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году — каким-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел

донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется, если он был интересован в деле, говорил ему, что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если бы открылось что-нибудь другое.

В Перми все еще было полно славою Тюфяева, у него там была партия приверженцев, враждебная новому губернатору, который, как разумеется, окружил себя своими клевретами.

Но зато были люди, ненавидевшие его. Один из них, довольно оригинальное произведение русского *надлома*, особенно предупреждал меня, что такое Тюфяев. Я говорю об докторе на одном из заводов. Человек этот, умный и очень нервный, вскоре после курса как-то несчастно женился, потом был занесен в Екатеринбург и, без всякой опытности, затерт в болото провинциальной жизни. Поставленный довольно независимо в этой среде, он все-таки сломился; вся деятельность его обратилась на преследование чиновников сарказмами. Он хохотал над ними в глаза, он с гримасами и кривлянием говорил им в лицо самые оскорбительные вещи. Так как никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой язык доктора. Он сделал себе общественное положение своими нападками и заставил бесхарактерное общество терпеть розги, которыми он хлестал его без отдыха.

Меня предупредили, что он хороший доктор, но поврежденный, и что он чрезвычайно дерзок.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсем напротив, они были полны юмора и сосредоточенной желчи; это была его поэзия, его месть, его крик досады, а может, долею и отчаяния. Он изучил чиновнический круг, как артист и как медик, он знал все мелкие и затаенные страсти их и, ободренный ненаходчивостью, трусостью своих знакомых, позволял себе все.

Ко всякому слову прибавлял он: «Ни копейки не стоит». Я раз шутя заметил ему это повторение.

— Чему же вы удивляетесь? — возразил доктор. — Цель всякой речи убедить, я и тороплюсь прибавить сильнейшее доказательство, какое существует на свете. Уверьте человека, что убить родного отца ни копейки не будет стоить, — он убьет его.

Чеботарев никогда не отказывал давать займы небольшие суммы, в сто, двести рублей ассигнациями. Когда кто у него

просил, он вынимал свою записную книжку и подробно спрашивал, когда тот ему отдаст.

— Теперь,— говорил он,— позвольте держать пари на целковый, что вы не отдадите в срок.

— Да помилуйте,— возражал тот,— за кого же вы меня принимаете?

— Вам это ни копейки не стоит,— отвечал доктор,— за кого я вас принимаю, а дело в том, что я шестой год веду книжку, и ни один человек еще не заплатил в срок, да никто почти и после срока не платил.

Срок проходил, и доктор пресерьезно требовал выигранный целковый.

Пермский откупщик продавал дорожную коляску; доктор явился в нему и, не прерываясь, произнес следующую речь:

— Вы продаете коляску, мне нужно ее; вы богатый человек, вы миллионер, за это вас все уважают, и я потому пришел свидетельствовать вам мое почтение; как богатый человек, вам ни копейки не стоит, продадите ли вы коляску или нет, мне же ее очень нужно, а денег у меня мало. Вы захотите меня притеснить, воспользоваться моей необходимостью и спросите за коляску 1500; я предложу вам рублей семьсот, буду ходить всякий день торговаться; через неделю вы уступите за 750 или 800,— не лучше ли с этого начать? Я готов их дать.

— Гораздо лучше,— отвечал удивленный откупщик и отдал коляску.

Анекдотам и шалостям Чеботарева не было конца; прибавлю еще два ¹.

— Верите ли вы в магнетизм? — спросила его при мне одна дама, довольно умная и образованная.

— Да что вы разумеете под магнетизмом?

Дама ему сказала какой-то общий вздор.

— Вам ни копейки не стоит знать,— отвечал он,— верю я магнетизму или нет, а хотите, я вам расскажу, что я видел по этой части.

¹ Эти два анекдота не были в первом издании, я их вспомнил, перечитывая листы для поправки (1858).

— Пожалуйста.

— Только слушайте внимательно.

После этого он передал очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковского доктора, его знакомого.

Середь разговора человек принес на подносе закуску. Дама сказала ему, когда он выходил:

— Ты забыл подать горчицы.

Чеботарев остановился.

— Продолжайте, продолжайте,— сказала дама, несколько уже испуганная,— я слушаю.

— Соль-то принес ли он?

— Это вы уже и рассердились,— прибавила дама, краснея.

— Нисколько, будьте уверены; я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, как бы ни была умна и о чем бы ни шла речь, не может никогда стать выше кухни,— за что же я лично на вас смел бы сердиться?

На заводах графини Полье, где он тоже лечил, понравился ему дворовый мальчик; он его пригласил к себе в услужение. Мальчик был согласен, но управляющий сказал, что без разрешения графини он его не может уволить. Чеботарев написал к графине. Она велела управляющему выдать паспорт, но на том условии, чтобы Чеботарев заплатил за *пять лет* вперед оброк. Получив этот ответ, он немедленно написал к графине, что согласен, но что просит ее предварительно разрешить ему следующее сомнение: с кого ему получить заплаченные деньги в том случае, если Энкиева комета *, пересекая орбиту земного шара, собьет его с пути,— что может случиться за полтора года до окончания срока.

В день моего отъезда в Вятку утром рано явился доктор и начал с следующей глупости:

— Вы,— как Гораций: раз *пели*, и до сих пор вас всё *переводят*.

Потом он выпнул бумажник и спросил, не нужно ли мне денег на дорогу. Я поблагодарил его и отказался.

— Отчего же вы не берете? Вам это ни копейки не стоит.

— У меня есть деньги.

— Плохо,— сказал он,— мир кончается,— раскрыл свою записную книжку и вписал: «После пятнадцатилетней практики

в первый раз встретил человека, который не взял денег, да еще будучи на отъезде».

Отдурочившись, он сел ко мне на постель и серьезно сказал:

— Вы едете к страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь как можно более. Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация; если же возненавидит, так уж он вас доедет, клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет, ему это ни копейки не стоит.

При этом он мне рассказал происшествие, истинность которого я имел случай после поверить по документам в канцелярии министра внутренних дел.

Тюфяев был в открытой связи с сестрой одного бедного чиновника. Над братом смеялись; брат хотел разорвать эту связь, грозился доносом, хотел писать в Петербург, словом, шумел и беспокоился до того, что его однажды полиция схватила и представила как сумасшедшего для освидетельствования в губернское правление.

Губернское правление, председатели палат и инспектор врачебной управы, старик немец, пользовавшийся большой любовью народа и которого я лично знал,— все нашли, что Петровский — сумасшедший.

Наш доктор знал Петровского и был его врачом. Спросили и его для формы. Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он предлагает переосвидетельствовать, иначе должен будет дело это вести дальше. Губернское правление было вовсе не прочь, но, по несчастию, Петровский умер в сумасшедшем доме, не дождавшись дня, назначенного для вторичного свидетельства и несмотря на то, что он был молодой, здоровый малый.

Дело дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфяева?), началось секретное следствие. Ответы диктовал Тюфяев; он превзошел себя в этом деле. Чтоб разом остановить его и отклонить от себя опасность вторичного непроизвольного путешествия в Сибирь, Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат ее с тех пор с нею в ссоре, как она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проезде императора Александра в Пермь, за что и получила через генерала Соломку пять тысяч рублей.

Привычки Александра были таковы, что невероятного ничего тут не было. Узнать, правда ли, было не легко и, во всяком случае, наделало бы много скандалу. На вопрос г. Бенкендорфа генерал Соломка отвечал, что через его руки проходило столько денег, что он не припомнит об этих пяти тысячах.

«*La regina en aveva molto!*»^{1*} — говорит импровизатор в «Египетских ночах» Пушкина...

И вот этот-то почтенный ученик Аракчеева и достойный товарищ Клейнмихеля, акробат, бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там, человек, оклеветавший императора Александра для того, чтоб отвести глаза императора Николая, брался теперь приучать меня к службе.

Зависимость моя от него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздор министру, меня отослали бы куда-нибудь в Иркутск. Да и зачем писать? Он имел право перевести в какой-нибудь дикий город Кай или Царево-Санчурск без всяких сообщений, без всяких ресурсов. Тюфяев отправил в Глазов одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать с ним мазурку, а не с его превосходительством.

Так князь Долгорукий был отправлен из Перми в Верхотурье. Верхотурье, потерянное в горах и снегах, принадлежит еще к Пермской губернии, но это место стоит Березова по климату, — оно хуже Березова — по пустоте.

Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже.

На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере, князь Е. Грузинский без притона беглых в Лыскове *, т. е. избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на жительство в Пермь.

Он приехал в двух каретах: в одной он сам с собакой, в другой — его повар-француз с попугаями. В Перми обрадовались

¹ «У царицы их было много» (итал.). — *Ред*

богатому гостю, и вскоре весь город толокся в его столовой. Долгорукий завел шашни с пермской барыней; барыня, заподозрив какие-то неверности, явилась невзначай утром к князю и застала его с горничной. Из этого вышла сцена, кончившаяся тем, что неверный любовник снял со стены арапник; советница, видя его намерение, пустилась бежать; он — за ней, небрежно одетый в один халат; нагнав ее на небольшой площади, где учили обыкновенно батальон, он вытянул раза три ревнивую советницу арапником и спокойно отправился домой, как будто сделал дело.

Подобные милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось сорокалетнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки поехали; Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом.

Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога.

Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку — ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бранные остатки Гарди, его шкуру; внутренность была в пермских желудках. Полгорода занемогло от ужаса.

Между тем Долгорукий, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье. Третья повозка везла целый курятник, — курятник, едущий на почтовых! По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами.

Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства.

В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукого, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Амери-

канца, я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое.

Я лично знал Толстого, и именно в ту эпоху, когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки, с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге... Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейства лет двадцать сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Грибоедов *, т. е. пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил позволение возвратиться в Россию. Александр его простил — и он, на другой день после приезда, продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известной своим голосом и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака.

Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задал полицейских, задал суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В это время один известный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению; но русский бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого *прямого торжества низшему сословию над*

высшим. Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места... Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника. Но возвратимся в Вятку.

Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Нематериальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой. Аленицын меня не теснил, он был даже вежливее, чем я ожидал, он учился в казанской гимназии и в силу этого имел уважение к кандидату Московского университета.

В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частью люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкшие считать службу средством приобретения, а крестьян почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал ходить в «бильярдную», говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они *офицеры*.

Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от девяти до двух утра и от пяти до восьми часов вечера.

Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили, — существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мною сидели четыре писца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мне ловушку, просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, особенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной.

Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то оупении всех способностей и бросался на диван, — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей крути-

кой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал что хотел, никто мне не мешал; вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств там была мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения.

А тут еще придет «по дороге» кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погугорить, пока до узаконенного часа идти на службу...

Через несколько месяцев, впрочем, канцелярия сделалась несколько полегче.

Долгое, равномерное преследование не в русском характере, если не примешивается личностей или денежных видов; и это совсем не оттого, чтоб правительство не хотело душить и добывать, а от русской беспечности, от нашего *laisser-aller*¹. Русские власти все вообще неотесанны, наглы, дерзки, на грубость с ними накупиться очень легко, но постоянное доколачивание людей не в их нравах, у них на это недостает терпения, может, оттого, что оно не приносит никакого барыша.

Сначала, сторяча, чтоб показать в одну сторону усердие, в другую — власть, делаются всякие глупости и ненужности, потом мало-помалу человека оставляют в покое.

Так случилось и с канцелярией. Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики; оно велело везде завести комитеты* и разослало такие программы, которые вряд возможно ли было бы исполнить где-нибудь в Бельгии или Швейцарии; при этом всякие вычурные таблицы с *maximum* и *minimum*, с средними числами и разными выводами из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые *за год перед тем* не собирались!), с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собрание сведений денег не назначалось ни копейки; все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию, и приводить в порядок в губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция, ненавидящая

¹ небрежности (франц.).— *Ред.*

все *мирные* и теоретические занятия, смотрели на статистический комитет как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость; однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами.

Это дело казалось безмерно трудным всей канцелярии; оно было просто невозможно; но на это никто не обратил внимания, хлопотали о том, чтоб не было выговора. Я обещал Аленицыну приготовить введение и начало, очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами, если он разрешит мне этим тяжелым трудом заниматься дома, а не в канцелярии. Аленицын переговорил с Тюфяевым и согласился.

Начало отчета о занятиях комитета, в котором я говорил о надеждах и проектах, потому что в настоящем ничего не было, тронуло Аленицына до глубины душевной. Сам Тюфяев нашел, что оно мастерски написано. Тем и окончились труды по части статистики, но комитет дали в мое заведование. На барщину переписки бумаг меня больше не гоняли, и мой пьяненький столоначальник сделался почти подчиненное мне лицо. Аленицын требовал только, из каких-то соображений высшего приличия, чтоб я на короткое время заходил всякий день в канцелярию.

Для того чтоб показать всю меру невозможности серьезных таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепостями было: *«Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2»*, и в графе сумм выставлено *«четыре»*. Под рубрикой чрезвычайных происшествий значился следующий трагический анекдот: *«Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум, — повесился»*. Под рубрикой о нравственности городских жителей было написано: *«Жидов в городе Кае не находилось»*. На вопрос, не было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: *«На постройку биржи ассигновано было — не было»*...

Статистика, спасая меня от канцелярской работы, имела несчастным последствием личные сношения с Тюфяевым.

Было время, когда я этого человека ненавидел, это время давно прошло, да и человек этот прошел — он умер в своих

казанских поместьях около 1845 года. Теперь я вспоминаю о нем без злобы, как об особенном звере, попавшемся в лесу и дичи,— которого надобно было изучать, но на которого нельзя было сердиться за то, что он зверь; тогда я не мог не вступить с ним в борьбу: это была необходимость для всякого порядочного человека. Случай мне помог, иначе он сильно повредил бы мне; иметь зуб за зло, которое он мне не сделал, было бы смешно и жалко.

Тюфяев жил один. Жена его была с ним в разводе. На задней половине губернаторского дома, как-то намеренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленного именно за вину своего брака в деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, т. е. особенно боявшиеся следствий, составляли придворный штат супруги повара «в случае». Их жены и дочери, не хвастаясь этим, потихоньку, вечером делали ей визиты. Госпожа эта отличалась тем тактом, который имел один из блестящих ее предшественников — Потемкин; зная нрав старика и боясь быть смененной, она сама приискивала ему неопасных соперниц. Благодарный старик платил привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно.

Тюфяев все утро работал и был в губернском правлении. Поэзия жизни начиналась с трех часов. Обед для него был вещь не шуточная. Он любил поесть, и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на двенадцать человек; если гостей было меньше половины, он огорчался; если не больше двух человек, он был несчастен; если же никого не было, он уходил обедать, близкий к отчаянию, в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтоб их накормить до тошноты,— не трудная задача, но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать трактир из своего дома. Надобно было ограничиться советниками, председателями (но с половиной он был в ссоре, т. е. не благоволил к ним), редкими проезжими, богатыми купцами, откупщиками и *странностями*, нечто вроде *saracînés*¹, которые хотели ввести при Людовике-

¹ правомочий (франц.).— *Ред.*

Филиппе в выборы *. Разумеется, я был странность первой величины в Вятке.

Людей, сосланных на житье «за мнения» в дальние города, несколько боятся, но никак не смешивают с обыкновенными смертными. «Опасные люди» имеют тот интерес для провинции, который имеют известные Ловласы для женщин и куртизаны для мужчин. Опасных людей гораздо больше избегают петербургские чиновники и московские тузы, чем провинциальные жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому декабря пользовались огромным уважением. К вдове Юшневского делали чиновники первый визит в Новый год. Сенатор Толстой, ревизовавший Сибирь, руководствовался сведениями, получаемыми от сосланных декабристов, для поверки тех, которые доставляли чиновники.

Мюних заведовал из своей башни в Пелыме делами Тобольской губернии. Губернаторы ходили к нему совещаться о важных делах.

Простой народ еще менее враждебен к сосланным, он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово «ссылный» исчезает и заменяется словом «несчастный». В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии, по дороге в Тобольск, крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке, на случай если «несчастный» будет тайком пробираться из Сибири.

Кстати, говоря о сосланных,— за Нижним начинают встречаться сосланные поляки, с Казани число их быстро возрастает. В Перми было человек сорок, в Вятке не меньше; сверх того, в каждом уездном городе было несколько человек.

Они жили совершенно отдельно от русских и удалялись от всякого сообщения с жителями; между собою у них было большое единодушие, и богатые делились братски с бедными.

Со стороны жителей я не видал ни ненависти, ни особенного расположения к ним. Они смотрели на них, как на посторонних, к тому же почти ни один поляк не знал по-русски.

Один закоснелый сармат, старик, уланский офицер при Понятовском, делавший часть наполеоновских походов, полу-

чил в 1837 году дозволение возвратиться в свои литовские поместья. Накануне отъезда старик позвал меня и несколько поляков отобедать. После обеда мой кавалерист подошел ко мне с бокалом, обнял меня и с военным простодушием сказал мне на ухо: *«Да зачем же вы русский»*. Я не отвечал ни слова, но замечание это сильно запало мне в грудь. Я понял, что *этому* поколению нельзя было освободить Польшу.

С Конарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских *.

Вообще поляков, сосланных на житье, не теснят, но материальное положение ужасно для тех, которые не имеют состояния. Правительство дает неимущим *по 15 рублей ассигнациями в месяц*; из этих денег следует платить за квартиру, одеваться, есть и отапливаться. В довольно больших городах, в Казани, Тобольске, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балах, рисуя портреты, заводя танцклассы. В Перми и Вятке не было и этих средств. И, несмотря на то, у русских они не просили ничего.

...Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия.

Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками: то с излишней фамильярностью, то с грубостью, выходящей из всех пределов, — и все-таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за них краснел и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в «высшее» вятское общество.

Через несколько месяцев он был мною недоволен, через несколько других он меня ненавидел, и я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.

Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтоб заслужить сначала его внимание и приглашения,

потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко; я был с ним всегда en règle¹, он требовал подобострастия.

Он ревниво любил свою власть, она ему досталась трудовой копеечкой, и он искал не только повиновения, но *вида* беспрекословной подчиненности. По несчастию, в этом он был национален.

Помещик говорит слуге: «Молчать! Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!»

Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: «Вы забываетесь, знаете ли вы, с *кем* вы говорите?»

Государь «за мнения» посылает в Сибирь, за *стихи* морит в казематах,— и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи.

Тюфяев был настоящий царский слуга, его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединялось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он бы мог быть статский Клейнмихель, его «усердие» точно так же превозмогло бы все *, и он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сек бы еще больше за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее он сохранил от горьких испытаний. Для Тюфяева каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым освобождением. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне хлыстом... Все это взошло и назрело в душе писаря; теперь, губернатором, его черед теснить, не давать стула, говорить *ты*, поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян.

¹ корректен (франц.).— *Ред.*

Из Перми Тюфяев был переведен в Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всем раболепии, не могло вынести Тюфяева. Они упросили министра Блудова удалить его. Блудов назначил его в Вятку.

Тут он снова очутился в своей среде. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники — раздолье да и только. Все трепетало его, все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза; на свадьбах и именинах первый тост предлагали «за здравие его превосходительства!»



ГЛАВА XV

Чиновники.— Сибирские генерал-губернаторы.— Хищный полицмейстер.— Ручный судья.— Жареный исправник.— Равноапостольный татарин.— Мальчик женского пола.— Картофельный террор и пр.

Один из самых печальных результатов петровского переворота — это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме «служения», ничего не знающий, кроме канцелярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых.

Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берет верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа.

Там, где-то в закоптелых канцеляриях, через которые мы спешим пройти, обтерханные люди пишут, пишут на серой бумаге, переписывают на гербовую, и лица, семьи, целые деревни обижены, испуганы, разорены. Отец идет на поселенье, мать в тюрьму, сын в солдаты, и все это разразилось, как гром, неожиданно, большей частью неповинно. А из-за чего? Из-за денег. Складчину... или начнется следствие о мертвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут

последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник — примерный отец...

Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится *ges publica*¹. Самая власть царская, которая бьет, как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано — и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм.

Сперанский пробовал облегчить участь сибирского народа. Он ввел всюду коллегияльное начало; как будто дело зависело от того, как кто крадет — поодиночке или шайками. Он сотнями отрешал старых плутов и сотнями принял новых. Сначала он нагнал такой ужас на земскую полицию, что мужики *брали* деньги с чиновников, чтоб не ходить с челобитьем. Года через три чиновники наживались по новым формам не хуже, как по старым.

Нашелся другой чудак, генерал Вельяминов. Года два он побился в Тобольске, желая уничтожить злоупотребления, но, видя безуспешность, бросил все и совсем перестал заниматься делами.

Другие, благоразумнее его, не делали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки, — сказал московский губернатор Сенявин седому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старик улыбнулся.

— Что же ты смеешься? — спросил Сенявин.

— Да, батюшка, — отвечал мужик, — ты прости; на ум пришел мне один молодец наш, похвалялся царь-пушку поднять и, точно, пробовал — да только пушку-то не поднял!

Сенявин, который сам рассказывал этот анекдот, принадлежал к тому числу непрактических людей в русской службе, которые думают, что риторическими выходками о честности и

¹ общим делом (лат.). — *Ред.*

деспотическим преследованием двух-трех плутов, которые под-вернутся, можно помочь такой всеобщей болезни, как русское взяточничество, свободно растущее под тенью ценсурного древа.

Против него два средства: гласность и совершенно другая организация всей машины, введение снова народных начал третейского суда, изустного процесса, целовальников и всего того, что так ненавидит петербургское правительство.

Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец знаменитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий римский проконсул, да еще из самых яростных. Он завел открытый, систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы нераспечатанное, и горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о его управлении. Он купцов первой гильдии держал по году в тюрьме, в цепях, он их пытал. Чиновников посылал на границу Восточной Сибири и оставлял там года на два, на три.

Долго терпел народ; наконец какой-то тобольский мещанин решился довести до сведения государя о положении дел. Боясь обыкновенного пути, он отправился на Кяхту и оттуда пробрался с караваном чаев через сибирскую границу. Он нашел случай в Царском селе подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александр был удивлен, поражен страшными вещами, прочтенными им. Он позвал мещанина и, долго говоря с ним, убедился в печальной истине его доноса. Огорченный и несколько смущенный, он сказал ему:

— Ступай, братец, теперь домой, дело это будет разобрано.

— Ваше величество,— отвечал мещанин,— я к себе теперь не пойду. Прикажите лучше меня запереть в острог. Разговор мой с вашим величеством не останется в тайне — меня убьют.

Александр содрогнулся и сказал, обращаясь к Милорадовичу, который тогда был генерал-губернатором в Петербурге:

— Ты мне отвечаешь за него.

— В таком случае,— заметил Милорадович,— позвольте мне его взять к себе в дом.

Там мещанин, действительно, и оставался до окончания дела.

Пестель почти всегда жил в Петербурге. Вспомните, что и проконсулы жилали обыкновенно в Риме. Он своим присутствием и связями, а всего более дележом добычи предупреждал всякие неприятные слухи и дразги¹. Государственный совет, пользуясь отсутствием Александра, бывшего в Вероне или Аахене*, умно и справедливо решил, что так как речь в доносе идет о Сибири, то дело и передать на разбор Пестелю, благо он налицо. Милорадович, Мордвинов и еще человека два восстали против этого предложения, и дело пошло в сенат.

Сенат, с тою возмутительной несправедливостью, с которой постоянно судит дела высших чиновников, выгородил Пестеля, а Трескина, тобольского гражданского губернатора, лишив чинов и дворянства, сослал куда-то на житье. Пестель был только отрешен от службы.

После Пестеля явился в Тобольск Капцевич, из школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиран по натуре, тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель, он приводил все во фрунт и строй, объявлял *maximum* на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 1824 году государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии идет превосходная широкая дорога, давно наезженная и которой, вероятно, способствовала почва. Капцевич сделал такую же до Тобольска в несколько месяцев. Весной, в распутицу и стужу, он заставил тысячи работников делать дорогу; их гоняли по раскладке из ближних и дальних поселений; открылись болезни, половина рабочих перемерла, но «усердие все превозмогает» — дорога была сделана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это уж так далеко, что и вести едва доходят до Петербурга. В Иркутске генерал-губернатор Броневский любил палить в городе из пушек, когда «гулял». А другой служил пьяный у себя в доме обедню в полном облачении и в присутствии архиерея. По крайней мере шум одного и набожность другого не были

¹ Это дало повод графу Ростопчину отпустить колкое слово насчет Пестеля. Они оба обедали у государя. Государь спросил, стоя у окна: «Что это там на церкви... на кресте, черное?» — «Я не могу разглядеть, — заметил Ростопчин, — это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудесные глаза, он видит отсюда, что делается в Сибири».

так вредны, как осадное положение Пестеля и неусыпная деятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь так скверно управляется. Выбор генерал-губернаторов особенно несчастен. Не знаю, каков Муравьев; он известен умом и способностями; остальные были никуда не годны. Сибирь имеет большую будущность — на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилем, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встретится с Сибирью возле Китая.

Я давно говорил, что *Тихий океан — Средиземное море будущего*¹. В этом будущем роль Сибири, страны между океаном, южной Азией и Россией, чрезвычайно важна. Разумеется, Сибирь должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерзнуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск и пр.

Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начала, намекающие на иное развитие. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети посельщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе нет и аристократии в городах; чиновник и офицер, представители власти, скорее похожи на неприятельский гарнизон, поставленный победителем, чем на аристократию. Огромные расстояния спасают крестьян от частого сношения с ними; деньги спасают купцов, которые в Сибири презируют чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что они есть, — за своих приказчиков по гражданским делам.

Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям, к расторопности сделали сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церковей оставила его ум

¹ С большой радостью видел я, что нью-йоркские журналы несколько раз повторили это.

свободнее от изуверства, чем в России, он холоден к религии, большей частью раскольник. Есть дальние деревеньки, куда поп ездит раза три в год и гуртом нарецивает, хоронит, женит и исповедует за все время.

По сую сторону Уральского хребта дела делаются скромнее, и, несмотря на то, я томы мог бы наполнить анекдотами о злоупотреблениях и плутовстве чиновников, слышанными мною в продолжение моей службы в канцелярии и столовой губернатора.

— Вот был профессор-с — мой предшественник, — говорил мне в минуту душевного разговора вятский полицмейстер. — Ну, конечно, эдак жить можно, только на это надобно родиться-с; это в своем роде, могу сказать, Сеславин, Фигнер, — и глаза хромого майора, за рану произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника.

— Показалась шайка воров, недалеко от города; раз, другой доходит до начальства — то у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах, пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция — трус; так какого-нибудь воришку связать да представить она умеет — а там шайка, да и, пожалуй, с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и говорит: я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам.

Полицмейстер прежде уж о деле был наслышан. «Генерал, — отвечает он, — я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то; я беру с собой команду, найду их там-то и там-то и через два-три дня приведу их в цепях в губернский острог».

— Ведь это Суворов-с у австрийского императора! Действительно: сказано — сделано; он их так и накрыл с командой, денег не успели спрятать, полицмейстер все взял и представил воров в город.

Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает: «Где деньги?» — «Да мы их тебе, батюшка, сами в руки отдали», — отвечают двое воров. — «Мне?», — говорит полицмейстер, пораженный удивлением. — «Тебе! — кричат воров. — Тебе». «Вот дерзость-то! — говорит полицмейстер частному приставу, бледная от негодования. — Да вы, мошенники, пожалуй, уверите,

что я вместе с вами грабил. Так вот я вам покажу, каково марать мой мундир; я уланский корнет и честь свою не дам в обиду!»

Он их сечь,— признаваясь да и только, куда деньги дели? Те сначала свое. Только как он велел им закатить *на две трубки*, так главный-то из воров закричал: «Виноваты, деньги прогуляли». — «Давно бы так,— говорит полицмейстер,— а то несешь вздор такой; меня, брат, не скоро надуешь». — «Ну, уж точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас. Где нам!» — пробормотал старый плут, с удивлением поглядывая на полицмейстера.

— А ведь он за это дело получил Владимира в петлицу.

— Позвольте,— спросил я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру,— что же это значит: *на две трубки*?

— Это так у нас, *домашнее* выражение. Скучно, знаете, при наказании, ну, так велишь сечь да и куришь трубку; обыкновенно к концу трубки и наказанию конец,— ну, а в экстренных случаях велишь иной раз и на две трубки угостить приятеля. Полицейские привычны, знают, примерно, сколько.

Об этом Фигнере и Сеславине ходили целые легенды в Вятке. Он чудеса делал. Раз, не помню по какому поводу, приезжал ли генерал-адъютант какой или министр, полицмейстеру хотелось показать, что он не даром носил уланский мундир и что кольнет шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого он адресовался с просьбой к одному из Машковцевых, богатых купцов того края, чтоб он ему дал свою серую, дорогую верховую лошадь. Машковцев не дал.

— Хорошо,— говорит Фигнер,— вы такой безделицы не хотите сделать по доброй воле, я и без вашего позволения возьму лошадь.

— Ну, это еще посмотрим! — сказала *злато*.

— Ну, и увидите,— сказал *булат*.

Машковцев запер лошадь, приставил двух караульных. На этот раз полицмейстер ошибется.

Но в эту ночь, как нарочно, загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам и находившиеся за самым Машковцевым домом. Полицмейстер и полицейские действовали отлично; чтоб спасти дом Машковцева, они даже разобрали стену

конюшни и вывели, не опаливши ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Через два часа полицмейстер, парадирова на белом жеребце, ехал получать благодарность особы за примерное потушение пожара. После этого никто не сомневался в том, что полицмейстер все может сделать.

Губернатор Рыхлевский ехал из собрания; в то время как его карета двинулась, какой-то кучер с небольшими санками, заезавшись, попал между постромок двух коренных и двух передних лошадей. Из этого вышла минутная конфузия, не помешавшая Рыхлевскому преспокойно приехать домой. На другой день губернатор спросил полицмейстера, знает ли он, чей кучер въехал ему в постромки и что его следует постращать.

— Этот кучер, ваше превосходительство, не будет более в постромки заезжать, я ему влепил порядочный урок, — отвечал, улыбаясь, полицмейстер.

— Да чей он?

— Советника Кулакова-с, ваше превосходительство.

В это время старик советник, которого я застал и оставил тем же советником губернского правления, взошел к губернатору.

— Вы нас простите, — сказал губернатор ему, — что мы вашего кучера поучили.

Удивленный советник, не понимая ничего, смотрел вопросительно.

— Вчера он заехал мне в постромки. Вы понимаете, если он мне заехал, то...

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя сидели дома, и кучер был дома.

— Что это значит? — спросил губернатор.

— Я, ваше превосходительство, вчера был так занят, голова кругом шла, виноват, совсем забыл о кучере и, признаюсь, не посмел доложить это вашему превосходительству. Я хотел сейчас распорядиться.

— Ну, вы настоящий полицмейстер, нечего сказать! — заметил Рыхлевский.

Рядом с этим хищным чиновником я покажу вам и другую, противоположную породу — чиновника мягкого, сострадательного, ручного.

Между моими знакомыми был один почтенный старец, исправник, отрешенный по сенаторской ревизии от дел. Он занимался составлением просьб и хождением по делам, что именно было ему запрещено. Человек этот, начавший службу с незапамятных времен, воровал, подкабливал, наводил ложные справки в трех губерниях, два раза был под судом и пр. Этот ветеран земской полиции любил рассказывать удивительные анекдоты о самом себе и своих сослуживцах, не скрывая своего презрения к выродившимся чиновникам нового поколения.

— Это так, вертопрахи,— говорил он,— конечно, они берут, без этого жить нельзя, но, то есть, эдак ловкости или знания закона и не спрашивайте. Я расскажу вам, для примера, об одном приятеле. Судьей был лет двадцать, в прошедшем году помре,— вот был голова! И мужики его лихом не поминают, и своим хлеба кусок оставил. Совсем особенную манеру имел. Придет, бывало, мужик с просьбицей, судья сейчас пускает к себе,— такой ласковый, веселый.

— Как, дескать, дядюшка, твое имя и батюшку твоего как звали?

Крестьянин кланяется.

— Ермолаем, мол, батюшка, а отца Григорьем прозывали.

— Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевич, из каких мест господь несет?

— А мы дубиловские.

— Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо от дороги — от трахта?

— Точно, батюшка, мельницы общинные наши.

— Село зажиточное, земляца хорошая, чернозем.

— На бога не жалобимся, ништо, кормилец.

— Да ведь оно и нужно. Небось у тебя, Ермолай Григорьевич, семейка не малая?

— Три сыночка, да девки две, да во двор к старшей принял молодца, пятый годок пошел.

— Чай, уж и внучата завелись?

— Есть, точно, небольшое дело, ваша милость.

— И слава богу! плодитесь и размножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевич, дорога дальняя, выпьем-ка рюмочку березовой.

Мужик ломается. Судья наливает ему, приговаривая:

— Полно, полно, брат, сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей.

— Оно точно, что запрету нет, но вино-то и доводит человека до всех бед.— Тут он крестится, кланяется и пьет березовку.

— При такой семейке, Григорьич, небось, накладно жить? Каждого накормить, одеть — одной клячонкой или коровенкой не оборотишь дела, молока не достанет.

— Помилуй, батюшка, куда толкнешься с одной лошадиной; есть таки троечка, была четвертая, саврасая, да пала с глазу о Петровки,— плотник у нас, Дорофей, не приведи бог, ненавидит чужое добро, и глаз у него больно дурен.

— Бывает-с, бывает-с. А у вас ведь выгоны большие — небось, барашков держите?

— Ништо, есть и барашки.

— Ох, затолковался я с тобой. Служба, Ермолай Григорьич, царская, пора в суд. Что у тебя дельце, что ли?

— Точно, ваша милость, есть.

— Ну, что такое? Повздорили что-нибудь? Поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать.

— Да что, отец родной, беда под старость лет пришла... Вот в самое-то успенье были мы в питейном, ну, и крупно поговорили с суседским крестьянином,— такой безобразный человек, наш лес крадет. Только, поговоримши, он размахнулся да меня кулаком в грудь. «Ты, мол, в чужой деревне не дерись»,— говорю я ему, да хотел так, то есть, пример сделать, тычка ему дать, да спяна, что ли, или нечистая сила — прямо ему в глаз; ну, и попортил, то есть, глаз, а он со старостой церковным сейчас к становому,— хочу, дескать, суд по форме.

Во время рассказа судья — что ваши петербургские актеры! — все становится серьезнее, глаза эдакие сделает страшные, и ни слова.

Мужик видит и бледнеет, ставит шляпу у ног и вынимает полотенце, чтоб обтереть пот. Судья все молчит и в книжке листочки перевертывает.

— Так вот я, батюшка, к тебе и пришел,— говорит мужик не своим голосом.

— Чего ж я могу сделать тут? Экая причина! И зачем же это прямо в глаз?

— Точно, батюшка, зачем... враг попутал.

— Жаль, очень жаль! Из чего дом должен погибнуть! Ну, что семья без тебя останется? Все молодежь, а внучата — мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинают ноги дрожать.

— Да что же, отец родной, к чему же это я себя угодил?

— Вот, Ермолай Григорьич, читай сам... или того, грамота-то не далась? Ну, вот видишь «о членовредителях» статья... «Наказавши плетью, сослать в Сибирь на поселенье».

— Не дай разориться человеку! Не погуби христианина! Разве нельзя как?..

— Экой ты какой! Разве супротив закона можно идти? Конечно, все — дело рук человеческих. Ну, вместо тридцати ударов мы назначим эдак пяточек.

— Да, то есть, в Сибирь-то?..

— Не в нашей, братец ты мой, воле.

Тащит мужик из-за пазухи кошелек, вынимает из кошелька бумажку, из бумажки — два-три золотых и с низким поклоном кладет их на стол.

— Это что, Ермолай Григорьевич?

— Спаси, батюшка.

— И полно, полно! Что ты это? Я, грешный человек, иной раз беру благодарность. Жалованье у меня малое, поневоле возьмешь; но принять, так было бы за что. Как я тебе помогу? Добро бы ребро или зуб, а то прямо в глаз! Возьмите денежки ваши назад.

Мужичок уничтожен.

— Разве вот что: поговорить мне с товарищами, да и в губернию отписать? Неравно дело пойдет в палату, там у меня есть приятели, все сделают; ну, только это люди другого сорта, тут тремя лобанчиками не отделаешься.

Мужик начинает приходить в себя.

— Мне, пожалуй, ничего не давай — мне семью жаль; ну, а тем меньше двух сереньких и предлагать нечего.

— То есть, как пред богом, ума не приложу, где это достать такую палестину денег — четыреста рублей — время же какое?

— Я-таки и сам думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшим — за раскаянье, мол, и приняв в соображение нетрезвый вид... Ведь и в Сибири люди живут. Тебе же не бог весть как далеко идти... Конечно, если продать парочку лошадок, да одну из коров, да барашков, оно, может, и хватит. Да скоро ли потом в крестьянском деле сколотишь столько денег! А с другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себе куда Макар телят не гонял. Подумай, Григорьич, время терпит, пообождем до завтра, а мне пора, — прибавляет судья и кладет в карман лобанчики, от которых отказался, говоря: — Это вовсе лишнее, я беру, только чтоб вас не обидеть.

На другое утро, глядь, старый жид тащит разными крестовиками да старинными рублями рублей триста пятьдесят ассигнациями к судье.

Судья обещает печься об деле; мужика судят, судят, стращают, а потом и выпустят с каким-нибудь легким наказанием или с советом впредь в подобных случаях быть осторожным, или с отметкой «оставить в подозрении», и мужик всю жизнь молит бога за судью.

— Вот как делали встарь, — приговаривал отрешенный от дел исправник, — начистоту.

...Вятские мужики вообще не очень выносливы. Зато их и считают чиновники ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для земской полиции — это вотяки, мордва, чуваш; народ жалкий, робкий, бездарный. Исправники дают двойной окуп губернаторам за назначение их в уезды, населенные финнами.

Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками.

Землемер ли едет с поручением через вотскую деревню, он непременно в ней останавливается, берет с телеги астролябию, вбивает шест, протягивает цепь. Через час вся деревня в смятении. «Межемерия, межемерия!» — говорят мужики с тем видом, с которым в 12 году говорили: «Француз, француз!»

Является староста поклониться с миром. А тот все меряет и записывает. Он его просит не обмерить, не обидеть. Землемер требует двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собирают деньги — и землемер едет до следующей вотской деревни.

Попадется ли мертвое тело исправнику с становым, они его возят две недели, пользуясь морозом, по вотским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли и что следствие и суд назначены в их деревне. Вотяки откупаются.

За несколько лет до моего приезда исправник, разохотившийся брать выкупы, привез мертвое тело в большую русскую деревню и требовал, помнится, двести рублей. Староста собрал мир; мир больше ста не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с двумя писарями в волостном правлении и, в свою очередь, грозили их сжечь. Исправник не поверил угрозе. Мужики обложили избу соломой и как ультиматум подали исправнику на шесте в окно сторублевую ассигнацию. Героический исправник требовал еще сто. Тогда мужики зажгли с четырех сторон солому, и все три Муция Сцеволы земской полиции сгорели. Дело это было потом в сенате.

Вотские деревни вообще гораздо беднее русских.

— Плохо, брат, ты живешь,— говорил я хозяину-вотяку, дожидаясь лошадей в душной, черной и покосившейся избушке, поставленной окнами назад, т. е. на двор.

— Что, бачка, делать? Мы бедна, деньга бережем на черная дня.

— Ну, чернее мудрено быть дню, старинушка,— сказал я ему, наливая рюмку рому,— выпей-ка с горя.

— Мы не пьем,— отвечал вотяк, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, ну-тка бери.

— Выпей сама прежде.

Я выпил, и вотяк выпил.

— А ты что? — спросил он,— с губерния, по делу?

— Нет,— отвечал я,— проездом, еду в Вятку.

Это его значительно успокоило, и он, осмотревшись на все стороны, прибавил в виде пояснения:

— Черной дня, когда исправник да поп приедут.

Вот о последнем-то я и хочу рассказать вам кое-что. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать от византийского смирения нашей церкви и от императорского первосвященства.

Финское население долею приняло крещение в допетровские времена, долею было окрещено в царствование Елизаветы и долею осталось в язычестве. Большая часть крещеных при Елизавете тайно придерживается своей печальной, дикой религии ¹.

Года через два-три исправник или становой отправляются с попом по деревням ревизовать, кто из вотяков говел, кто нет и почему нет. Их теснят, сажают в тюрьму, секут, заставляют платить требы; а главное, поп и исправник ищут какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своих прежних обрядов. Тут духовный сыщик и земский миссионер поднимают бурю, берут огромный окуп, делают «черная дня», потом уезжают, оставляя все по-старому, чтоб иметь случай через год-другой снова поехать с розгами и крестом.

В 1835 году святаейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие *.

Это обращение — тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством, фасад, декорация, blagu ², ложь, пышный отчет: кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут.

Митрополит Филарет отрядил миссионером бойкого священника. Его звали Курбановским *. Снедаемый русской болезнью — честолюбием, Курбановский горячо принялся за дело. Во что б то ни стало он решился втеснить благодать Божию черемисам. Сначала он попробовал проповедовать, но это ему скоро надоело. И, в самом деле, много ли возьмешь этим старым средством?

¹ Все молитвы их сводятся на материальную просьбу о продолжении их рода, об урожае, о сохранении стада и больше ничего. «Дай, Юмала, чтоб от одного барана родилось два, от одного зерна родилось пять, чтоб у моих детей были дети». В этой неуверенности в *земной* жизни и хлебе насущном есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Дьявол (шайтан) почитается наравне с богом. Я видел сильный пожар в одном селе, в котором жители были перемешаны — русские и вотяки. Русские таскали вещи, кричали, хлопотали — особенно между ними отличался целовальник. Пожар остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмик и плакали навзрыд, ничего не делая.

² бахвальство (франц.). — *Ред.*

Черемисы, смекнувши, в чем дело, прислали своих священников, диких, фанатических и ловких. Они, после долгих разговоров, сказали Курбановскому:

— В лесу есть белые березы, высокие сосны и ели, есть тоже и малая можжуха. Бог всех их терпит и не велит можжухе быть сосной. Так вот и мы меж собой, как лес. Будьте вы белыми березами, мы останемся можжухой; мы вам не мешаем, *за царя молимся*, подать платим и рекрутов ставим, а святые своей изменить не хотим ¹.

Курбановский увидел, что с ними не столкуешь и что доля Кирилла и Мефодия ему не удастся. Он обратился к исправнику. Исправник обрадовался донельзя; ему давно хотелось показать свое усердие к церкви — он был некрещеный татарин, то есть правоверный магометанин, по названию Девлет-Кильдеев.

Исправник взял с собой команду и поехал осаждать черемисов словом божиим. Несколько деревень были окрещены. Апостол Курбановский отслужил молебствие и отправился смиренно получать камилавку. Апостолу-татарину правительство прислало владимирский крест * за распространение христианства!

По несчастию, татарин-миссионер был не в ладах с муллою в Малмыже. Мулле совсем не нравилось, что правоверный сын корана так успешно проповедует евангелие. В рамазан исправник, отчаянно привязавши крест в петлицу, явился в мечети, разумеется, стал вперед всех. Мулла только было начал читать в нос коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет продолжать в присутствии *правоверного*, пришедшего в мечеть с христианским знамением.

Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест.

Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Кильдеева. По несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исланизм.

¹ Подобный ответ (если Курбановский его не выдумал) был некогда сказан крестьянами в Германии, которых хотели обращать в католицизм.

Перед окончанием моей вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой паглости, что над ним назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям *. С этого началось введение нового управления государственными крестьянами *.

Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть! — и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением.

«Дело о потере *неизвестно* куда дома волостного правления и о изгрызении плана оногo мышами».

«Дело о потере *двадцати двух* казенных оброчных статей», т. е. верст пятнадцати земли.

«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».

Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски.

Отец этого предполагаемого Василья пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв «под хмельком», окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, повидимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой... Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола.

Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия.

При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больницу.

Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать».

Это еще лучше моей Василисы-Василья. Что значит грубый факт жизни перед высочайшим приказом? Павел был поэт и диалектик самовластья!

Как ни грязно и ни топко в этом болоте приказных дел, но прибавлю еще несколько слов. Эта гласность — последнее, слабое вознаграждение страдавшим, погибнувшим без вести, без утешения.

Правительство дает охотно в награду высшим чиновникам пустопорожные земли. Вреда в этом большого нет, хотя умнее было бы сохранить эти запасы для умножающегося населения. Правила, по которым велено отмежевывать земли, довольно подробны; нельзя давать берегов судоходной реки, строевого леса, обоих берегов реки; наконец, ни в каком случае не велено выделять земель, обработанных крестьянами, хотя бы крестьяне не имели никаких прав на эти земли, кроме давности¹...

Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение — страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян.

Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь осо-

¹ В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открываются вдруг три-четыре *починка*. Огромные земли и леса (до половины уже сведенные) увлекают крестьян брать эту *res nullius* <ничья вещь (лат.)>, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз принуждено было утверждать землю за захватившими.

бепным. Сам граф Орлов *случайно* получил в надел дорогу и пастбища, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии.

Дивиться, стало быть, нечему, что одним добрым утром у крестьян Даровской волости Котельнического уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво; они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в сенат. Межевой департамент догадался, что мужики правы, но не знал, что делать, и спросил Канкрина. Канкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор *могла* быть перепродаваема, и что владельцы оной *могли сделать* разные улучшения. А потому его сиятельство положило, пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разрабатывать поля? Во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобною, болотистую. Так как крестьяне Даровской волости больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансов отделили новое дело от прежнего и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать даровским крестьянам к болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали в сенат, но пока их дело дошло до разбора, межевой департамент прислал им планы на новую землю, как водится, переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями ромба RRZ и ромба ZZR, а главное — с требованием такой-то подесятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают земли, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством вятского полицмейстера. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал *виновных* уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетью и сосланы на поселенье.

Через два года наследник проезжал Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра — я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю — не слышал.

В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта * и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации — кочующих цыган.

Русские крестьяне неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы: как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях «земляные яблоки» саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому правительству то-то и противно, что делается само собою. Все надобно, чтоб делалось из-под палки, по флигельману *, по темпам.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии * засеяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришлось в голову завести по волостям центральные ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и в начале зимы мужики скрепя сердце повезли картофель в центральные ямы. Но когда следующей весной их хотели заставить сажать *мерзлый* картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труда, как приказ делать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Киселев прислал из Петербурга чиновника; он, человек умный и практический, взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморозки.

Чиновник повторил это во второй и в третьей. Но в четвертой голова ему сказал наотрез, что он картофель сажать не будет, ни денег ему не даст. «Ты,— говорил он ему,— освободил

таких-то и таких-то; ясное дело, что и нас должен освободить».

Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих.

Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечи и ружейных выстрелов. Мужики оставили дома, рассыпались по лесам; казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей; тут их хватили, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Козьмодемьянск.

По странной случайности старый майор внутренней стражи был честный, простой человек; он добродушно сказал, что все-му виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись, его голос подавили, заглушили, его запугали и даже застыдили тем, что он хочет «погубить невинного человека».

Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег и целую толпу сослали в Сибирь.

Замечательно, что Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда *. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора.

Он этого не сделал!

...Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к карто-фелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим под-властным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайно, чтоб они не препятствовали крестьянам красть на посев картофеля. В несколько лет часть Франции обсеялась картофелем.

Tout bien pris¹, ведь это лучше картечи, Павел Дмитриевич *?

К Вятке прикочевал в 1836 году табор цыган и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая с незапамятных времен свою вольную бродячую жизнь, с вечным ученым медведем и ничему не учеными детьми, с коновалами, гадаanjem и мелким воровством. Они спокойно пели

¹ Приняв все во внимание (франц.).— *Ред.*

лесни и крали кур, но вдруг губернатор получил высочайшее повеление, буде найдутся цыгане *беспаспортные* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали и Николай и его люди), то дать им такой-то срок, чтоб они приписались там, где их застанет указ, к сельским, городским обществам.

По прошествии же данного срока предписывалось *всех* годных к военной службе отдать в солдаты, *остальных* отправить на поселение, *отобрав детей* мужеского пола.

Этот безумный указ, напоминающий библейские рассказы о избияниях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся *, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ, написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того чтоб приписываться, надобны деньги, надобно согласие обществ, которые тоже даром не захотят принять цыган, и при том следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться. Взяв все это во внимание, Тюфяев — и тут нельзя ему не отдать справедливости — представлял министерству о том, чтоб им дать льготы и отсрочки.

Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение навуходоносовское распоряжение. Скрепя сердце послал Тюфяев команду, которой велел окружить табор; когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном, и что тут, говорят, было — это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в погах у полиции, седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицмейстер * забрал детей, забрал рекрут, остальных отправили по этапам куда-то на поселение.

Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть? и на какие деньги содержать?

Прежде при приказах общественного призрения были воспитательные дома, ничего не стоившие казне. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило, как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда и ни за чем не останавливаются — велели отдать малюток, впредь до распоряжения, на попечение стариков и старух, призираемых в богадельне.

Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами и заставить их дышать воздухом смерти, и поручить ищущим покоя старикам — уход за детьми даром...

Поэты!

Чтоб не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся года полтора спустя с владимирским старостой моего отца *. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет двадцать сидел старостой небольшой оброчной деревеньки.

В тот год, в который я жил в Владимире, соседние крестьяне просили его сдать за них рекрута; он явился в город с будущим защитником отечества на веревке и с большой самоуверенностью, как мастер своего дела.

— Это, батюшка,— говорил он, расчесывая пальцами свою обкладистую белокурую бороду с проседью,— все дело рук человеческих. В запрошлом году нашего малого ставили, был такой плохенький, ледащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю: «А что примерно, православные, прикладу положите? Немазано колесо не вертится». Мы так толковали промеж себя, мир-то и определил двадцать пять золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривши в казенной палате, иду прямо к председателю — человек, батюшка, был он умный и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет, а у самого ножка болит, так изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом: «Ладно, ладно, ты толкуй,— сколько *оных*-то привез? Ты ведь жидомор, знаю я тебя». Я положил на стол десять лобанчиков и поклонился в пояс — они их так в ручку взяли и поигрывают.— «А, что,— говорит,— не мне ведь одному платить-то надо, что же ты еще привез?» Я докладываю: с десятков, мол, еще наберется. «Ну,— говорит,— куда же ты их денешь? Сам считай: лекарю два, военному приемщику два, письмоводителю, ну, там на всякое угощение все же больше трех не выйдет,— так ты уж остальные мне добавь, а я постараюсь уладить дельце».

— Ну, что же, ты дал?

— Вестимо, что дал — ну, и забрили лоб очень хорошо.

Обученный такому округлению счетов, привыкнувший к такого рода сметам, а вероятно, и к пяти золотым, о судьбе

которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору в Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему с своими лобанчиками и арапчиками. По несчастию, наш граф, как героиня в «Нулине», был воспитан «не в отеческом законе», а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил, вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы не брали взяток, до того растерялся, что не заперся, не начал клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так чтоб лопнули его глаза и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаяваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел.

Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина, и желая, вероятно, искоренить in Rußland¹ взятки, наказать порок и поставить целебный пример, написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили в острог и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку, дело было скверное, и старосту надобно было спасти во что б ни стало.

Я бросился к губернатору — он отказался вступать в это дело; председатель и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигель-адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант первый, сменив гнев на милость, говорил, что он «никакого зла сделать старосте не хочет, что он хотел его проучить, *что пусть его посудят да и отпустят*». Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела; прислал бы его просто ко мне, я бы ему, дураку, вздул бы спину, — не суйся, мол, в воду.

¹ в России (нем.).— *Ред.*

не спросясь броду,— да и отпустил бы его восвояси,— все бы и были довольны; а теперь поди, расчихивайся с палатой».

Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве, что я не мог их позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, т. е. в уголовную палату. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавши плетью, отправляли в Сибирь на поселение. Явился ко мне его сын, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно погибнувшего. Поехал я снова к председателю и советникам, снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред, наказывая так строго старосту; что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь; что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что всяк дар совершен и всякое даяние благо. Прося, кланяясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к наказанию несколькими ударами плетью в стенах острога, с оставлением на месте жительства и с воспрещением ходатайствовать по делам за других крестьян.

Я веселее вздохнул, увидя, что губернатор и прокурор согласились, и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания; полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу.

Через несколько дней явился как-то утром староста, похудевший и еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли.

— О чем ты кручинишься? — спросил я его.

— Да что, уж разом бы все порешили.

— Ничего не понимаю.

— Да, то есть, когда же наказывать-то будут?

— А тебя не наказывали?

— Нет.

— Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?

— Домой-то домой — да вот о наказании-то думается, секретарь именно читал.

Я ничего в самом деле не понимал и наконец спросил его, дали ли ему какой-нибудь вид. Он подал мне его. В нем было написано все решение и в конце сказано, что, учинив, по указу уголовной палаты, наказание плетью в стенах тюремного замка, «выдать ему оное свидетельство и из замка освободить».

Я расхохотался.

— Да ведь уже ты наказан!

— Нет, батюшка, нет.

— Ну, если недоволен, ступай назад, проси, чтоб наказали, может, полиция взойдет в твое положение.

Видя, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сумнительно качая головой и приговаривая:

— Поди ты, вон, эки чудеса!

«Экой беспорядок», — скажут многие; но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможною жизнь в России.



ГЛАВА XVI

АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ВИТБЕРГ

Середь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью.

Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада.

Разорив, опозорив А. Л. Витберга, Николай его сослал на Вятку. Там мы встретились с ним.

Два года с половиной я прожил с великим художником и видел, как, под бременем гонений и несчастий, разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо меряющего все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой.

Нельзя сказать, чтоб он легко сдался, он отчаянно боролся целых десять лет, он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться, он приехал, словом, еще готовый на борьбу, с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено.

Может быть, он сладил бы и с этим открытием, но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишений, и Витберг седел, седел, старел, старел не по дням,

а по часам. Когда я его оставил в Вятке через два года, он был десятью годами старше.

Вот повесть этого длинного мученичества.

Император Александр не верил своей победе над Наполеоном, ему было тяжело от славы, и он откровенно относил ее к богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызения совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном.

Когда «последний неприятельский солдат переступил границу», Александр издал манифест, в котором давал обет воздвигнуть в Москве огромный храм во имя Спасителя *.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс.

Витберг был тогда молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист; артист читает манифест, читает вызовы — и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнее его, он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает.

Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности и снова работает, месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект.

Пришло время конкурса. Проектов было много, были проекты из Италии и из Германии, наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса, сомнений и мучительного ожидания.

Колоссальный, исполненный религиозной поэзии проект Витберга поразил Александра. Он остановился перед ним и об нем первом спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика академии.

Александр захотел видеть Витберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное

вдохновение, которым он был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите», — заметил он, снова рассматривая проект.

В тот же день проект был утвержден и Витберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста.

Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немомузыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это — очерченное, расчищенное место, это — обстановка, броня черепахи, раковина моллюска, — именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцырь черепахе. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе.

Египетские храмы были их священные книги. Обелиски — проповеди на большой дороге.

Соломонов храм — построенная библия, так, как храм святого Петра — построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого.

Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов, иносказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство.

Собственно мистический характер зодчество теряет с веками Восстановления. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка — с греческим фронтоном, духовная святыня — с светской красотой. Поэтому-то храм св. Петра и имеет такое высокое значение: в его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится

языческая, и Бонарроти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом в цвете лет и силы.

После храма св. Петра зодчество церквей совсем пало и свелось наконец на простое повторение в разных размерах то древних греческих *периптеров*, то церкви св. Петра.

Один Парфенон называли церковью св. Магдалины в Париже. Другой — биржей в Нью-Йорке.

Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые *судки* с луковками, вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города.

Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра выходили из ряда вон.

Война 1812 года сильно потрясла умы в России, долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервное раздражение. События вне России, взятие Парижа, история ста дней, ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, — все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения.

Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга.

Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление.

Можно ли было найти лучше место для храма в память 1812 года как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство.

Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен.

Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделабрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служить о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых.

На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма,— храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний.

Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелких подробностей и везде

совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу.

Удивительный человек, он всю жизнь работал над своим проектом. Десять лет подсудимости он занимался только им; гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем, он не верил, что его не будут строить: воспоминания, утешения, слава — все было в этом портфеле артиста.

Быть может, когда-нибудь другой художник, после смерти страдальца, стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст этот архитектурный мартиролог, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем-фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами-писцами.

Проект был гениален, страшен, безумен — оттого-то Александр его выбрал, оттого-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно, если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии, эти туннели в восемь минут езды, цепные мосты и пр.

Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить.

— Именно поэтому-то и надобно их выписать, — отвечал он. — Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить.

Милорадович был воин-поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.

Одна природа делает великое даром.

Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте, — зачем он принял место директора, — он, неопытный артист, молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах? Ему следовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен, артист; он принял потому, что после принятия его проекта ему

казалось все легко; он принял потому, что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова?.. Где эти трезвые люди, умеренные, воздержные? Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют «говорить камень»!

Само собою разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию — за аферу, службу — за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того чтоб он, упавши в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтоб к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других.

Товарищами Витберга в комиссии были: митрополит Филарет, московский генерал-губернатор *, сенатор Кушников; все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще притом смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом.

Этому способствовало сначала падение мистического министерства * князя А. Н. Голицына, потом смерть Александра.

Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые, в лице Магницкого в Казани и Рунича в Петербурге, дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес.

С своей стороны, дикое, грубое, невежественное православие взяло верх. Его проповедовал новгородский архимандрит Фотий, живший в какой-то — разумеется, не телесной — близости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного имения, насильственно отнятого у монастырей Екатериной *, и предаваясь неистовому изуверству.

Но в чем петербургское правительство постоянно, чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала, его религия, — это несправедливое гонение и преследования. Неистовство Руничей и Магницких обратилось на Руничей и Магницких.

Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии,— сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками; «Сионский вестник», вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзин сослан в Вологду *.

Падение князя А. Н. Голицына увлекло Витберга, все опрокидывается на него, комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы «дерзки» (в его деле *дерзость* поставлена в одно из главных обвинений); его подчиненные *воруют*,— как будто кто-нибудь, находящийся на службе в России, не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других: он не имел никакой привычки заведовать смиренными домами и классными ворами.

Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга, он передал ему через одного из своих приближенных, что он уверен в его правоте.

Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось *десять* лет с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставятся в вину сенатом. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь «лучшей привилегией царей — миловать и уменьшать наказания», прибавляет к приговору — ссылку на Вятку.

Итак, Витберг отправился в ссылку, отрешенный от службы «за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне»; на него насчитывают миллион, кажется, рублей, берут все имение, продают все с публичного торга и распускают слух, что он перевел видимо-невидимо денег в Америку.

Я жил с Витбергом в одном доме два года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба; семья его жила в самой страшной бедности.

Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу две небольшие подробности, которые у меня особенно остались в памяти.

Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова; прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен в острог за это дело и умер там.

Второе дело было перед моими глазами. Витберг скупал именья для храма. Его мысль состояла в том, чтоб помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выстав-
лять известное число работников,— этим способом они приобре-
тали полную волю себе и деревне. Забавно, что наши сенаторы-
помещики находили в этой мере какое-то невольничество!

Между прочим, Витберг хотел купить именье моего отца в Рузском уезде, на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволение сделать геологическое исследование, чтоб определить количество его. Отец мой позво-
лил. Витберг уехал в Петербург.

Месяца через три отец мой узнает, что ломка камня произ-
водится в огромном размере, что озимые поля крестьян зава-
лены мрамором; он протестует, его не слушают. Начинается
упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но,
по несчастию, оказалось, что он не давал никакого приказа и
что все это было сделано комиссией во время его отсутствия.

Дело пошло в сенат. Сенат решил, к *общему удивлению*, до-
вольно близко к *здравому смыслу*: наломанный камень оставить
помещику, считая ему его в вознаграждение за помятые поля;
деньги, истраченные казной на ломку и работу, до ста тысяч
ассигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах.
Подписавшиеся были: князь Голицын, Филарет и Кушников.
Разумеется — крик, шум. Дело довели до государя.

У него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных
от платежа, потому, написал он собственноручно, как и напе-
чатано в сенатской записке, что «члены комиссии не знали,
что подписывали». Положим, что митрополит по ремеслу дол-
жен оказывать смирение, а каковы другие-то вельможи, кото-
рые приняли подарок, так учтиво и милостиво мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысяч? Казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет,— оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тут задумываться — сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело.

Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней: камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку; впрочем, если помещик хочет оставить, выскать с него сто тысяч. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства (ведь это *chef-d'œuvre!*¹), а впрочем, за помятые крестьянские поля *выдать* по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром I, столько-то копеек с десятины.

Собственно, наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня в процессе все-таки поставлена на счет Витберга.

...Года через два после ссылки Витберга вятское купечество вознамерилось построить новую церковь.

Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасадов, *высочайше* утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в III отделении собственной канцелярии флигель-адъютантом Львовым никуда не годятся. Но это еще мало — ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов.

Вятское купечество, перебирая «апробованные» планы, имело смелость не быть согласным со вкусом государя. Проект вятского купечества удивил Николая, он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтоб при исполнении не исказили мысли архитектора.

— Кто делал этот проект? — спросил он статс-секретаря.

— Витберг, в. в.

— Как, тот Витберг?

— Тот самый, в. в.

¹ шедевр (франц.).— *Ред.*

И вот Витбергу, как снег на голову,— разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволение оправдаться — ему отказали; он сделал удачный проект — государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности...

В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя А. Н. Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался с Жуковским похлопотать и сулил рублей тысячу серебром.

Витберг отказался.

В 1846, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов, который я так любил, стал потухать; надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтоб выйти из своего положения, ровное отчаяние dokonчило его, существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти.

Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен.

Жив ли страдалец — не знаю, но сомневаюсь.

— Если б не семья, не дети,— говорил он мне, прощаясь,— я вырвался бы из России и пошел бы по миру; с моим владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр,— рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!

Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю.*

Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям; но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах, жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии.

Мистицизм Витберга лежал долею в его скандинавской крови; это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенборге, похожая в свою очередь на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии.

Влияние Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии.

Но именно в ту эпоху, когда я жил с Витбергом, я более, чем когда-нибудь, был расположен к мистицизму.

Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем *, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния * — все это помогало Витбергу.

И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру.

Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 он начинал писать текст для Гебелевой ¹ оратории «Потерянный рай». «В идее потерянного рая,— писал мне Огарев,— заключается вся история человечества!» * Стало быть, в то время и он *отыскиваемый рай* идеала принимал за утраченный.

Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы *. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством, тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других — борьбу официальной церкви с квекерами и отъезд Уильяма Пена в Америку, в Новый свет ².

¹ Гебель — известный композитор того времени.

² Я эти сцены, не понимая почему, вздумал написать *стихами*. Вероятно, я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погодин писал им *. В 1839 или 40 году я дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день при-

Мистицизм науки вскоре заменил во мне — евангельский мистицизм; по счастью, отделался я и от второго.

Но возвратимся в наш скромный Хлынов-городок, переименованный, не знаю зачем, разве из финского патриотизма, Екатериной II в Вятку.

В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный со всем дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук.

Где вы? Что с вами, подснежные друзья мои? Двадцать лет мы не видались. Чай, состарелись и вы, как я, дочерей выдаете замуж, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчиком на ножке наливку. Кто из вас разбогател, кто разорился, кто в чинах, кто в параличе? А главное, жива ли у вас память об наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и негодованием?

Я остался тот же, вы это знаете; чай, долетают до вас вести с берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас, всегда с любовью; у меня есть несколько писем того времени, некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать.

«Я не стыжусь тебе признаться,— писал мне 26 января 1838 один юноша *,— что мне очень горько теперь. Помогите мне ради той жизни, к которой призвал меня, помогите мне своим советом. *Я хочу учиться*, назначьте мне книги, назначьте что хочешь, я употреблю все силы, дай мне ход,— на тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня».

слал мне их с запиской, в которой писал: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов, я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи»*.

Убил Белинский обе попытки драматических сцен. Долг красен платежами. В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе*. «Как тебе нравится моя последняя статья?»—спросил он меня, обедая en petit comité (в тесной компании (франц.)) у Дюссо. «Очень,— отвечал я,— все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — «И в самом деле так,— сказал, помирая со смеху, Белинский,— ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!»

«Я тебя благословляю,— пишет мне другой, вслед за моим отъездом,— как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву».

Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому, что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них *тоску* можно было примириться с девятимесячной тюрьмой и трехлетней жизнью в Вятке.

А тут два раза в неделю приходила в Вятку московская почта; с каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома, нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным прифтом.

И я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдавая минуту чтения, наслаждаясь одной мыслью, что письмо *есть*.

Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их, и страшно коснуться...

Письма — больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.

...Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора?..



ГЛАВА XVII

Наследник в Вятке.— Падение Тюфяева.— Перевод во Владимир.— Исправник на следствии.

Наследник будет в Вятке! Наследник едет по России, чтоб себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных глупостей: велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны, велел в городах перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого дома, объявила городничему *, что у нее нет денег на поправку тротуара, городничий донес губернатору. Губернатор велел у нее разобрать полы (тротуары там деревянные), а буде не достанет, сделать поправку на казенный счет и взыскать потом с нее деньги, хотя бы для этого следовало продать дом с публичного торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новгородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новгородцы поселились в Хлынове (Вятке), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки; новгородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку, кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощанике по реке, с нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощаников, косяг, наполненных крестьянами и крестьянками, вотяками, мещанами, пестро

двигаются за плывущим образом. И впереди всех — губернаторская распила, покрытая красным сукном. Дикое зрелище это очень недурно. Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на Великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, толпы некрещеных вотяков и черемис, даже татар, приходят молиться иконе. Зато и праздник имеет чисто языческий вид. За монастырской стеной вотяки, русские приносят на жертву баранов и телят, их тут же бьют, иеромонах читает молитвы, благословляет и святит мясо, которое подают в особое окно с внутренней стороны ограды. Мясо это раздают по кускам народу. Встарь давали его даром, теперь монахи берут несколько копеек за каждый кусок. Так что мужик, подаривший целого теленка, должен истратить грош-другой, чтоб получить кусок себе на снесь. На монастырском дворе сидят целые толпы нищих, калек, слепых, всяких уродов, которые хором поют «Лазаря». Молодые поповичи и мещанские мальчишки сидят на надгробных памятниках около церкви с чернильницей и кричат: «Кому памятки писать? Кому памятки?» Бабы и девки окружают их, сказывая имена, мальчишки, ухарски скрыпя пером, повторяют: «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, отца Иоанна, Матрену, — ну-тка, тетушка, твоих, твоих-то — вишь, отколола грош, меньше пятака взять нельзя: родни-то, родни-то — Иоанна, Василису, Иону, Марью, Евпраксею, младенца Катерину...»

В церкви толкотня и странные предпочтения, одна баба передает соседу свечку с точным поручением поставить «гостю», другая — «хозяину». Вятские монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессии. Они по дороге останавливаются в больших деревнях, и мужики их потчуют на убой.

Вот этот-то народный праздник, к которому крестьяне призывали веками, переставил было губернатор, желая им потешить наследника, который должен был приехать 19 мая; что за беда, кажется, если Николай-гость тремя днями раньше придет к *хозяину*? На это надобно было согласие архиерея; по счастью, архиерей был человек сговорчивый и не нашел ничего возразить против губернаторского намерения отпраздновать 23 мая 19-го.

Ряд ловких мер своих для приема наследника губернатор послал к государю, — посмотрите, мол, как сына угощаем. Государь, прочитавши, взбесился и сказал министру внутренних дел: «Губернатор и архиерей дураки, оставить праздник как был». Министр намылил голову губернатору, синод — архиерею, и Николай-гость остался при своих привычках.

Между разными распоряжениями из Петербурга велено было в каждом губерньском городе приготовить выставку всякого рода произведений и изделий края и расположить ее по трем царствам природы. Это разделение по царствам очень затруднило канцелярию и даже отчасти Тюфяева. Чтоб не ошибиться, он решился, несмотря на свое неблагоприятное положение, позвать меня на совет.

— Ну, например, мед, — говорил он, — куда принадлежит мед? Или золоченая рама — как определить, куда она относится?

Увидя из моих ответов, что я имею удивительно точные сведения о трех царствах природы, он предложил мне заняться расположением выставки.

Пока я занимался размещением деревянной посуды и вотских нарядов, меда и чугунных решеток, а Тюфяев продолжал брать свирепые меры для вящего удовольствия «его высочества», оно изволило прибыть в Орлов, и громовая весть об аресте орловского городничего разнеслась по городу. Тюфяев пожелтел и как-то неверно начал ступать ногами.

Дней за пять до приезда наследника в Орлов городничий писал Тюфяеву, что вдова, у которой пол сломали, шумит, и что купец такой-то, богатый и знаемый в городе человек, похваляется, что все наследнику скажет. Тюфяев насчет его распорядился очень умно: он велел городничему заподозрить его сумасшедшим (пример Петровского ему понравился *) и представить для свидетельства в Вятку; пока бы дело длилось, наследник уехал бы из Вятской губернии, тем дело и кончилось бы. Городничий все исполнил; купец был в вятской больнице.

Наконец наследник приехал *. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласил его и тотчас послал доктора Енохина свидетельствовать арестованного купца. Все ему было известно. Орловская вдова свою просьбу подала, другие купцы и мещане рассказали все, что делалось. Тюфяев еще на два градуса

перекосился. Дело было не хорошо. Городничий прямо сказал, что он на все имел письменные приказания от губернатора.

Доктор Енохин уверял, что купец совершенно здоров. Тюфяев был потерян.

В восьмом часу вечера наследник с свитой явился на выставку, Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то *царе* Тохтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их.

Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, но он уже начинал толстеть.

Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока.

Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать *, как я попал в Вятку, их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику об моем положении, и, действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Государь отвечал, что это было бы несправедливо относительно других сосланных, но, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир, это было географическое улучшение: семьсот верст меньше. Но об этом после.

Вечером был бал в благородном собрании. Музыканты, нарочно выписанные с одного из заводов, приехали мертвецки пьяные; губернатор распорядился, чтоб их заперли за сутки до бала и прямо из полиции конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончания бала.

Бал был глуп, неловок, слишком беден и слишком пестр, как всегда бывает в маленьких городках при чрезвычайных случаях. Полицейские суетились, чиновники в мундирах жались к стене, дамы толпились около наследника в том роде, как дикие окружают путешественников... Кстати, об дамах. В одном городке был приготовлен после выставки «гуте»¹. Наследник

¹ угощение (франц. goûter).— *Ред.*

ничего не брал, кроме одного персика, которого кость он бросил на окно. Вдруг из толпы чиновников отделяется высокая фигура, налитая спиртом, земского заседателя, известного забулдыги, который мерными шагами отправляется к окну, берет кость и кладет ее в карман.

После бала или *гуге* заседатель подходит к одной из значительных дам и предлагает высочайше обглоданную косточку; дама в восхищение. Потом он отправляется к другой, потом к третьей — все в восторге.

Заседатель купил пять персиков, вырезал косточки и осчастливил шесть дам. У кого настоящая? Все подозревают истинность своей косточки...

Тюфяев, после отъезда наследника, приговаривал с стесненным сердцем променять пашалык¹ на сенаторские кресла — но вышло хуже.

Недели через три почта привезла из Петербурга бумаги на имя «управляющего губернией». В канцелярии все переполошилось. Регистратор губернского правления прибежал сказать, что у них получен указ. Правитель дел бросился к Тюфяеву, Тюфяев сказался больным и не поехал в присутствии.

Через час мы узнали, он был отставлен — *sans phrase*².

Весь город был рад падению губернатора; управление его имело в себе что-то удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотреть на ликование чиновников.

Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря. Людская подлость и тут показалась не меньше, как при падении Наполеона, несмотря на разницу диаметров. Все последнее время я был с ним в открытой ссоре, и он непременно усил меня в какой-нибудь заштатный город Кай, если б его не прогнали самого. Я удалялся от него, и мне нечего было менять в моем поведении относительно его. Но другие, вчера снимавшие шляпу, завидя его карету, глядевшие ему в глаза, улыбавшиеся его шпигу, потчевавшие табаком его камердинера,—

¹ административный округ, управляемый пашой (турецк. *paşalık*).— *Ред.*

² без всяких разговоров (франц.).— *Ред.*

теперь едва кланялись с ним и кричали во весь голос против беспорядков, которые он делал *вместе с ними*. Все это старо и до того постоянно повторяется из века в век и везде, что нам следует эту низость принять за общечеловеческую черту и по крайней мере не удивляться ей.

Явился новый губернатор *. Это был человек совершенно в другом роде. Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет около пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычайной грамматической правильностью, пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своей излишностью затемнить простейший предмет. Он был ученик Лицея, товарищ Пушкипа, служил в гвардии, покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке * на другой день после приезда.

Перемена была очень резка. Те же комнаты, та же мебель, а на месте татарского баскака с тунгусской наружностью и сибирскими привычками — доктринер, несколько педант, но все же порядочный человек. Новый губернатор был умен, но ум его как-то светил, а не грел, вроде ясного зимнего дня — приятного, но от которого плодов не дождешься. К тому же он был страшный формалист, — формалист не приказный — а как бы это выразить?.. Его формализм был второй степени, но столько же скучный, как и все прочие.

Так как новый губернатор был в самом деле женат, губернаторский дом утратил свой ультрахолостой и полигамический характер. Разумеется, это обратило всех советников к советницам; плешивые старики не хвастались победами «насчет клубники», а, напротив, нежно отзывались о завялых, жестко и угловато костлявых или заплывших жиром до невозможности пускать кровь, супругах своих.

Корнилов был назначен за несколько лет перед приездом в Вятку, прямо из семеновских или измайловских полковников, куда-то гражданским губернатором. Он приехал на воеводство, вовсе не зная дел. Сначала, как все новички, он принялся все читать, вдруг ему попалась бумага из другой губернии, которую он, прочитавши два раза, три раза, — не понял.

Он позвал секретаря и дал ему прочесть. Секретарь тоже не мог ясно изложить дела.

— Что же вы сделаете с этой бумагой,— спросил его Корнилов,— если я ее передам в канцелярию?

— Отправлю в третий стол, это по третьему столу.

— Стало быть, столоначальник третьего стола знает, что делать?

— Как же, в. п., ему не знать? Он седьмой год правит столом.

— Позовите его ко мне.

Пришел столоначальник. Корнилов, отдавая ему бумагу, спросил, что надобно сделать. Столоначальник пробежал наскоро дело и доложил, что-де в казенную палату следует сделать запрос и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальник затруднился и, наконец, признался, что это трудно так рассказать, а что написать легко.

— Вот стул, прошу вас написать ответ.

Столоначальник принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги.

Губернатор взял их, прочел, прочел раз и два,— ничего понять нельзя.

— Я увидел,— рассказывал он, улыбаясь,— что это действительно был ответ на ту бумагу,— и, благословясь, подписал. /
Никогда более не было помину об этом деле — бумага была вполне удовлетворительна.

Весть о моем переводе во Владимир пришла перед рождением — я скоро собрался и пустился в путь.

С вятским обществом я расстался тепло. В этом дальнем городе я нашел двух-трех искренних приятелей между молодыми купцами.

Все хотели наперерыв показать изгнаннику участие и дружбу. Несколько саней провожали меня до первой станции, и, сколько я ни защищался, в мою повозку наставили целый груз всяких припасов и вин.— На другой день я приехал в Яранск.

От Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал,

они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частью строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина,— и заснешь, и опять проснешься, а полки сосен все идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позванивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотьяк каким-то сиплым альтом поругается с товарищем, покричит «айда», запоест песню в две ноты... и опять сосны, снег — снег, сосны...

При самом выезде из Вятской губернии мне еще пришлось проститься с чиновническим миром, и он pour la clôture¹ явился во всем блеске.

Мы остановились у станции, ямщик стал откладывать, высокий мужик показался в сених и спросил:

— Кто проезжает?

— А тебе что за дело?

— А то дело, что исправник велел узнать, а я — рассыльный при земском суде.

— Ну, так ступай же в станционную избу, там моя подорожная.

Мужик ушел и через минуту воротился, говоря ямщику:

— Не давать ему лошадей.

Это было через край. Я соскочил с саней и пошел в избу. Полупьяный исправник сидел на лавке и диктовал полупьяному писарю. На другой лавке в углу сидел или, лучше, лежал человек с скованными ногами и руками. Несколько бутылок, стаканы, табачная зола и кипы бумаг были разбросаны.

— Где исправник? — сказал я громко, входя.

— Исправник здесь, — отвечал мне полупьяный Лазарев, которого я видел в Вятке. При этом он дерзко и грубо уставил на меня глаза — и вдруг бросился ко мне с распростертыми объятиями.

¹ на прощание (франц.). — Ред.

Надобно при этом вспомнить, что после смены Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошие отношения с новым губернатором, начинали меня побаиваться.

Я остановил его рукою и спросил очень серьезно:

— Как вы могли велеть, чтоб мне не давали лошадей? Что это за вздор — на большой дороге останавливать проезжих?

— Да я пошутил, помилуйте — как вам не стыдно сердиться! Лошадей, вели лошадей, что ты тут стоишь, разбойник? — закричал он рассыльному. — Сделайте одолжение, выкушайте чашку чаю с ромом.

— Покорно благодарю.

— Да нет ли у нас шампанского?.. —

Он бросился к бутылкам — все были пусты.

— Что вы тут делаете?

— Следствие-с — вот молодчик-то топором убил отца и сестру родную из-за ссоры да по ревности.

— Так это вы вместе и пируете?

Исправник замаялся. Я взглянул на черемиса, он был лет двадцати, ничего свирепого не было в его лице, совершенно восточном, с узенькими, сверкающими глазами, с черными волосами.

Всё это вместе так было гадко, что я вышел опять на двор. Исправник выбежал вслед за мной, он держал в одной руке рюмку, в другой бутылку рома и приставал ко мне, чтоб я выпил.

Чтоб отвязаться от него, я выпил. Он схватил меня за руку и сказал:

— Виноват, ну виноват, что делать! Но я надеюсь, вы не скажете об этом его превосходительству, не погубите благородного человека.

При этом исправник *схватил мою руку и поцеловал ее*, повторяя десять раз:

— Ей-богу, не погубите благородного человека.

Я с отвращением отдернул руку и сказал ему:

— Да ступайте вы к себе, нужно мне очень рассказывать.

— Да чем же бы мне услужить вам?

— Посмотрите, чтоб поскорее закладывали лошадей.

— Живей, — закричал он, — айда, айда! — и сам стал подергивать какие-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этот сильно врезался в мою память. В 1846 году, когда я был в последний раз в Петербурге, нужно мне было сходить в канцелярию министра внутренних дел, где я хлопотал о пассе. Пока я толковал с столоначальником, прошел какой-то господин... дружески пожимая руку магнатам канцелярии, снисходительно кланяясь столоначальникам. «Фу, чорт возьми,— подумал я,— да неужели это он?»

— Кто это?

— Лазарев — чиновник особых поручений при министре и в большой силе.

— Был он в Вятской губернии исправником?

— Был.

— Поздравляю вас, господа, девять лет тому назад он целовал мне руку.

Перовский мастер выбирать людей!





ГЛАВА XVIII

НАЧАЛО ВЛАДИМИРСКОЙ ЖИЗНИ

...Когда я вышел садиться в повозку в Козьмодемьянске, сани были заложены по-русски: тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, коренная в дуге весело звонила колокольчиком.

В Перми и Вятке закладывают лошадей гуськом: одну перед другой или две в ряд, а третью впереди.

Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь.

— Ну-тка, ну-тка, покажи нам свою прыть,— сказал я молодому парню, лихо сидевшему на облучке в нагольном тулупе и несгибаемых рукавицах, которые едва ему позволяли настолько сблизить пальцы, чтоб взять пятиалтынный из моих рук.

— Уважим-с, уважим-с. Эй вы, голубчики! Ну, барин,— сказал он, обращаясь вдруг ко мне,— ты только держись, туда гора, так я коней-то пушу.

Это был крутой съезд к Волге, по которой шел зимний тракт.

Действительно, коней он пустил. Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево и слева направо, лошади мчали под гору, ямщик был смертельно доволен да, грешный человек, и я сам,— русская натура.

Так въезжал я на почтовых в 1838 год — в лучший, в самый светлый год моей жизни. Расскажу вам нашу первую встречу с ним.

Верстах в восьмидесяти от Нижнего взошли мы, т. е. я и мой камердинер Матвей, обогреться к станционному смотрителю.

На дворе было очень морозно и к тому же ветрено. Смотритель, худой, болезненный и жалкой наружности человек, записывал подорожную, сам себе диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снял шубу и ходил по комнате в огромных меховых сапогах, Матвей грелся у каменной печи, смотритель бормотал, деревянные часы постукивали разбитым и слабым звуком...

— Посмотрите,— сказал мне Матвей,— скоро двенадцать часов, ведь Новый год-с. Я принесу,— прибавил он, полувопросительно глядя на меня,— что-нибудь из запаса, который нам в Вятке поставили.— И, не дожидаясь ответа, бросился доставать бутылки и какой-то кулечек.

Матвей, о котором я еще буду говорить впоследствии, был больше, нежели слуга, он был моим приятелем, меньшим братом. Московский мещанин, отданный Зонненбергу, с которым мы тоже познакомимся, на изучение переплетного искусства, в котором, впрочем, Зонненберг не был особенно сведущ, он перешел ко мне.

Я знал, что мой отказ огорчил бы Матвея, да и сам, в сущности, ничего не имел против почтового празднества... Новый год — своего рода станция.

Матвей принес ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшим вгустую; ветчину можно было рубить топором, она вся блистала от льдинок; но *à la guerre comme à la guerre*¹.

«С Новым годом! С новым счастьем!..» В самом деле, с новым счастьем. Разве я не был на возвратном пути? Всякий час приближал меня к Москве,— сердце было полно надежд.

Мороженое шампанское не то чтоб слишком нравилось смотрителю — я прибавил ему в вино полстакана рома. Это новое *half-and-half*² имело большой успех.

Ямщик, которого я тоже пригласил, был еще радикальнее: он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: «Славно огорчило!»

¹ на войне как на войне (франц.).— *Ред.*

² смесь двух напитков в равных количествах (англ.).— *Ред.*

Смотритель сам усадил меня в сани и так усердно хлопотал, что уронил в сено зажженную свечу и не мог ее потом найти. Он был очень в духе и повторял:

— Вот и меня вы сделали с Новым годом... вот и с Новым годом!

Огорченный ямщик тронул лошадей...

На другой день, часов в восемь вечера, приехал я во Владимир и остановился в гостинице, чрезвычайно верно описанной в «Тарантасе», с своей курицей «с рысью», хлебным — патише¹ и с уксусом вместо бордо*.

— Вас спрашивал какой-то человек сегодня утром, он, никак, дожидается в полпивной, — сказал мне, прочитав в дорожной мое имя, половой с тем ухарским пробормотом и отчаянным виском, которым отличались прежде одни русские полковые, а теперь — полковые и Людовик-Наполеон.

Я не мог понять, кто бы это мог быть.

— Да вот и они-с, — прибавил половой, сторонясь. Но явился сначала не человек, а страшной величины поднос, на котором было много всякого добра: кулич и баранки, апельсины и яблоки, яйца, миндаль, изюм... а за подносом виднелась седая борода и голубые глаза старосты из владимирской деревни моего отца.

— Гаврило Семеныч! — вскрикнул я и бросился его обнимать. Это был *первый* человек из *наших*, из прежней жизни, которого я встретил после *тюрьмы и ссылки*. Я не мог насмотреться на умного старика и наговориться с ним. Он был для меня представителем близости к Москве, к дому, к друзьям, он три дня тому назад всех видел, ото всех привез поклоны... Стало, не так-то далеко!

Губернатор Курута, умный грек, хорошо знал людей и давно успел охладеть к добру и злу. Мое положение он понял тотчас и не делал ни малейшего опыта меня притеснять. О канцелярии не было и помину, он поручил мне с одним учителем гимназии заведовать «Губернскими ведомостями»* — в этом состояла вся служба.

¹ пирожным, искаж. pâtisserie (франц.). — *Ред.*

Дело это было мне знакомое: я уже в Вятке поставил на ноги неофициальную часть «Ведомостей» и поместил в нее раз статейку *, за которую чуть не попал в беду мой преемник. Описывая празднество на «Великой реке», я сказал, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, в старые годы раздавали бедным, а нынче продают. Архиерей разгневался, и губернатор насилу уговорил его оставить дело.

«Губернские ведомости» были введены в 1837 году *. Оригинальная мысль приучать к гласности в стране молчания и немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову. Блудов, известный как продолжатель истории Карамзина, не написавший ни строки далее, и как сочинитель «Доклада следственной комиссии» после 14 декабря *, которого было бы лучше совсем не писать, принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце александровского царствования. Это были люди умные, образованные, честные, состарившиеся и выслужившиеся «арзамасские гуси» *; они умели писать по-русски, были патриоты и так усердно занимались отечественной историей, что не имели досуга заняться серьезно современностью. Все они чтити незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова и ездили в Москве беседовать к И. И. Дмитриеву, в его дом на Садовой *, куда и я ездивал к нему студентом, вооруженный романтическими предрассудками, личным знакомством с Н. Полевым и затаенным чувством неудовольствия, что Дмитриев, будучи поэтом, был министром юстиции. От них много надеялись, они ничего не сделали, как вообще доктринеры всех стран. Может быть, им и удалось бы оставить след более прочный при Александре, но Александр умер, и они остались при своем *желании* делать что-нибудь путное.

В Монако на надгробном памятнике одного из владетельных князей написано: «Здесь покоится Флорестан такой-то — он *хотел* делать добро своим подданным!»¹ Наши доктринеры тоже желали делать добро, если не своим, то подданным Николая Павловича, но счет был составлен без хозяина. Не знаю, кто помешал Флорестану, но им помешал наш Флорестан. Им

¹ Il a voulu le bien de ses sujets. <Он желал добра своим подданным (франц.)>

пришлось быть соприкосновенными во всех ухудшениях России и ограничиваться ненужными нововведениями — переменами форм, названий. Всякий начальник у нас считает высшей обязанностью нет-нет да и представить какой-нибудь проект, изменение, обыкновенно к худшему, но иногда просто безразличное. Секретаря в канцелярии губернатора, например, сочли нужным назвать правителем дел, а секретаря губернского правления оставили без перевода на русский язык. Я помню, что министр юстиции подавал проект о необходимых изменениях мундиров гражданских чиновников. Проект этот начинался как-то величаво и торжественно: «Обратив в особенности внимание на недостаток единства в шитье и покрое некоторых мундиров гражданского ведомства и взяв в основание» и т. д.

Одержимый тою же болезнью проектов, министр внутренних дел *заменял* земских заседателей становыми приставами *. Заседатели жили по городам и наезжали в деревни. Становые иногда съезжаются в город, но постоянно живут в деревне. Все крестьяне таким образом были отданы под надзор полиции, и это при полном знании, какое хищное, плотоядное, развратное существо — наш полицейский чиновник. Блудов ввел полицейского в тайны крестьянского промысла и богатства, в семейную жизнь, в мирские дела и через это коснулся последнего убежища народной жизни. По счастью, деревень у нас очень много, а становых бывает два на уезд.

Почти в то же время тот же Блудов выдумал «Губернские ведомости». У нас правительство, презирая всякую грамотность, имеет большие притязания на литературу; и в то время как в Англии, например, совсем нет казенных журналов, у нас каждое министерство издает свой, академия и университеты — свои. У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный счет, подряды статей делаются в министерствах так, как подряды на дрова и свечи, только без переторжки; недостатка в общих отчетах, выдуманных цифрах и фантастических выводах не бывает. Взявши все монополии, правительство взяло и монополию болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов велел, чтоб каждое губернское правление издавало свои «Ведомости» и чтоб

каждая «Ведомость» имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и пр.

Сказано — сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над неофициальной частью. Священники из семинаристов, доктора медицины, учителя гимназии, все люди, состоящие в подозрении образования и уместного употребления буквы *ѣ*, берутся в реквизицию. Они думают, перечитывают «Библиотеку для чтения» и «Отечественные записки», боятся, посягают и, наконец, пишут статьи.

Видеть себя в печати — одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком. Но, тем не меньше, решаться на публичную выставку своих произведений — не легко без особого случая. Люди, которые не смели бы думать о печатании своих статей в «Московских ведомостях», в петербургских журналах, стали печататься у себя дома. А между тем *пагубная* привычка иметь орган, привычка к гласности, укоренилась. Да и совсем готовое орудие иметь недурно. Типографский станок *тоже* без костей!

Товарищ мой по редакции был кандидат нашего университета и одного со мною отделения. Я не имею духу говорить о нем с улыбкой — так горестно он кончил свою жизнь, а все-таки до самой смерти он был очень смешон. Далеко не глупый, он был необыкновенно неуклюж и неловок. Не только полного безобразия трудно было встретить, но и такого большого, т. е. такого растянутого. Лицо его было в полтора больше обыкновенного и как-то шероховато, огромный рыбий рот раскрывался до ушей, светлосерые глаза были не оттенены, а скорее освещены белокурыми ресницами, жесткие волосы скудно покрывали его череп, и притом он был головою выше меня, сутуловат и очень неопрятен.

Он даже назывался так, что часовой во Владимире посадил его в караульную за его фамилию. Поздно вечером шел он, завернутый в шинель, мимо губернаторского дома; в руке у него был ручной телескоп, он остановился и прицелился в какую-то планету; это озадачило солдата, вероятно, считавшего звезды казенной собственностью.

— Кто идет? — закричал он неподвижно стоявшему наблюдателю.

— Небаба,— отвечал мой приятель густым голосом, не двигаясь с места.

— Вы не дурачьтесь,— ответил оскорбленный часовой,— я в должности.

— Да говорю же, что я Небаба!

Солдат не вытерпел и дернул звонок; явился унтер-офицер, часовой отдал ему астронома, чтоб свести на гауптвахту: там, мол, тебя разберут, баба ты или нет. Он непременно просидел бы до утра, если б дежурный офицер не узнал его.

Раз Небаба зашел ко мне поутру, чтоб сказать, что едет на несколько дней в Москву, при этом он как-то умильно лукаво улыбался.

— Я,— сказал он, заминаясь,— я возвращусь не один!

— Как, вы то есть?

— Да-с, вступаю в законный брак,— ответил он застенчиво.

Я удивлялся героической отваге женщины, решающейся идти за этого доброго, но уж чересчур некрасивого человека. Но когда, через две-три недели, я увидел у него в доме девочку лет восемнадцати, не то чтоб красивую, но смазливенькую и с живыми глазками, тогда я стал смотреть на него как на героя.

Месяца через полтора я заметил, что жизнь моего Квазимодо шла плохо: он был подавлен горем, дурно правил корректуру, не оканчивал своей статьи «о перелетных птицах» и был мрачно-рассеян; иногда мне казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Раз, возвращаясь домой через Золотые ворота, я увидел мальчиков и лавочников, бегущих на погост церкви, полицейские суетились. Пошел и я.

Труп Небабы лежал у церковной стены, а возле ружье. Он застрелился супротив окон своего дома, на ноге оставалась веревочка, которой он спустил курок. Инспектор врачебной управы * плавно повествовал окружающим, что покойник несколько не мучился; полицейские приготавливались нести его в часть.

...Куда природа свирепа к лицам! Что и что прочувствовалось в этой груди страдальца прежде, чем он решился своей веревочкой остановить маятник, меривший ему одни оскорбления, одни несчастья. И за что? За то, что отец был золотушен

или мать лимфатична? Все это так. Но по какому праву мы требуем справедливости, отчета, причин? у кого? у крутящегося урагана жизни?..

В то же время для меня начался новый отдел жизни... отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.

Он принадлежит к другой части.



Часть третья

ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ

(1838—1839)

Не ждите от меня длинных повествований о внутренней жизни того времени... Страшные события, всякое горе все же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совершенно светлые и безоблачные... Будто можно рассказывать счастье?

Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем — а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих*.

(«Былое и думы»)

ГЛАВА XIX

КНЯГИНЯ И КНЯЖНА

Когда мне было лет пять-шесть и я очень шалил, Вера Артамоновна говаривала: «Хорошо, хорошо, дайте срок, погодите, я все расскажу княгине, как только она приедет». Я тотчас умирался после этой угрозы и умолял ее не жаловаться.

Княгиня Марья Алексеевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, с пятном на щеке, с поддельными пучками под чепцом; она говорила прищуривая глаза и до конца жизни, т. е. до восьмидесяти лет, употребляла немного румян и немного белил. Всякий раз, когда я ей попадался на глаза, она притесняла меня; ее проповедям, ворчанью не было конца, она меня журила за все: за измятый воротничок, за пятно на курточке, за то, что я не так подошел к руке, заставляла подойти другой раз. Окончивши проповедь, она иногда говаривала моему отцу, бравши кончиками пальцев табак из крошечной золотой табатерки: «Ты бы мне, голубчик, отдал баловня-то твоего на выправку, он у меня в месяц сделался бы шелковый». Я знал, что меня не отдадут, а все-таки у меня делался зноб от этих слов.

С летами страх прошел, но дома княгини я не любил — я в нем не мог дышать вольно, мне было у нее не по себе, и я, как пойманный заяц, беспокойно смотрел то в ту, то в другую сторону, чтоб дать стрелка.

Княгинин дом вовсе не походил на дом моего отца или Сенатора. Это был старинный, православный русский дом. Дом, в котором соблюдались посты, ходили к заутрени, ставили накануне крещенья крест на дверях, делали удивительные блины

на масленице, ели буженину с хреном, обедали ровно в два и ужинали в девятом часу. Западная зараза, коснувшаяся братьев и сбившая их несколько с родной колеи, не коснулась житья княгини; она, напротив, с неудовольствием посматривала, как «Ванюша» и «Левушка» испортились в *этой* Франции.

Княгиня жила во флигеле дома, занимаемого ее теткой, княжной Мещерской, девицей лет восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не единственною связью множества родственников во всех семи восходящих и нисходящих коленах. Около нее собирались в большие праздники все ближние; она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее все уважали, и она заслуживала это. С ее смертью родственные семьи распались, потеряли свое средоточие, забыли друг друга.

Она окончила воспитание моего отца и его братьев; после смерти их родителей она заведовала их имением до совершеннолетия, она отправила их в гвардию на службу, она выдала замуж их сестер *. Не знаю, насколько она была довольна плодом своего воспитания, образовавши, с помощью французского инженера, Вольтерова родственника, помещиков *esprits forts* ¹, но уважение к себе вселить она умела, и племянники, не очень расположенные к чувствам покорности и уважения, почитали старушку и часто слушались ее до конца ее жизни.

Дом княжны Анны Борисовны, уцелевший каким-то чудом во время пожара 1812, не был поправлен лет пятьдесят; штофные обои, вылинялые и почерневшие, покрывали стены; хрустальные люстры, как-то загорелые и сделавшиеся дымчатыми топазами от времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шел по комнате; тяжелая, из цельного красного дерева, мебель, с вычурными украшениями, потерявшими позолоту, печально стояла около стен; комоды с китайскими инкрустациями, столы с медными решеточками, фарфоровые куклы рококо — все напоминало о другом веке, об иных нравах.

В передней сидели седые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами, а иногда читая впослуха молит-

¹ вольнодумцев (франц.).— *Ред.*

венник или псалтырь, которого листы были темнее переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорее похожи на старых карликов, нежели на детей, никогда не смеялись и не подымали голоса.

Во внутренних комнатах царил мертвая тишина; только по временам раздавался печальный крик какаду, несчастный опыт его, картавя, повторить человеческое слово, костяной звук его клюва об жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье небольшой обезьяны, старой, осунувшейся, чахоточной, жившей в зале на небольшом выступе изразцовой печи. Обезьяна эта, одетая дебардером¹, в широких красных шароварах, сообщала всей комнате особый запах, чрезвычайно неприятный. В другой зале висело множество фамильных портретов всех величин, форм, времен, возрастов и костюмов. Портреты эти имели для меня особый интерес именно по противоположности оригиналов с изображениями. Молодой человек лет двадцати, в светлозеленом шитом кафтане, с пудреной головой, вежливо улыбавшийся с холста,— это был мой отец. Девочка с растрепанными кудрями, с букетом роз, украшенная мушкой, неумолимо затянутая в какой-то граненый бокал, воткнутый в непомерные фижмы, была грозная княгиня...

Чинность и тишина росли по мере приближения к кабинету. Старые горничные, в белых чепцах с широкой оборкой, ходили взад и вперед с какими-то чайничками так тихо, что их шагов не было слышно; иногда появлялся в дверях какой-нибудь седой слуга в длинном сертуке из толстого синего сукна, но и его шагов также не было слышно, даже свой доклад старшей горничной он делал шевеля губами без всякого звука.

Небольшая ростом, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка обыкновенно сидела или, лучше, лежала на большом неуклюжем диване, обкладенная подушками. Ее едва можно было разглядеть; все было белое: капот, чепец, подушки, чехлы на диване. Бледновосковое и кружевно нежное лицо ее вместе с слабым голосом и белой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее.

¹ грузчиком (франц. débardeur).— *Ред.*

Большие английские столовые часы своим мерным, громким спондеем — тик-так — тик-так — тик-так... казалось, отмеривали ей последние четверть часа жизни.

Часу в первом являлась княгиня и важно усаживалась в глубокие кресла, ей было скучно в пустом флигеле своем. Она была вдова, и я еще помню ее мужа; он был небольшого роста, седенький старичок, пивший тайком от княгини настойки и наливки, ничем не занимавшийся путным в доме и привыкнувший к безусловной покорности жене, против которой иногда возмущался на словах, особенно после наливок, но никогда на деле. Княгиня удивлялась потом, как сильно действует на князя Федора Сергеевича крошечная рюмка водки, которую он пил официально перед обедом, и оставляла его покойно играть целое утро с дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими напереыв во все птичье горло; он обучал одних органчиком, других собственным свистом; он сам ездил ранехонько в Охотный ряд менять птиц, продавать, прикупать; он был артистически доволен, когда случалось (да и то по его мнению), что он надул купца... И так продолжал свою полезную жизнь до тех пор, пока раз поутру, посвиставши своим канарейкам, он упал навзничь и через два часа умер.

Княгиня осталась одна. У нее были две дочери*; она обеих выдала замуж, обе вышли не по любви, а только чтоб освободиться от родительского гнета матери. Обе умерли после первых родов. Княгиня была действительно несчастная женщина, но несчастья скорее исказили ее нрав, нежели смягчили его. Она от ударов судьбы стала не кротче, не добрее, а жестче и угрюмее.

Теперь у нее оставались только братья и, главное — княжна. Княжна, с которой она почти не расставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее к себе после смерти мужа. Она не распоряжалась ничем в доме. Княгиня самодержавно управляла всем и притесняла старушку под предлогом забот и внимания.

Около стен, по разным углам постоянно сиживали всякие старухи, приживавшие у княжны или временно кочевавшие в ее доме. Полусвятые и полубродяги, несколько поврежденные и очень набожные, больные и чрезвычайно нечистые, эти старухи таскались из одного старинного дома в другой; в одном доме

покормят, в другом подарят старую шаль, отсюда пришлют крупок и дровец, отсюда холста и капусты — концы-то кой-как и сойдутся. Ими везде тяготились, везде их обходили, везде сажали на последнее место и везде принимали от скуки, пустоты, а пуще всего от любви к сплетням. При посторонних печальные фигуры эти обыкновенно молчали, с завистливой ненавистью поглядывали друг на друга... вздыхая, качали головой, крестились и бормотали себе под нос счет петель, молитвы, а может, и брань. Зато, оставшись наедине с *благодетельницей* и *покровительницей*, они вознаграждали себя за молчание самой предательской болтовней обо всех других благодетельницах, к которым их пускали, где их кормили и дарили.

Они беспрестанно просили что-нибудь у княжны и за ее подарки, делаемые часто тайком от княгини, которая не любила их баловать, приносили ей окаменелые просвиры и собственного изделия шерстяные и вязаные ненужности, которые княжна потом продавала в их же пользу, причем воля покупателя вовсе не бралась в соображение.

Сверх дня рождения, именин и других праздников, самый торжественный сбор родственников и близких в доме княжны был накануне Нового года. Княжна в этот день *поднимала* Иверскую Божию мать. С пением носили монахи и священники образ по всем комнатам. Княжна первая, крестясь, проходила под него, за ней все гости, слуги, служанки, старики, дети. После этого все поздравляли ее с наступающим Новым годом и дарили ей всякие безделицы, как дарят детям. Она ими играла несколько дней, потом сама раздаривала.

Отец мой возил меня всякий год на эту языческую церемонию; все повторялось в том же порядке, только иных стариков и иных старушек недоставало, об них намеренно умалчивали, одна княжна говаривала:

— «А нашего-то Ильи Васильевича и нет, дай ему бог царство небесное!.. Кого-то в будущий год господь еще позовет?»

И сомнительно качала головой.

А спондей английских часов продолжал отмеривать дни, часы, минуты... и наконец домерил до роковой секунды. Старушка раз, вставши, как-то дурно себя чувствовала; прошлась по комнатам — все нехорошо; кровь пошла у нее носом и очень

обильно; она была слаба, устала, прилегла совсем одетая на своем диване, спокойно заснула... и не просыпалась. Ей было тогда за девяносто лет.

Дом и большую часть имения оставила она княгине, но внутренний смысл своей жизни не передала ей. Княгиня не умела продолжать изящную в своем роде роль прародительницы, патриархальной связи многих нитей. С кончиной княжны все приняло разом, как в гористых местах при заходе солнца, мрачный вид; длинные черные тени легли на все. Она заперла наглухо дом тетки и осталась жить во флигеле, двор порос травой, стены и рамы всё больше и больше чернели; сени, на которых вечно спали какие-то желтоватые неуклюжие собаки, покривились.

Знакомые и родные редели, дом ее пустел, она огорчалась этим, но поправить не умела.

Уцелев одна из всей семьи, она стала бояться за свою ненужную жизнь и безжалостно отталкивала все, что могло физически или морально расстроить равновесие, обеспокоить, огорчить. Боясь прошедшего и воспоминаний, она *удаляла* все вещи, принадлежавшие дочерям, даже их портреты. То же было после княжны — какаду и обезьяна были сосланы в людскую, потом высланы из дома. Обезьяна доживала свой век в кучерской у Сенатора, задыхаясь от нежинских корешков и потешая фореяторов.

Эгоизм самохранения страшно черствит старое сердце. Когда болезнь последней дочери ее* приняла совершенно отчаянный характер, мать уговорили ехать домой, *и она поехала*. Дома она тотчас велела приготовить разные спирты и капустные листы (она их привязывала к голове) для того, чтоб иметь под рукой все, что надобно, когда придет *страшная весть*. Она не простилась ни с телом мужа, ни с телом дочери, она их не видала после смерти и не была на похоронах. Когда впоследствии умер Сенатор, ее любимый брат, она догадалась по нескольким словам племянника о том, что случилось, *и просила его* не объявлять ей печальной новости, ни подробности кончины. Как же не жить с этими мерами против собственного сердца — и такого сговорчивого сердца — до восьмого, девятого десятка в полном здоровье и с несокрушимым пищеварением!

Впрочем, напомню в защиту княгини, что это уродливое отдаление всего печального было гораздо больше в ходу у аристократических баловней прошлого века, чем теперь. Знаменитый Кауниц строго запретил под старость, чтоб при нем говорили о чьей-нибудь смерти и об оспе, которой он очень боялся. Когда умер Иосиф II, секретарь, не зная, как доложить Кауницу, решился сказать: «Ныне царствующий император Леопольд». Кауниц понял и, бледный, опустился на кресла, не спросив ничего. Садовник его в разговорах миновал слово «прививка», чтоб не напомнить оспы. Наконец о смерти собственного сына он узнал случайно от испанского посланника. А над страусами, которые прячут голову под крыло от опасности, люди смеются!

Для хранения полного покоя своего княгиня учредила особую полицию и начальство над нею вверила искусным рукам.

Сверх кочующих старух, унаследованных от княжны, у княгини жила постоянная «компаньонка»*. Эту почетную должность занимала здоровая, краснощекая вдова какого-то звенигородского чиновника, надменная своим «благородством» и асессорским чином покойника, сварливая и неугомонная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ее звенигородской коровы, погибшей в Отечественную войну 1812 года. Я помню, как она серьезно заботилась после смерти Александра I — какой ширины плерезы ей следует носить по *рангу*.

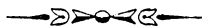
Женщина эта играла очень неважную роль, пока княжна была жива, но потом так ловко умела приладиться к капризам княгини и к ее тревожному беспокойству о себе, что вскоре заняла при ней точно то место, которое сама княгиня имела при тетке.

Обшитая своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась, как шар, по дому с утра до ночи, кричала, шумела, не давала покоя людям, жаловалась на них, делала следствия над горничными, давала тузы и драла за уши мальчишек, сводила счеты, бегала на кухню, бегала на конюшню, обмахивала мух, терла ноги, заставляла принимать лекарство. Домашние не имели больше доступа к барыне — это был Аракчеев, Бирон, словом, первый министр. Княгиня, чопорная и хотя по-ста-

ринному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ее крикливым голосом, ее рыночными манерами, но вверялась ей больше и больше и с восхищением видела, что Марья Степановна значительно уменьшила и без того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги — трудно сказать, у нее не было никого близкого, кроме братьев, которые были вдвое богаче ее.

Со всем тем княгиня, в сущности, после смерти мужа и дочерей скучала и бывала рада, когда старая французженка*, бывшая гувернантой при ее дочерях, приезжала к ней погостить недели на две, или когда ее племянница из Корчевы навещала ее. Но все это было мимоходом, изредка, а скучное с глазу на глаз с компаньонкой не наполняло промежутков.

Занятие, игрушка и рассеяние нашлись очень естественно незадолго перед смертью княжны.



ГЛАВА XX

СИРОТА

В половине 1825 года Химик, принявший дела отца в большом беспорядке, отправил из Петербурга в шадкое имение своих братьев и сестер; он давал им господский дом и содержание, предоставляя впоследствии заняться их воспитанием и устроить их судьбу. Княгиня поехала на них взглянуть. Ребенок * восьми лет поразил ее своим грустно-задумчивым видом; княгиня посадила его в карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась с другими детьми в Тамбов.

Химик согласился — ему было все равно.

— Помни всю жизнь, — говорила маленькой девочке, когда они приехали домой, компаньонка, — помни, что княгиня — *твоя благодетельница*, и молись о продолжении ее дней. Что была бы ты без нее?

И вот в этом отжившем доме, над которым угрюмо тяготели две неугомонные старухи: одна, полная причуд и капризов, другая — ее беспокойная лазутчица, лишенная всякой деликатности, всякого такта, — явилось дитя, оторванное от всего близкого ему, чужое всему окружающему и взятое от скуки, как берут собачонок или как князь Федор Сергеевич держал канареек.

В длинном траурном шерстяном платье, бледная до синеватого отлива, девочка сидела у окна, когда меня привез через несколько дней отец мой к княгине. Она сидела молча, удивленная, испуганная, и глядела в окно, боясь смотреть на что-нибудь другое.

Княгиня подозвала ее и представила моему отцу. Всегда холодный и неприветливый, он равнодушно потрепал ее по плечу, заметил, что покойный брат сам не знал, что делал, побранил Химику и стал говорить о другом.

У девочки были слезы на глазах; она опять села к окну и опять стала смотреть в него.

Тяжелая жизнь начиналась для нее. Ни одного теплого слова, ни одного нежного взгляда, ни одной ласки; возле, около — посторонние, морщины, пожелтелые щеки, существа потухающие, хилые. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпелива и держала себя слишком далеко от сироты, чтоб ей в голову пришло приютиться к ней, отогреться, утешиться в ее близости или поплакать. Гости не обращали на нее никакого внимания. Компаньонка сносила ее как каприз княгини, как вещь лишнюю, но которая ей вредить не может; она, особенно при посторонних, даже показывала, что покровительствует ребенку и ходатайствует перед княгиней о ней.

Ребенок не привыкал и через год был столько же чужд, как в первый день, и еще печальнее. Сама княгиня удивлялась его «серioзности» и иной раз, видя, как она часы целые уныло сидит за маленькими пальцами, говорила ей:

— Что ты не порезвишься, не пробежишь?

Девочка улыбалась, краснела, благодарила, но оставалась на своем месте.

И княгиня оставляла ее в покое, нисколько не заботясь, в сущности, о грусти ребенка и не делая ничего для его развлечения. Приходили праздники, другим детям дарили игрушки, другие дети рассказывали о гуляньях, об обновлениях. Сироте ничего не дарили. Княгиня думала, что довольно делает для нее, давая ей кров; благо есть башмаки, на что еще куклы! Их, в самом деле, было не нужно — она не умела играть, да и не с кем было.

Одно существо поняло положение сироты; за ней была представлена старушка няня, она одна просто и наивно любила ребенка. Часто вечером, раздевая ее, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такие печальные?»

Девочка бросалась к ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила с подсвечником в руку.



Н. А. ГЕРЦЕН

Рисунок итальянским карандашом. 1848 г.

*Институт русской литературы (Пушкинский дом)
Академии наук СССР*

Так шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лет двенадцати хотела умереть. «Мне все казалось, — писала она, — что я попала ошибкой в эту жизнь и что скоро вернусь домой, — но где же был мой дом?.. Уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб снега на могиле моего отца; моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге... Я горячо плакала и молила бога взять меня скорей домой»*.

«...Мое ребячество было самое печальное, горькое; сколько слез пролито, невидимых никем, сколько раз, бывало, ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смея и молиться не в назначенное время) и просила бога, чтоб меня кто-нибудь любил, ласкал. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы заняла меня и утешила, потому что ежели и давали что-нибудь, то с упреком и с непременным прибавлением: «Ты этого не стоишь». Каждый лоскут, получаемый от них, был мною оплакан; потом я становилась выше этого; стремление к науке душило меня, я ничему больше не завидовала в других детях, как ученью. Многие меня хвалили, находили во мне способности и с состраданием говорили: «Если б приложить руки к этому ребенку!» — «Он дивил бы свет», — договаривала я мысленно, и щеки мои горели, я спешила идти куда-то, мне виднелись мои картины, мои ученики, — а мне не давали клочка бумаги, карандаша... Стремление выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее и с тем вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым, я повторяла беспрерывно стихи Чернеца:

Вот тайна: дней моих весною
Уж я все горе жизни знал*.

Помнишь ли ты, мы как-то были у вас, давно, еще в том доме, ты меня спросил, читала ли я Козлова, и сказал из него именно то же самое место. Трепет пробежал по мне, я улыбнулась, насилу удерживая слезы»*.

Глубоко грустная нота постоянно звучала в ее груди; вполне она никогда не исключалась, а только иногда умолкала, поглощенная светлой минутой жизни.

Месяца за два до своей кончины, возвращаясь еще раз к своему детству, она писала:

«Кругом было старое, дурное, холодное, мертвое, ложное, мое воспитание началось с упреков и оскорблений, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя...»*

Но для такого углубления в самого себя надобно было иметь не только страшную глубь души, в которой привольно нырять, но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнью в среде неприязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной могут очень немногие. Иной раз дух не вынесет, иной раз тело сломится.

Сиротство и грубые прикосновения в самый нежный возраст оставили черпую полосу на душе, рану, которая никогда не состалась вполне.

«Я не помню, — пишет она в 1837, — когда бы я свободно и от души произнесла слово «маменька», к кому бы, беспечно забывая все, склонилась на грудь. С восьми лет *чужая* всем, я люблю мою мать... но мы не знаем друг друга»*.

Глядя на бледный цвет лица, на большие глаза, окаймленные темной полоской, двенадцатилетней девочки, на ее томную усталость и вечную грусть, многим казалось, что это одна из предназначенных, ранних жертв чахотки, — жертв, с детства отмеченных перстом смерти, особым знамением красоты и преждевременной думы. «Может, — говорит она, — я и не вынесла бы этой борьбы, если б я не была спасена нашей встречей».

И я так поздно ее понял и разгадал!

До 1834 я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то, что девять лет прошло с тех пор, как княгиня представляла ее моему отцу в длинном шерстяном платье. Объяснить это не трудно. Она была дика — я рассеян; мне было жаль дитя, которое все так печально и одиноко сидело у окна, но мы видались очень не часто. Редко, и всякий раз поповоле, ездил я к княгине; еще реже привозила ее княгиня к нам. Визиты княгини производили к тому же почти всегда неприятные впечатления, она обыкновенно ссорилась из-за пустяков с моим отцом, и, не выдавшись месяца два, они говорили друг другу колкости, прикрывая

их нежными оборотами, в том роде, как леденцом покрывают противные лекарства. «Голубчик мой»,— говорила княгиня: — «Голубушка моя»,— отвечал мой отец, и ссора шла своим порядком. Мы всегда радовались, когда княгиня уезжала. Сверх того, не надобно забывать, что я тогда был совершенно увлечен политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом.

Но *чем жила она*, сверх своей грусти, в продолжение этих темных, длинных *девяти годов*, окруженная глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными иеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая из дома далее печального двора, поросшего травой, и маленького палисадника за домом?

Из приведенных строк уже видно, что княгиня не особенно изубытчивалась на воспитание ребенка, взятого ею. Нравственностью занималась она сама; это преподавание состояло из паружной выправки и из привития целой системы лицемерия. Ребенок должен был быть с утра зашнурован, причесан, навязан; это можно бы было допустить в ту меру, в которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вместе с талией и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство, она требовала улыбку и веселый вид, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотелось плакать, вид участия к предметам безразличным — словом, постоянной лжи.

Сначала бедную девочку ничему не учили под предлогом, что раннее учение бесполезно; потом, т. е. года через *три* или *четыре*, паскутив замечаниями Сенатора и даже посторонних, княгиня решилась устроить учение, имея в виду наименьшую трату денег.

Для этого она воспользовалась старушкой-гувернантой, которая считала себя обязанной княгине и иногда нуждалась в ней; таким образом французский язык доведен был до последней дешевизны — зато и преподавался à bâtons rompus¹.

Но и русский язык был доведен до того же; для него и для *всего прочего* был приглашен сын какой-то вдовы-попадья*, благодетельствованной княгиней, разумеется, без особых трат:

¹ кое-как (франц.).— Ред.

через ее ходатайство у митрополита двое сыновей попали были сделаны соборными священниками. Учитель был их старший брат, диакон бедного прихода, обремененный большой семьей; он гибнул от нищеты, был доволен всякой платой и не смел делать условий с благотельницей братьев.

Что может быть жалче, недостаточнее такого воспитания, а между тем все пошло на дело, все принесло удивительные плоды: так мало нужно для развития, если только есть чему развиваться.

Бедный, худой, высокий и плешивый диакон был один из тех восторженных мечтателей, которых не лечат ни лета, ни бедствия, напротив, бедствия их поддерживают в мистическом созерцании. Его вера, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтического оттенка. Между им — отцом голодной семьи — и сиротой, кормимой чужим хлебом, тотчас образовалось взаимное понимание.

В доме княгини диакона принимали так, как следует принимать беззащитного и к тому же кроткого бедняка, — едва кивая ему головой, едва удостоивая его словом. Даже компаньонка считала необходимым обращаться с ним свысока; а он едва замечал и их самих, и их прием, с любовью давал свои уроки, был тронут понятливостью ученицы и умел трогать ее самое до слез. Этого княгиня не могла понять, журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что диакон расстроивает нервы: «Уж это слишком как-то эдак, совсем не по-детски!»

А между тем слова старика открывали перед молодым существом иной мир, иначе симпатичный, нежели тот, в котором сама религия делалась чем-то кухонным, сводилась на соблюдение постов да на хождение ночью в церковь, где изуверство, развитое страхом, шло рядом с обманом, где все было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узкостью. Диакон дал ученице в руки евангелие — и она долго не выпускала его из рук. Евангелие была *первая книга*, которую она читала и перечитывала с своей единственной подругой Сашей*, племянницей няни, молодой горничной княгини.

Я Сашу потом знал очень хорошо. Где и как умела она развиваться, родившись между кучерской и кухней, не выходя из девичьей, — я никогда не мог понять, но развита была она не-

обыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня, без радостного воспоминания, но не зная, не подозревая сами, что в них гибнет и сколько в них умирает.

Барыня с досадой скажет: «Только начала было девчонка приучаться к службе, как вдруг слегла и умерла...» Ключница семидесяти лет проворчит: «Какие нынче слуги — хуже всякой барышни» — и отправится на кутю и поминки. Мать поплачет, поплачет и начнет попивать — тем дело и кончено.

И мы идем возле, торопясь и не видя этих страшных повестей, совершающихся под нашими ногами, отделяваясь важным недосугом, несколькими рублями и ласковым словом. А тут вдруг, изумленные, слышим страшный стон, которым дает о себе весть на веки веков сломившаяся душа, и, как спросонья, спрашиваем, откуда взялась эта душа, эта сила?

Княгиня убила свою горничную, — разумеется, нехотя и бессознательно, — она ее замучила по мелочи, сломила ее, гнувши целую жизнь, она истомила ее унижениями, шероховатым, грубым прикосновением. Она несколько лет не позволяла ей идти замуж и разрешила только тогда, когда разглядела чахотку на ее страдальческом лице.

Бедная Сапа, бедная жертва гнусной, проклятой русской жизни, запятнанной крепостным состоянием, — смертью ты вышла на волю! И ты еще была несравненно счастливее других: в суровом плену княгининого дома ты встретила друга, и дружба той, которую ты так безмерно любила, проводила тебя заочно до могилы. Много слез стоила ты ей; незадолго до своей кончины она еще поминала тебя и благословляла память твою как единственный светлый образ, явившийся в ее детстве!

...Две молодые девушки (Сапа была постарше) вставали рано по утрам, когда все в доме еще спало, читали евангелие и молились, выходя на двор, под чистым небом. Они молились о княгине, о компаньонке, просили бога раскрыть их души; выдумывали себе испытания, не ели целые недели мяса, мечтали о монастыре и о жизни за гробом.

Такой мистицизм идет к отроческим чертам, к тому возрасту, где все — еще тайна, все — религиозная мистерия, пробуждающаяся мысль еще неясно светит из-за утреннего тумана, а туман еще не рассеян ни опытом, ни страстью.

В тихие и кроткие минуты я любил слушать потом рассказы об этой детской молитве, которою начиналась одна широкая жизнь и оканчивалось одно несчастное существование. Образ *сироты*, оскорбленной грубым благодеянием, и *рабы*, оскорбленной безвыходностью своего положения, молящихся на одичалом дворе о своих притеснителях, наполнял сердце каким-то умилением, и редкий покой сходил на душу.

Это чистое и грациозное явление, никем не оцепенное из близких в бессмысленном доме княгини, нашло, сверх диакона и Саши, отзыв и горячее поклонение всей дворни. Простые люди эти видели в ней больше, чем добрую, ласковую барышню, они в ней угадали что-то высшее, перед чем они склонялись, они веровали в нее. Невесты из княгининого дома просили ее приколоть своими руками какую-нибудь ленту, когда шли к венцу. Одна молодая горпичная, — помнится, ее звали Еленой, — вдруг занемогла колотьем; открылась сильная плерези¹, надежды спасти ее не было, послали за попом. Девушка, испуганная, спрашивала мать, все ли кончено; мать, рыдая, сказала ей, что бог ее скоро позовет. Тогда больная, припав к матери, с горькими слезами просила сходить за барышней, чтоб она пришла сама благословить ее образом на тот свет. Когда она пришла к ней, больная взяла ее руку, приложила к своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мне, молитесь!» Молодая девушка, сама вся в слезах, начала вполслуха молитву — больная отошла в продолжение этого времени. Все в комнате стояли кругом на коленях и крестились; она закрыла ей глаза, поцеловала холодеющий лоб и вышла².

¹ плеврит (франц. pleurésie). — *Ред.*

² В бумагах моих сохранились несколько писем Саши*, писанных между 35 и 36 годами. Саша оставалась в Москве, а подруга ее была в деревне с княгиней; я не могу читать этого простого и восторженного лепета сердца без глубокого чувства. «Неужели это правда, — пишет она, — что вы приедете? Ах, если б вы в самом деле приехали, я не знаю, что со мной бы было. Ведь вы не поверите, чтоб я так часто об вас думала, почти все

Одни сухие и педаровитые натуры не знают этого романтического периода; их столько же жаль, как те слабые и хилые существа, у которых мистицизм переживает молодость и остается навсегда. В *наш* век с реальными натурами этого и не бывает; но откуда могло проникнуть в дом княгини *светское* влияние девятнадцатого столетия? — он был так хорошо законопачен.

Щель нашлась-таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини, она любила «маленькую кузину», как любят детей, особенно несчастных, но не знала ее. С изумлением, почти с испугом разглядела она впоследствии эту необыкновенную натуру и, порывистая во всем, тотчас решила поправить свое невнимание. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое.

— Маленькая кузина, — говорила она мне, — гениальное существо, нам следует ее вести вперед!

«Большая кузина», — и при этом названии я не могу без улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом, — сообщила разом своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе: шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюбленной девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала французских романов, стихов, поэм. Это были большей частью книги, вышедшие после 1830 года. Они, при всех недостатках, сильно будили мысль и крестили огнем и духом юные сердца. В романах и повестях, в поэмах и песнях того времени, с ведома писателя или нет, везде сильно билась социальная артерия, везде обличались общественные рапы, везде слышался стон сгнетенных голодом, невинных каторжников работы; тогда еще этого ропота и этого стопа не боялись как преступления.

Само собою разумеется, что «кузина» надавала книг без всякого разбора, без всяких объяснений, и я думаю, что в этом

мой желания, все мои мысли, *все, все, все в вас...* Ах, Наталья Александровна, ведь как вы прекрасны, как милы, как высоки, как — но не могу уж выразить. Право, это не выученные слова, прямо из сердца...

В другом письме она благодарит за то, что «барышня» часто пишет ей. «Это уж слишком, — говорит она, — впрочем, ведь это *вы, вы*», и заключает письмо словами: «Все мешают, обнимаю вас, мой ангел, со всею истинной, безмерной любовью. Благословите меня!»

не было вреда; есть организации, которым никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которые всего лучше идут там, где нет решетки.

Вскоре прибавилось другое лицо, продолжавшее светское влияние корчевской кузины. Княгиня наконец решилась взять гувернанту и, чтоб недорого платить, пригласила молодую *русскую* девушку*, только что выпущенную из института.

Русские гувернанты у нас нипочем, по крайней мере так еще было в тридцатых годах, а между тем, при всех недостатках, они все же лучше большинства *француженок* из Швейцарии, бессрочноотпускных лореток и отставных актрис, которые с отчаянья бросаются на воспитание как на последнее средство доставать насущный хлеб, — средство, для которого не нужно ни таланта, ни молодости, ничего, кроме произношения «гrrра» и манер *d'une dame de comptoir*¹, которые часто у нас по провинциям принимаются за «хорошие» манеры. Русские гувернанты выпускаются из институтов или из воспитательных домов, стало быть, все же имеют какое-нибудь правильное воспитание и не имеют того *мещанского pli*², которое вывозят иностранки.

Нынешних *французских* воспитательниц не надобно смешивать с теми, которые приезжали в Россию до 1812 года. Тогда и Франция была меньше *мещанской* и приезжавшие женщины принадлежали совсем другому слою. Долею это были дочери эмигрантов, разорившихся дворян, вдовы офицеров, часто их покинутые жены. Наполеон женил своих воинов в том роде, как наши помещики женят дворовых людей, — не очень заботясь о любви и наклонностях. Он хотел браками сблизить дворянство пороха с старым дворянством; он хотел оболванить своих Скалозубов женами. Привычные к слепому повиновению, они венчались беспрекословно, но вскоре бросали своих жен, находя их слишком чопорными для казарменных и бивачных вечеринок. Бедные женщины плелись в Англию, в Австрию, в Россию. К числу прежних гувернант принадлежала *французенка*, гаспавшая у княгини. Она говорила с улыбкой, отборным слогом и никогда не употребляла ни одного сильного выражения. Она вся состояла из хороших манер и никогда ни на минуту

¹ приказчицы (франц.).— *Ред.*

² налета (франц.).— *Ред.*

не забывалась. Я уверен, что она ночью в постеле больше предавала, как следует спать, нежели спала.

Молодая институтка была девушка умная, бойкая, энергичная, с прибавкой пансионской восторженности и врожденного чувства благородства. Деятельная и пылкая, она внесла в существование ученицы-подруги больше жизни и движения.

Унылая, грустная дружба к увядающей Сапе имела печальный, траурный отблеск. Она вместе с словами диакона и с отсутствием всякого развлечения удаляла молодую девушку от мира, от людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и с тем вместе сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на месте; оно стягивало на землю, на действительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла несколько наружных форм Эмилии; улыбка чаще стала показываться, разговор становился живее, но через год времени натуры двух девушек заняли места по удельному весу. Рассеянная, милая Эмилия склонилась перед сильным существом и совершенно подчинилась ученице, видела ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой, ее дружбой.

Перед окончанием курса я стал чаще ходить в дом княгини. Молодая девушка, казалось, радовалась, когда я приходил, иногда вспыхивал огонь на щеках, речь оживлялась, но тотчас потом она входила в свой обыкновенный, задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваянья или «деву чужбины» Шиллера *, останавливавшую всякую близость.

Это не было ни отчуждение, ни холодность, а внутренняя работа — чужая другим, она еще себе была *чужою* и больше предчувствовала, нежели знала, что в ней. В ее прекрасных чертах было что-то недоконченное, певысказавшееся, им недоставало одной искры, одного удара резцом, который должен был решить, назначено ли ей истомиться, завянуть на песчаной почве, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить, — может, страдать, даже наверное страдать, *но много жить*.

Печать жизни, выступившей на полудетском лице ее, я первый увидел накануне долгой разлуки.

Памятен мне этот взгляд, иначе освещенный, и все черты,

вдруг изменившие значение, будто проникнутые иною мыслию, илым огнем... будто тайпа разгадана и внутренний туман рассеян. Это было в тюрьме*. Десять раз прощались мы, и все еще не хотелось расстаться; наконец, моя мать, приезжавшая с Natalie¹ в Крутицы, решительно встала, чтоб ехать. Молодая девушка вздрогнула, побледнела, крепко, не по своим силам, сжала мне руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александр, не забывай же сестры».

Жандарм проводил их и принялся ходить взад и вперед. Я бросился на постель и долго смотрел на дверь, за которой исчезло это светлое явление. «Нет, брат твой не забудет тебя», — думал я.

На другой день меня везли в Пермь, но прежде, нежели я буду говорить о разлуке, расскажу, что еще мне мешало перед тюрьмой лучше понять Natalie, больше сблизиться с нею. Я был влюблен!

Да, я был влюблен, и память об этой юношеской, чистой любви мне мила, как память весенней прогулки на берегу моря, среди цветов и песен. Это было сновидение, навевшее много прекрасного и исчезнувшее, как обыкновенно сновиденья исчезают!

Я говорил уже прежде, что мало женщин было во всем нашем кругу, особенно таких, с которыми бы я был близок; моя дружба, сначала пламенная, к корчевской кузине припала мало-помалу ровный характер, после ее замужества мы видались реже, потом она уехала. Потребность чувства больше теплого, больше нежного, чем наша мужская дружба, неопределенно бродила в сердце. Все было готово, недоставало только «нее».

¹ Я очень хорошо знаю, сколько аффекации в французском переводе имен, но как быть — имя дело традиционное, как же его менять? К тому же все неславянские имена у нас как-то усечены и менее звучны, — мы, воспитанные отчасти «не в отеческом законе»*, в нашу молодость «романизировали» имена, предрежащие власти «славянизируют» их. С производством в чины и с приобретением силы при дворе, меняются буквы в имени; так, например, граф Строганов остался до конца дней *Сергей Григорьевичем*, но князь Голицын всегда назывался *Сергий Михайлович*. Последний пример производства по этой части мы заметили в известном по 14 декабря генерале Ростовцеве: во все царствование Николая Павловича он был Яков, так, как Яков Долгорукий, но с воцарения Александра II он сделался Иаков, так, как брат божий!

В одном из знакомых нам домов была молодая девушка*, с которой я скоро подружился; странный случай сблизил нас. Она была помолвлена, вдруг вышла какая-то ссора, жених оставил ее и уехал куда-то на другой край России. Она была в отчаянии, огорчена, оскорблена; с искренним и глубоким участием смотрел я, как горе разъедало ее; не смея заикнуться о причине, я старался рассеять ее, утешить, носил романы, сам их читал вслух, рассказывал целые повести и иногда не приготавливался вовсе к университетским лекциям, чтоб подольше посидеть с огорченной девушкой.

Мало-помалу слезы ее становились реже, улыбка светилась по временам из-за них; отчаянье ее превращалось в томную грусть; скоро ей сделалось страшно за прошедшее, она боролась с собой и отстаивала его против настоящего из сердечного *point d'honneur*¹, как воин отстаивает знамя, понимая, что сражение потеряно. Я видел эти последние облака, едва задержанные у небосклопа, и, сам увлеченный и с бьющимся сердцем, тихо-тихо вынимал из ее рук знамя, а когда она перестала его удерживать, — я был влюблен. Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи, я писал ей в прозе целые диссертации, а потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах, она была на все готова. Внешняя сторона жизни никогда не рисовалась светлой в наших фантазиях, обреченные на бой с чудовищною силою, успех нам казался почти невозможным. «Будь моей Гаетаной», — говорил я ей, читая «Изувеченного» Саптина, и воображал, как она проводит меня в сибирские рудники.

«Изувеченный» — это тот поэт, который написал пасквиль на Сикста V и выдал себя, когда папа дал слово не казнить виновного смертью. Сикст V велел ему отрубить руки и язык. Образ несчастного страдальца, задыхающегося от собственной полноты мыслей, которые теснятся в его голове, не находя выхода, не мог не нравиться нам тогда. Грустный и истомленный взгляд страдальца успокаивался только и останавливался с благодарностью и остатком веселья на девушке, которая любила его прежде и не изменила ему в несчастье; ее-то звали Гаетаной.

Этот первый опыт любви прошел скоро, но он был совершен-

¹ собственного понятия о чести (франц.). — *Ред.*

но искренен. Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего девятнадцатилетнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют?

И неужели ты, моя Гаэтана, не с той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрече, неужели что-нибудь горькое пришивается к памяти обо мне через двадцать два года? Мне было бы это очень больно. И где ты? И как прожила жизнь?

Я свою дожид и плетусь теперь под гору, сломленный и нравственно «изувеченный», не ищу никакой Гаэтаны, перебираю старое и память о тебе встретил радостно... Помнишь угольное окно против небольшого переулочка, в который мне надобно было заворачивать, ты всегда подходила к нему, провожая меня, и как бы я огорчился, если б ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мне приходилось повернуть.

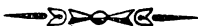
А встретить тебя в самом деле я не хотел бы. Ты в моем воображении осталась с твоим юным лицом, с твоими кудрями blond cendré¹; останься такою; ведь и ты, если вспоминаешь обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взглядом, с огненной речью; так и помни и не знай, что взгляд потух, что я отяжелел, что морщины прошли по лбу, что давно нет прежнего светлого и оживленного выражения в лице, которое Огарев называл «выражением надежды», да нет и надежд.

Друг для друга мы должны быть такими, какими были тогда... ни Ахилл, ни Диана не стареются... Не хочу встретиться с тобою, как Ларина с княжной Алиной:

Кузина, помнишь Грандисона? —
«Как? Грандисон?.. А, Грандисон!»
В Москве, живет у Симеона.
Меня в сочельник навестил,
Недавно сына он женил *.

...Последнее пламя потухавшей любви осветило на минуту тюремный свод, согрело грудь прежними мечтами, и каждый пошел своим путем. Она уехала в Украину, я собирался в ссылку. С тех пор не было вести об ней.

¹ цепельного цвета (франц.). — *Ред.*



ГЛАВА XXI

РАЗЛУКА

«Ах, люди, люди злые,
Вы их разрознили...»

Так оканчивалось мое первое письмо* к Natalie, и замечательно, что, испуганный словом «сердцá», я его не написал, а написал в конце письма «Твой брат» *.

Как дорога мне была уже тогда моя *сестра* и как непрерывно в моем уме, видно из того, что я писал к ней из Нижнего, из Казани и на другой день после приезда в Пермь. Слово *сестра* выражало все сознание в нашей симпатии; оно мне бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не как *предел*, а, напротив, как смешение их, в нем соединены дружба, любовь, кровная связь, общее предание, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называл прежде этим именем, и оно было мне так дорого, что я и впоследствии часто называл *l'ami* так.

Прежде нежели я вполне понял наше отношение и, может, именно оттого, что не понимал его вполне, меня ожидал иной искуc, который мне не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаеtanой, — искуc, смиривший меня и стойивший мне много печали и внутренней тревоги.

Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно мне чуждый, после девятимесячной тюрьмы, я жил сначала рассеянно, без оглядки, новый край, новая обстановка рябили перед глазами. Мое общественное положение изменилось. В Перми, в Вятке на меня смотрели совсем иначе, чем в Москве; там я был молодым человеком, жившим в родительском

доме, здесь, в этом болоте, я стал на свои ноги, был принимаем за чиновника, хотя и не был вовсе им. Не трудно было мне догадаться, что без большого труда я мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе.

В Перми я не успел оглядеться, там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли я корову! Вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студентской жизни. Но в Вятке я перезнакомился со всем светом, особенно с молодым купечеством, которое там гораздо образованнее купечества внутренних губерний, хотя кутить любит не меньше. Сбитый канцелярией с моих занятий, я вел беспokoйно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствии опытности можно было ждать ряд всякого рода столкновений.

В силу кокетливой страсти de l'approbativité¹ я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружил по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась нелепой ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, в непостоянстве.

Я сначала жил в Вятке не один. Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни, при всех важных событиях ее, — лицо, которое тонет для того, чтоб меня познакомить с Огаревым, и машет фуляром с русской земли, когда я переезжаю таурогенскую границу, — словом, К. И. Зонненберг жил со мною в Вятке; я забыл об этом, рассказывая мою ссылку.

Случилось это так. В то время, как меня отправляли в Пермь, Зонненберг собирался на ирбитскую ярмарку. Отец мой, любивший всегда усложнять простые дела, предложил Зонненбергу заехать в Пермь и там *монтировать мой дом*; за это он брал на себя путевые издержки.

¹ нравиться (франц.). — *Ред.*

В Перми Зонненберг ревностно принялся за дело, т. е. за покупку ненужных вещей, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталу, запасов; он сам ездил на Обву, чтоб приобрести *ex ipso fonte* ¹ вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели в Вятку. Мы распродали за полцены купленное добро и оставили Пермь. Зонненберг, добросовестно исполняя волю моего отца, счел необходимым ехать также и в Вятку «монтировать» мой дом. Отец мой так был доволен его преданностью и самоотвержением, что положил ему сто рублей жалованья в месяц, пока он будет у меня. Это было выгоднее и вернее Ирбита — и он не торопился меня оставить.

В Вятке он уже купил не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества. Карл Иванович, — мы уже говорили это, — несмотря на свой пятидесятилетний возраст и на значительные недостатки в лице, был большой волокита и был приятно уверен, что всякая женщина и девушка, подходящая к нему, подвергается опасности мотылька, летающего возле зажженной свечи. Действие, произведенное лошадьми, Карл Иванович утратить не хотел и старался вывести из него пользу по эротической части. К тому же все обстоятельства ему способствовали. У нас был балкон, выходящий на двор, за которым начинался сад. С десяти часов утра Зонненберг в казанских *ичигах*, вшитой золотом *тибитейке* и в кавказском бешмете, с огромным янтарным мундштуком во рту, сидел на вахте, делая вид, будто читает. Тибитейка и янтарь — все это было направлено на трех барышень, живших в соседнем доме. Барышни, с своей стороны, занимались приезжими и с любопытством рассматривали восточную куклу, кутившую на балконе. Карл Иванович знал, когда и как тайком они подымали стору, находил, что дела его идут успешно, и нежно выпускал дым легкой струйкой по заветному направлению.

Вскоре сад представил нам возможность познакомиться с соседками. У нашего хозяина было три дома, сад был общий. Два дома были заняты: в одном жили мы и сам хозяин с своей

¹ из самого источника (лат.).— *Ред.*

мачехой — толсто-мягкой вдовой, которая так матерински и с такой ревностью за ним присматривала, что он только украдкой от нее разговаривал с садовыми дамами; в другом жили барышни с своими родителями; третий стоял пустой. Карл Иванович через неделю был свой человек в дамском обществе нашего сада, он постоянно по несколько часов в день качал барышень на качелях, бегал за мантильями и зонтиками, словом, был *aux petits soins*¹. Барышни с ним дурачились больше, чем с другими, именно потому, что его еще меньше можно было подозревать, чем жену Цезаря; при взгляде на него останавливалось всякое, самое отважное злоречие.

По вечерам ходил и я в сад по тому табунному чувству, по которому люди без всякого желания делают то же, что другие. Туда, сверх жильцов, приходили их знакомые, главный предмет занятий и разговоров было волокитство и подсматривание друг за другом. Карл Иванович с неусыпностью Видока предавался сентиментальному шпионству, знал, кто с кем чаще гуляет, кто на кого непросто смотрит. Я был страшным камнем преткновения для всей тайной полиции нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всех стараниях не могли открыть, за кем я ухаживаю, кто мне особенно правится, что, действительно, было не легко: я решительно ни за кем не ухаживал, и все барышни мне не особенно нравились. Это, наконец, им надоело и оскорбило их, меня стали считать гордым, насмешником, и дружба барышень заметно стыла, хотя в одиночку каждая пробовала на мне самые опасные взгляды свои.

Среди всех этих обстоятельств одним утром Карл Иванович сообщил мне, что хозяйская кухарка с утра открыла ставни третьего дома и моет окна. Дом был занят каким-то приезжим семейством.

Сад занялся исключительно подробностями о новоприезжих. Незнакомая дама, усталая с дороги или еще не успевшая разобраться, как назло, не являлась к нам в воксал. Ее старались увидеть в окно или в сенях, иным удавалось, другие тщетно караулили целые дни, видевшие находили ее бледной, томной, словом, интересной и недурной. Барышни говорили, что она

¹ крайне предупредителен (франц.). — *Ред.*

печальна и болезненна, молодой губернаторский чиновник, палун и очень неглупый малый, один знал присезжих. Он служил прежде в одной губернии с ними, все пристали к нему с распросами.

Разбитной чиновник, довольный, что знает чего другие не знают, толковал без конца о достоинствах новоприсезжих; он ее превозносил, называл ее столичной дамой.

— Она умна, — повторял он, — мила, образованна, на нашего брата и не посмотрит. Ах, боже мой, — прибавил он, вдруг обращаясь ко мне, — вот чудесная мысль, поддержите честь вятского общества, поволочитесь за ней... Ну, знаете, вы из Москвы, в ссылке, верно, пишете стихи, — это вам с неба подарок.

— Какой вы вздор порете, — сказал я ему смеясь, однако вспыхнул в лице — мне захотелось ее видеть.

Через несколько дней я встретился с ней в саду, она в самом деле была очень интересная блондина; тот же господин, который говорил об ней, представил меня ей, я был взволнован и так же мало умел это скрыть, как мой патрон — улыбку.

Самолюбивая застенчивость прошла, я познакомился с ней — она была очень несчастна и, обманывая себя мнимым спокойствием, томилась и исходила в какой-то праздности сердца.

Р. * была одна из тех скрытно-страстных женских натур, которые встречаются только между блондинами, у них пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами; они бледнеют от волнения и глаза их не искрятся, а скорее тухнут, когда чувства выступают из берегов. Утомленный взор ее выбивался из сил, стремясь к чему-то, несытая грудь неровно подымалась. Во всем существе ее было что-то беспокойное, электрическое. Часто, гуляя по саду, она вдруг бледнела и, смущенная или встревоженная изнутри, отвечала рассеянno и торопилась домой; я именно в эти минуты любил смотреть на нее.

Внутреннюю жизнь ее я вскоре разглядел. Она не любила мужа и не могла его любить; ей было лет двадцать пять, ему за пятьдесят — с этим, может, она бы сладила, но различие образования, интересов, характеров было слишком резко.

Муж почти не выходил из комнаты; это был сухой, черствый старик, чиновник с притязанием на помещичество, раздражи-

тельный, как все больные и как почти все люди, потерявшие состояние. Ей было шестнадцать лет, когда ее отдали замуж; он имел достаток, но впоследствии все проиграл в карты и принужден был жить службой. Года за два до перевода в Вятку он начал хиреть, какая-то рана на ноге развилась в костоеду, старик сделался угрюм и тяжел, боялся своей болезни и смотрел взглядом тревожной и беспомощной подозрительности на свою жену. Она грустно и самоотверженно ходила за ним, но это было исполнение долга. Дети не могли удовлетворить всему — чего-то просило незанятое сердце.

Раз вечером, говоря о том о сем, я сказал, что мне бы очень хотелось послать моей кузине портрет, но что я не мог найти в Вятке человека, который бы умел взять карандаш в руки.

— Дайте, я попробую, — сказала соседка, — я когда-то довольно удачно делала портреты черным карандашом.

— Очень рад. Когда же?

— Завтра перед обедом, если хотите.

— Разумеется. Я приду в час.

Все это было при муже; он не сказал ни слова.

На другой день утром я получил от соседки записку; это была первая записка от нее. Она очень вежливо и осторожно уведомляла меня, что муж ее недоволен тем, что она мне предложила сделать портрет, просила снисхождения к капризам больного, говорила, что его надобно щадить, и в заключение предлагала сделать портрет в другой день, не говоря об этом мужу, чтоб его не беспокоить.

Я горячо, может, через край горячо, благодарил ее, тайное делание портрета не принял, но тем не меньше эти две записки сблизили нас много. Отношения ее к мужу, до которых я никогда бы не коснулся, были высказаны. Между мною и ею невольно составлялось тайное соглашение, лига против него.

Вечером я пришел к ним, — ни слова о портрете. Если б муж был умнее, он должен бы был догадаться о том, что было; но он не был умнее. Я взглядом поблагодарил ее, она улыбкой отвечала мне.

Вскоре они переехали в другую часть города. Первый раз, когда я пришел к ним, я застал соседку одну, в едва меблиро-

ванной зале; она сидела за фортепьяно, глаза у нее были сильно заплаканы. Я просил ее продолжать; но музыка не шла, она ошибалась, руки дрожали, цвет лица менялся.

— Как здесь душно! — сказала она, быстро вставая из-за фортепьяно.

Я молча взял ее руку, слабую, горячую руку; голова ее, как отяжелевший венчик, страдательно повинувшись какой-то силе, склонилась на мою грудь, она прижала свой лоб и мгновенно исчезла.

На другой день я получил от нее записку, несколько испуганную, старавшуюся бросить какую-то дымку на вчерашнее; она писала о страшном нервном состоянии, в котором она была, когда я взшел, о том, что она едва помнит, что было, извинялась — но легкий вуаль этих слов не мог уж скрыть страсть, ярко просвечивавшуюся между строк.

Я отправился к ним. В этот день мужу было легче, хотя на новой квартире он уже не вставал с постели; я был монтирован¹, дурачился, сыпал остротами, рассказывал всякий вздор, морил больного со смеху, и, разумеется, все это для того, чтоб заглушить ее и мое смущение. Сверх того, я чувствовал, что смех этот увлекает и пьянит ее.

...Прошли недели две. Мужу было все хуже и хуже, в половину десятого он просил гостей удалиться, слабость, худоба и боль возрастали. Одним вечером, часов в девять, я простился с больным. Р. пошла меня проводить. В гостиной полный месяц стлал по полу три косые бледнофиолетовые полосы. Я открыл окно, воздух был чист и свеж, меня так им и обдало.

— Какой вечер! — сказал я. — И как мне не хочется идти. Она подошла к окну.

— Побудьте немного здесь.

— Невозможно, я в это время переменяю повязку.

— Приходите после, я вас подожду.

Она молчала, я взял ее руку.

— Ну приходите же. Я вас прошу... Придете?

— Право, нельзя, я сначала надеваю блузу.

¹ возбужден, «взвинчен», от être monté (франц.).— *Ред.*

— Приходите в блузе, я вас утром заставлял несколько раз в блузе.

— А если вас кто-нибудь увидит?

— Кто? Человек ваш пьян, отпустите его спать, а ваша Дарья... верно, любит вас больше, чем вашего мужа,— да она и со мной приятельница. Да и что же за беда? Помилуйте, ведь теперь десятый час,— вы хотели мне что-нибудь поручить, просили подождать...

— Без свечей...

— Велите принести. А впрочем, эта ночь стоит дня.

Она еще сомневалась.

— Приди же — приди! — шептал я ей на ухо, первый раз так обращаясь к ней.

Она вздрогнула.

— Приду — но только на минуту.

...Я ждал ее больше получаса... Все было тихо в доме, я мог слышать оханье и кашель старика, его медленный говор, передвижанье какого-то стола... Хмельной слуга приготавливал, посвящая, на завалке в передней свою постель, выругался и через минуту захрапел... Тяжелая ступня горничной, выходявшей из спальни, была последним звуком... Потом тишина, стон больного и опять тишина... вдруг шелест, скрипнул пол, легкие шаги — и белая блузка мелькнула в дверях...

Ее волнение было так сильно, что она сначала не могла произнести ни одного слова, ее губы были холодны, ее руки — как лед. Я чувствовал, как страшно билось ее сердце.

— Я исполнила *твое* желание,— сказала она, наконец.— Теперьпусти меня... Прощай... ради бога прощай, поди и ты домой,— прибавила она печально умоляющим голосом.

Я обнял ее и крепко, крепко прижал ее к груди.

— Друг мой... иди же!

Это было невозможно... *Troppo tardi...*¹ Оставить ее в мипуту, когда у нее, у меня так билось сердце — это было бы сверхчеловеческих сил и очень глупо... Я не пошел — она осталась. ...Месяц прокладывал свои полосы в другую сторону. Она сидела у окна и горько плакала... Я целовал ее влажные глаза, ути-

¹ Слишком поздно (итал.).— *Ред.*

рал их прядями косы, упавшей на бледно-матовое плечо, которое вбирало в себя месячный свет, терявшийся без отражения в нежно тусклом отлив.

Мне было жаль оставить ее в слезах, я ей болтал полушепотом какой-то бред... Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнуло из-за слез столько счастья, что я улыбнулся. Она как будто поняла мою мысль, закрыла лицо обеими руками и встала... Теперь было в самом деле пора, я отнял ее руки, расцеловал их, ее — и вышел.

Тихо выпустила меня горничная, мимо которой я прошел, не смея взглянуть ей в лицо. Отяжелевший месяц садился огромным красным ядром — заря занималась. Было очень свежо, ветер дул мне прямо в лицо — я вдыхал его больше и больше, мне надобно было освежиться. Когда я подходил к дому — вспло солнце, и добрые люди, встречавшиеся со мной, удивлялись, что я так рано встал «воспользоваться хорошей погодой».

С месяц продолжался этот запой любви; потом будто сердце устало, истощилось — на меня стали находить минуты тоски; я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне, — а любовь стыла себе да стыла.

Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед граждански-церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унижительной: лицемерие и двоедушие — два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем; но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье.

Одним утром Матвей взмошел ко мне в спальню с вестью, что старик Р. «приказал долго жить». Мною овладело какое-то странное чувство при этой вести, я повернулся на другой бок и не торопился одеваться: мне не хотелось видеть мертвеца. Взошел Витберг, совсем готовый. «Как? — говорил он, — вы еще в постеле! Разве вы не слыхали, что случилось? Чай, бедная Р. одна, пойдемте проведать, одевайтесь скорее».

Я оделся — мы пошли.

Мы застали Р. в обмороке или в каком-то нервном летаргическом сне. Это не было притворством; смерть мужа напомнила

ей ее беспомощное положение; она оставалась одна с детьми в чужом городе, без денег, без близких людей. Сверх того, у ней бывали и прежде при сильных потрясениях эти нервные ошеломления, продолжавшиеся по нескольку часов. Бледная, как смерть, с холодным лицом и с закрытыми глазами, лежала она в этих случаях, изредка захлебываясь воздухом и без дыханья в промежутках.

Ни одна женщина не приехала помочь ей, показать участие, посмотреть за детьми, за домом. Витберг остался с нею; пророк-чиновник и я — взялись за хлопоты.

Старик, исхудалый и почернелый, лежал в мундире на столе, насупив брови, будто сердился на меня; мы положили его в гроб, а через два дня опустили в могилу. С похорон мы воротились в дом покойника; дети в черных платьицах, обшитых аллюрезами, жались в углу, больше удивленные и испуганные, чем огорченные; они шептались между собой и ходили на цыпочках. Не говоря ни одного слова, сидела Р., положив голову на руку, как будто что-то обдумывая.

В этой гостиной, на этом диване я ждал ее, прислушиваясь к стону больного и к брани пьяного слуги. Теперь все было так черно... Мрачно и смутно вспоминались мне, в похоронной обстановке, в запахе ладана — слова, минуты, на которых я все же не мог не останавливаться без нежности.

Печаль ее улеглась мало-помалу, она тверже смотрела на свое положение; потом мало-помалу и другие мысли прояснили ее озабоченное и унылое лицо. Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то — вопроса... ответа...

Я молчал — и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться.

Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах, — любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь иной порядок мыслей, и этот страстный порыв словно для того обнял меня, чтоб уяснить мне самому иное чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание — я был искренен в моем увлечении.

В то время как я терял голову и не знал, что делать, пока я

ждал с маяодушной слабостью случайной перемены от времени, от обстоятельств, время и обстоятельства еще больше усложнили положение.

Тюфяев, видя беспомощное состояние вдовы, молодой, красивой собой и брошенной без всякой опоры в дальнем, ей чуждом городе, как настоящий «отец губернии», обратил на нее самую нежную заботливость. Сначала мы все думали, что действительно он принимает в ней участие. Но вскоре Р. с ужасом заметила, что его внимание совсем не просто. Два-три развратных губернатора воспитали вятских дам, и Тюфяев, привыкший к ним, не откладывая в долгий ящик, прямо стал говорить ей о своей любви. Р., разумеется, отвечала ему холодным презрением и насмешкой на его старческие любезности. Тюфяев не считал себя побитым и продолжал наглое ухаживанье. Видя, впрочем, что дело мало подвигается, он дал ей почувствовать, что судьба ее детей в его руках и что без него она их не поместит на казенный счет, а что он, с своей стороны, хлопотать не будет, если она не переменит с ним своего холодного обращения. Оскорбленная женщина вскочила уязвленным зверем.

— Извольте вон идти! И чтоб нога ваша не смела переступить моего порога! — сказала она ему, указывая дверь.

— Фу, какие вы сердитые! — сказал Тюфяев, обращая дело в шутку.

— Петр, Петр! — закричала она в переднюю, и испуганный Тюфяев, боясь огласки, задыхаясь от бешенства, пристыженный и униженный, бросился в свою карету.

Вечером Р. рассказала все случившееся Витбергу и мне. Витберг тотчас понял, что обратившийся в бегство и оскорбленный волокита не оставит в покое бедную женщину, — характер Тюфяева был довольно известен всем нам. Витберг решился, во что б то ни стало, спасти ее.

Гонения начались скоро. Представление о детях было написано так, что отказ был неминуем. Хозяин дома, лавочники требовали с *особенной* настойчивостью уплаты. Бог знает, что можно было еще ожидать; шутить с человеком, уморившим Петровского в сумасшедшем доме, не следовало.

Витберг, обремененный огромной семьей, задавленный бедностью, не задумался ни на минуту и предложил Р. переехать с

детьми к нему, на другой или третий день после приезда в Вятку его жены. У него Р. была спасена, такова была нравственная сила этого сосланного. Его непреклонной воли, его благородного вида, его смелой речи, его презрительной улыбки боялся сам вятский Шемяка.

Я жил в особом отделении того же дома и имел общий стол с Витбергом; и вот, мы очутились под одной крышей — именно тогда, когда должны были бы быть разделены морями.

В этой близости она поняла, что былого не воротить.

Зачем она встретила именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармонии была так возможна для нее! Бедная, бедная Р.! Винават ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?

...Сбитый с толку, предчувствуя несчастья, недовольный собою, я жил в каком-то тревожном состоянии; снова кутил, искал рассеяния в шуме, досадовал за то, что находил его, досадовал за то, что не находил, и ждал, как чистую струю воздуха среди пыльного жара, несколько строк из Москвы от Natalie. Надо всем этим брожением страстей всходил светлее и светлее кроткий образ ребенка-женщины. Порыв любви к Р. уяснил мне мое собственное сердце, раскрыл его тайну.

Увлекаясь больше и больше моей симпатией к отсутствующей кухне, я не давал себе именно отчета в чувстве, связывавшем меня с ней. Я к нему привык и не следил за тем, изменилось оно или нет.

Мои письма становились все тревожнее; с одной стороны, я глубоко чувствовал не только свою вину перед Р., но новую вину лжи, которую брал на себя молчанием. Мне казалось, что я пал, не достоин иной любви... а любовь росла и росла.

Имя сестры начинало теснить меня, теперь мне недостаточно было дружбы, это тихое чувство казалось холодным. Любовь ее видна из каждой строки ее писем, но мне уж и этого мало, мне нужно не только любовь, но и самое слово, и вот я пишу: «Я сделаю тебе странный вопрос: веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, — одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, — одна дружба? — *Я не верю*»*.

«Ты что-то смущен, — отвечает она, — я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чем меня. Успокойся, друг мой, оно не переменяло во мне решительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше»*.

Но слово было произнесено; «туман исчез, — пишет она, — опять светло и ясно»*.

Она радостно, безоблачно отдавалась названному чувству, письма ее — одна отроческая песнь любви, поднимающаяся от детского лепета до могучего лиризма.

«Может, ты сидишь теперь, — пишет она, — в кабинете, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взор углублен в неопределенную даль, и нет ответа на приветствие взошедшего. Где же твои думы? Куда стремится взор? Не давай ответа — пусть придут ко мне»*.

«...Будем детьми, назначим час, в который нам обоим непременно быть на воздухе, — час, в который мы будем уверены, что нас ничего не делит, кроме одной дали. В восемь часов вечера и тебе, верно, свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо — да тотчас возвратилась, думая, что ты был в комнате»*.

«...Глядя на твои письма, на портрет*, думая о моих письмах, о браслете*, мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь. Вещи, которые были для нас святыней, которые лечили наше тело и душу, с которыми мы беседовали и которые нам заменяли несколько друг друга в разлуке; все эти орудия, которыми мы оборонялись от людей, от ударов рока, от самих себя, что будут они после нас? Останется ли в них сила их, их душа? разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страдания, нашу любовь, будет ли им в награду хоть одна слеза? Как грустно становится, когда воображу, что портрет твой, наконец, будет висеть безвестным в чьем-нибудь кабинете, или, может, какой-нибудь ребенок, играя им, разобьет стекло и сотрет черты»*.

Не таковы мои письма¹: середь полной, восторженной любви пробиваются горькие звуки досады на себя, раскаяния, немой

¹ Разница между слогом писем Natalie и моим очень велика, особенно в начале переписки; потом он уравнивается и впоследствии делается

укор Р. гложет сердце, мутит светлое чувство, я казался себе лгуном, а ведь я не лгал.

Как же мне было признаться, как сказать Р. в январе, что я ошибся в августе, говоря ей о своей любви? Как она могла поверить в истину моего рассказа — новая любовь была бы понятнее, измена — проще. Как мог дальний образ отсутствующей вступить в борьбу с настоящим, как могла струя другой любви пройти через этот горн и выйти больше сознанный и сильной — все это я сам не понимал, а чувствовал, что все это правда.

Наконец сама Р., с неуловимой ловкостью ящерицы, ускользала от серьезных объяснений, она чуяла опасность, искала отгадки и в то же время отдаляла правду. Точно она предвидела, что мои слова раскроют страшные истины, после которых все будет копчено, и она обрывала речь там, где она становилась опасною.

Сначала она осмотрелась кругом, несколько дней она находила себе соперницу в молодой, милой, живой немке, которую я любил, как дитя, с которой мне было легко именно потому, что ни ей не приходило в голову кокетничать со мною, ни мне с ней. Через неделю она увидела, что Паулина * вовсе не опасна. Но я не могу идти дальше, не сказав несколько слов о ней.

В вятской аптеке приказа общественного призрения был аптекарь-немец, и в этом нет ничего удивительного, но удивительно было то, что его гезель¹ был русский, а назывался Болман. Вот с ним-то я и познакомился; он был женат на дочери какого-то вятского чиновника, у которой была самая длинная, густая и красивая коса из всех виденных мною. Самого аптекаря, Фердинанда Рулковиуса, не было налицо, и мы с Болманом пили разные «шипучки» и художественные «желудочные»

сходен. В моих письмах рядом с истинным чувством — ломанные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и новых французских романистов. Ничего подобного в ее письмах, — язык ее прост, поэтичен, истинен, на нем заметно одно влияние — влияние евангелия. Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, потому что это не был мой язык. Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное еовершеннoлетие начинается для человека только тогда, когда его слог устанавливается и принимает свой последний склад.

¹ подмастерье (нем. Gesell). — *Ред.*

настоятки фармацевта. Аптекарь был в Ревеле; там он познакомился с какой-то молодой девушкой и предложил ей руку; девушка, едва знавшая его, шла за него очертя голову, как следует девушке вообще и немке в особенности, она даже не имела понятия, в какую дичь он ее везет. Но когда после свадьбы пришлось собираться, страх и отчаяние овладели ею. Чтоб утешить новобрачную, аптекарь пригласил ехать с ними в Вятку молодую девушку лет семнадцати, дальнюю родственницу его жены; она, еще более очертя голову и уже совсем не зная, что такое «Вятка», согласилась. Обе немки не говорили ни слова по-русски, в Вятке не было четырех человек, говоривших по-немецки. Даже учитель немецкого языка в гимназии не знал его; это меня до того удивило, что я решился его спросить, как же он преподает.

— По грамматике, — отвечал он, — и по диалогам.

Он объяснял при этом, что он, собственно, учитель математики, но покамест, за недостатком вакансии, преподает немецкий язык, и что, впрочем, он получает половинный оклад¹. Немки пропадали со скуки и, увидевши человека, который если не хорошо, то понятно мог объясняться по-немецки, пришли в совершенный восторг, запоили меня кофеем и еще какой-то «калтешале»², рассказали мне все свои тайны, желания и надежды и через два дня называли меня другом и еще больше потчевали сладкими мучнистыми яствами с корицей. Обе были дсвовольно образованны, т. е. знали на память Шиллера, поигрывали на фортепиано и пели немецкие романсы. Этим сходство, впрочем, между ними и окончивается. Аптекарьша была белокурая, лимфатическая, высокая, очень недурная собой, но вялая и сонная женщина, она была чрезвычайно добра, да и трудно было при такой комплекции быть злою. Убедившись однажды, что ее муж — муж ее, она тихонько и ровненько любила его, занималась кухней и бельем, читала в свободные минуты романы и в свое время благополучно родила аптекарю дочь, белобрысую и золотушную.

¹ Зато «просвещенное» начальство определило в той же вятской гимназии известного ориенталиста, товарища Ковалевского и Мицкевича, — Верниковского, посланного по делу филаретов*, учителем французского языка.

² прохладительным напитком (нем. kalte Schale). — *Ред.*

Подруга ее, небольшого роста, смуглая брюнетка, крепкая здоровьем, с большими черными глазами и с самобытным видом, была коренастая, народная красота; в ее движениях и словах видна была большая энергия, и когда, бывало, аптекарь, существо скучное и скупое, делал не очень вежливые замечания своей жене и та их слушала с улыбкой на губах и слезой на реснице, Паулина краснела в лице и так взглядывала на расхो-дившегося фармацевта, что тот мгновенно умирался, делал вид, что очень занят, и уходил в лабораторию мешать и толочь всякую дрянь для восстановления здоровья вятских чиновников.

Мне нравилась наивная девушка, которая за себя постоять умела, и не знаю, как это случилось, но ей первой рассказал я о моей любви, ей переводил письма. Тот только знает цену этой сердечной болтовни, кто жилал долго, годы целые с людьми совершенно посторонними. Я редко говорю о чувствах, но бывают минуты, в которые потребность высказаться становится невыносимой, даже *теперь*. А тогда мне было двадцать четыре года, и я только что понял мою любовь. Я мог переносить разлуку, перенес бы и молчание, но, встретившись с другим ребенком-женщиной, в котором все было так непритворно просто, я не мог удержаться, чтоб не разболтать ей мою тайну. Да и как же она была мне благодарна за то, и сколько добра сделала она мне!

Всегда серьезная беседа Витберга иной раз утомляла меня, мучимый моим тяжелым отношением к Р., я не мог быть при ней свободен. Часто вечером уходил я к Паулине, читал ей пустые повести, слушал ее звонкий смех, слушал, как она нарочно для меня пела «*Das Mädchen aus der Fremde*»*, под которой я и она понимали другую *деву чужбины*, и облака рассеивались, на душе мне становилось искренно весело, безмятежно спокойно, и я с миром уходил домой, когда аптекарь, окончив последнюю микстуру и намазав последний пластырь, приходил надоедать мне вздорными политическими расспросами, — не прежде, впрочем, как выпивши его «лекарственной» и закусивши герингсалатом¹, приготовленным беленькими ручками der Frau Apotheke².

¹ салатом с селедкой (нем. Hering-Salat). — *Ред.*

² госпожи аптекарши (нем.). — *Ред.*

...Р. страдала, я, с жалкой слабостью, ждал от времени случайных разрешений и длил полуложь. Тысячу раз хотел я идти к Р., броситься к ее ногам, рассказать все, вынести ее гнев, ее презрение... Но я боялся не негодования — я бы ему был рад — боялся слез. Много дурного надобно испытать, чтоб уметь вынести женские слезы, чтоб уметь сомневаться, пока они, еще теплые, текут по воспаленной щеке. К тому же ее слезы были бы искренние.

Так прошло много времени. Начали носиться слухи о близком окончании ссылки, не так уже казался далеким день, в который я брошусь в повозку и полечу в Москву, знакомые лица мерещились, и между ними, перед ними заветные черты; но едва я отдавался этим мечтам, как мне представлялась с другой стороны повозки бледная, печальная фигура Р., с заплаканными глазами, с взглядом, выражающим боль и упрек, и радость моя мутилась, мне становилось жаль, смертельно жаль ее.

Долее оставаться в ложном положении я не мог и решился, собрав все силы, вынырнуть из него. Я написал ей полную исповедь. Горячо, откровенно рассказал ей всю правду. На другой день она не выходила и сказалась больной. Все, что может вынести преступник, боящийся, что его уличат, все вынес я в этот день; ее нервное оцепенение возвратилось — я не смел ее навестить.

Мне надобно было большее покаянье; я заперся с Витбергом в кабинет и рассказал ему весь роман мой. Сначала он удивился, потом выслушал меня не как судья, а как друг, не мучил расспросами, не читал задним числом морали, и принялся со мной искать средств смягчить удар — он один и мог это сделать. Он горячо любил тех, кого любил. Я боялся его ригоризма, но дружба ко мне и к Р. решительно взяла верх. Да, на его руки я мог оставить несчастную женщину, которой безотрадное существование я ломал; в нем она находила сильную нравственную опору и авторитет. Р. уважала его, как отца.

Утром Матвей подал мне записку. Я почти не спал всю ночь, с волнением распечатал я ее дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально; цветы моего красноречия не скрыли аспика¹, в ее примирительных

¹ аспид (франц. aspic).—Ред.

словах слышался затаенный стон слабой груди, крик боли, подавленный чрезвычайным усилием. Она благословляла меня на новую жизнь, желала нам счастья, называла Natalie сестрой и протягивала нам руку на забвение прошедшего и на будущую дружбу, — как будто она была виновата!

Рыдая, перечитывал я ее письмо. Qual suor tradisti! ¹.

Я встретился впоследствии с нею; дружески подала она мне руку, но нам было неловко, каждый чего-то не договаривал, каждый старался кой-чего не касаться.

Год тому назад я услышал о ее кончине.

Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р. Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой. Она чахнет и умирает. Весть о ее смерти тяжело падает на него, он сделался мрачен, задумчив и, наконец, сошел с ума. Его жена, идеал кротости и самоотвержения, испытав все, везет его, в одну из тихих минут, в *Девичий монастырь* и бросается с ним на колени перед могилой несчастной женщины, прося прощения и заступничества. Из окон монастыря достигают слова молитвы, тихие женские голоса поют об отпущении, — барич выздоравливает. Повесть вышла плоха *. Когда я писал ее, Р. не собиралась в Москву, и один человек, догадывавшийся о том, что что-то было между мной и Р., был «вечный немец» К. И. Зонненберг. После кончины моей матери в 1851 от него не было ни одной весты. В 1860 один турист, рассказывая мне о своем знакомстве с восьмидесятилетним Карлом Ивановичем, показал его письмо. В P. S. он извещал его о кончине Р. и о том, что *мой брат* ее похоронил в *Новодевичьем монастыре*!

Само собой разумеется, что повесть им обоим была неизвестна.

¹ Какое сердце ты предал! (итал.).— *Ред.*



ГЛАВА XXII

В МОСКВЕ БЕЗ МЕНЯ

Мирная жизнь моя во Владимире скоро была возмущена вестями из Москвы, которые теперь приходили со всех сторон. Они сильно огорчали меня. Для того чтоб сделать их понятными, надобно воротиться к 1834 году.

На другой день после моего взятия в 1834 году были именины княгини, потому-то Natalie, расставаясь со мной на кладбище, сказала мне: «До завтра». Она ждала меня; съехалось несколько человек родных, вдруг является мой двоюродный брат* и рассказывает со всеми подробностями историю моего ареста. Новость эта, совершенно неожиданная, поразила ее, она встала, чтоб выйти в другую комнату, и, сделав два шага, упала без чувств на пол. Княгиня все видела и все поняла, она решилась противодействовать всеми средствами возникающей любви.

Для чего?

Не знаю. В последнее время, т. е. после окончания моего курса, она была очень хорошо расположена ко мне; но мой арест, слухи о нашем *вольном* образе мыслей, об измене православной церкви при вступлении в сен-симонскую «секту» разгневали ее; она с тех пор меня иначе не называла, как «государственным преступником» или «несчастливым сыном брата Ивана». Весь авторитет Сенатора был нужен, чтоб она решилась отпустить Natalie в Крутицы проститься со мной.

По счастью, меня ссылали, времени перед княгиней было много. «Да и где это Пермь, Вятка, — верно, он там себе свернет шею или ему свернут ее, а главное — там он ее забудет».

Но, как назло княгине, у меня память была хороша. Переписка со мной, долго скрываемая от княгини, была наконец открыта, и она строжайше запретила людям и горничным доставлять письма молодой девушке или отправлять ее письма на почту. Года через два стали поговаривать о моем возвращении. «Эдак, пожалуй, каким-нибудь добрым утром несчастный сын брата отворит дверь и взойдет, чего тут долго думать да откладывать, — мы ее выдадим замуж и спасем от государственного преступника, человека без религии и правил».

Прежде княгиня, вздыхая, говорила о бедной сироте, о том, что у нее почти ничего нет, что ей нельзя долго разбирать, что ей бы хотелось *как-нибудь* пристроить ее при себе. Она действительно с своими приживалками устроила *кой-как* судьбу одной дальней родственницы без состояния, отдав ее замуж за какого-то подьячего. Добрая, милая девушка, очень развита, пошла замуж, желая успокоить свою мать; года через два она умерла, но подьячий остался жив и из благодарности продолжал заниматься хождением по делам ее сиятельства. Теперь, совсем напротив, сирота — вовсе не бедная невеста, княгиня собирается ее выдать, как родную дочь, дает одними деньгами сто тысяч рублей и оставляет, сверх того, какое-то наследство. На таких условиях можно всегда найти женихов не только в Москве, но где угодно, особенно имея компаньонку, княжеский титул и кочующих старух.

Шепот, переговоры, слухи — и горничные довели до несчастной жертвы такой попечительности намерения княгини. Она сказала компаньонке, что решительно не примет ничего предложения. Тогда началось непрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гонение, — гонение ежеминутное, мелкое, цепляющееся за каждый шаг, за каждое слово.

«...Представь себе дурную погоду, страшную стужу, ветер, дождь, пасмурное, какое-то без выражения небо, прегадкую маленькую комнату, из которой, кажется, сейчас вынесли покойника *, а тут эти *дети* без цели, даже без удовольствия, шумят, кричат, ломают и марают все близкое; да хорошо бы еще, если б только можно было глядеть на этих детей, а когда заставляют быть в их среде»*, — пишет она в одном письме из деревни, куда княгиня уезжала летом, и продолжает: «У нас сидят

три старухи, и все три рассказывают, как их покойники были в параличе, как они за ними ходили, — а и без того холодно»*.

Теперь к этой среде прибавилось систематическое преследование, и уже не от одной княгини, но и от жалких старух, мучивших беспрерывно Natalie, уговаривая ее идти замуж и брапя меня; большей частью она умалчивала в письмах о ряде неприятностей, выносимых ею, но иной раз горечь, унижение и скука брали верх. «Не знаю, — пишет она, — можно ли выдумать еще что-нибудь к моему угнетению, неужели у них станет настолько ума? Знаешь ли ты, что даже выход в другую комнату мне запрещен, даже перемена места в той же комнате? Я давно не играла на фортепьяно; подали огонь, иду в залу, авось-либо смирятся; нет, воротили, заставили вязать; пожалуй, только сяду у другого стола, подле них мне невыносимо, — можно ли хоть это? Нет, непременно сядь тут, рядом с попадией, слушай, смотри, говори — а они только и говорят о Филарете да пересуживают тебя. На минуту мне стало досадно, я покраснела, и вдруг тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть их рабою, нет... мне смертельно стало жаль их»*.

Начинается формальное сватовство.

«У нас была одна дама, которая любит меня и которую я за это не люблю... Хлопочет что есть мочи пристроить меня и до того рассердила меня, что я пропела ей вслед:

Гробовой скорей покроюсь пеленой,
Чем без милого узорчатой фатой»*.

Через несколько дней, 26 октября 1837 года, она пишет: «Что я вытерпела сегодня, друг мой, ты не можешь себе представить. Меня нарядили и повезли к С.*, которая с детства была ко мне *милостива* через меру, к ним каждый вторник ездит полковник З.* играть в карты. Вообрази мое положение: с одной стороны, старухи за карточным столом, с другой — разные безобразные фигуры и он. Разговор, лица — все это так чуждо, странно, противно, так безжизненно, пошло, я сама была больше похожа на изваяние, чем на живое существо; все происходящее казалось мне тяжким, удушливым сном, я, как ребенок, беспрерывно просила ехать домой, меня не слушали. Внимание

хозяина и *гостя* задавили меня, он даже написал мелом до половины мой вепзель; боже мой, моих сил недостает, ни на кого не могу опереться из тех, которые могли быть опорой; одна — на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия, чтоб столкнуть меня, иногда я устаю, силы слабеют — и нет тебя вблизи, и вдали тебя не видно; но одно воспоминание — и душа вострепещулась, готова снова на бой в доспехах любви» *.

Между тем полковник понравился всем, Сенатор его ласкал, отец мой находил, что «лучше жепиха нельзя ждать и желать не должно». «Даже,— пишет Natalie,— его презвосходительство Д. П. (Голохвастов) доволен им» *. Княгиня не говорила прямо Natalie, но прибавляла притеснения и торопила дело. Natalie пробовала прикидываться при нем совершенной «дурочкой», думая, что отстращает его. Нисколько — он продолжает ездить чаще и чаще.

«Вчера,— пишет она,— была у меня Эмилия, вот что она сказала: „Если б я услышала, что ты умерла, я бы с радостью перекрестилась и поблагодарила бы бога“. Она права во многом, но не совсем, душа ее, живущая одним горем *, поняла вполне страдания моей души, но блаженство, которым наполняет ее любовь, едва ли ей доступно» *.

Но и княгиня не унывала. «Желая очистить свою совесть, княгиня призвала какого-то священника, знакомого с З., и спрашивала его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что это будет даже богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своим духовником,— прибавляет Natalie,— и открою ему все» *.

30 октября. «Вот платье, вот наряд к завтраму, а там образ. кольца, хлопоты, приготовления — и ни слова мне. Приглашены Насакины и другие. Они готовят мне сюрприз — и я готовлю им сюрприз» *.

Вечер. «Теперь происходит совещание. Лев Алексеевич (Сенатор) здесь. Ты уговариваешь меня, — не нужно, друг мой, я умею отворачиваться от этих ужасных, гнусных сцен, куда меня тянут на цепи. Твой образ сияет надо мной, за меня нечего бояться, и самая грусть и самое горе так святы и так сильно и крепко обняли душу, что, отрывая их, сделаешь еще большее, раны откроются» *.

Однако как ни скрывали и ни маскировали дела, полковник не мог не увидеть решительного отвращения невесты; он стал реже ездить, сказался больным, заикнулся даже о прибавке приданого, это очень рассердило, но княгиня прошла и через это унижение, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и он не ждал, потому что после нее он совсем скрылся.

Месяца два прошли тихо. Вдруг разнеслась весть о моем переводе во Владимир. Тогда княгиня сделала последний отчаянный опыт сватовства. У одной из ее знакомых был сын офицер *, только что возвратившийся с Кавказа, он был молод, образован и весьма порядочный человек. Княгиня, откинув спесь, сама предложила его сестре «посондировать» брата, не хочет ли он посвататься. Он поддался на внушения сестры. Молодой девушке не хотелось еще раз играть ту же отвратительную и скучную роль, она, видя, что дело принимает серьезный оборот, написала ему письмо, прямо, открыто и просто говорила ему, что любит другого, доверялась его чести и просила не прибавлять ей новых страданий.

Офицер очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и решила узнать, в чем дело. Сестра офицера, с которой говорила сама Natalie и которая дала слово брату ничего не передавать княгине, рассказала все компаньонке. Разумеется, та тотчас же донесла.

Княгиня чуть не задохнулась от негодованья. Не зная, что делать, она приказала молодой девушке идти к себе наверх и не казаться ей на глаза; недовольная этим, она велела запереть ее дверь и посадила двух горничных для караула. Потом она написала к своим братьям и одному из племянников записки и просила их собраться для совета, говоря, что она так расстроена и огорчена, что не может ума приложить к несчастному делу, ее постигшему. Отец мой отказался, говоря, что у него своих забот много, что вовсе не нужно придавать случившемуся такой важности и что он плохой судья в делах сердечных. Сенатор и Д. П. Голохвастов явились на другой день вечером, по зову.

Долго толковали они, ни в чем не согласились и наконец потребовали арестанта. Молодая девушка взмогла; но это была не та молчаливая, застенчивая сирота, которую они знали.

Непоколебимая твердость и безвозвратное решение были видны в спокойном и гордом выражении лица; это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь — мою любовь.

Вид «подсудимой» смешал ареопаг. Им было неловко; наконец Дмитрий Павлович, l'orateur de la famille¹, изложил пространно причину их съезда, горесть княгини, ее сердечное желание устроить судьбу своей воспитанницы и странное противодействие со стороны той, в пользу которой все делается. Сенатор подтверждал головой и указательным пальцем слова племянника. Княгиня молчала, сидела отвернувшись и пюхала соль.

«Подсудимая» все выслушала и простодушно спросила, чего от нее требуют.

— Мы весьма далеки от того, чтоб что-нибудь требовать, — заметил племянник, — мы здесь, по воле тетюшки, для того, чтоб дать вам искренний совет. Вам представляется партия, превосходная во всех отношениях.

— Я не могу ее принять.

— Какая же причина на это?

— Вы ее знаете.

Оратор семейства немного покраснел, понюхал табаку и, щуря глаза, продолжал:

— Тут есть очень многое, против чего можно бы возражать, — я обращаю ваше внимание на шаткость ваших надежд. Вы так давно не видались с нашим несчастным Alexandr'ом, он так молод, горяч — уверены ли вы?..

— Уверена. Да и какие бы намерения его ни были, я не могу переменить своих.

Племянник исчерпал свою латынь; он встал, говоря:

— Дай бог, дай бог, чтоб вы не раскаялись! Я очень боюсь за ваше будущее.

Сенатор морщился; к нему-то и обратилась теперь несчастная девушка.

Вы, — сказала она ему, — показывали мне всегда участие, вас я умоляю, спасите меня, сделайте что хотите, но избавьте меня от этой жизни. Я ничего никому не сделала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю, я только отказы-

¹ семейный оратор (франц.). — Ред.

вжусь обмануть человека и погубить себя, выходя за него замуж. Что я за это терплю, нельзя себе представить, мне больно, что я должна это высказать в присутствии княгини, но выносить оскорбления, обидные слова, намеки ее приятельницы выше моих сил. Я не могу, я не должна позволить, чтоб во мне был оскорблен...

Нервы взяли свое, и слезы градом полились из ее глаз; Сенатор вскочил и, взволнованный, ходил по комнате.

В это время компаньонка, кипевшая от злобы, не выдержала и сказала, обращаясь к княгине:

— Какова наша скромница-то — вот вам и благодарности!

— О ком она говорит? — закричал Сенатор. — А? Как это вы, сестрица, позволяете, чтоб эта, черт знает кто такая, при вас так говорила о дочери вашего брата? Да и вообще, зачем эта шваль здесь? Вы ее тоже позвали на совет? Что она вам — родственница, что ли?

— Голубчик мой, — отвечала испуганная княгиня, — ты знаешь, что она мне и как она за мной ходит.

— Да, да, это прекрасно, ну и пусть подает лекарство и что нужно: не о том речь — я вас, *ma sœur*¹, спрашиваю, зачем она здесь, когда говорят о семейном деле, да еще голос подымает? Можно думать после этого, что она делает одна, а потом жалуется. — Эй, карету!

Компаньонка, расплаканная и раскрасневшаяся, выбежала вон.

— Зачем вы так балуете ее? — продолжал расходившийся Сенатор. — Она все воображает, что в шинке в Звенигороде сидит; как вам это не гадко?

— Перестань, мой друг, пожалуйста, у меня нервы так расстроены... Ох!.. Ты можешь идти наверх и там остаться, — прибавила она, обращаясь к племяннице.

— Пора и Бастильи все эти уничтожить. Все это вздор и ни к чему не ведет, — заметил Сенатор и схватил шляпу.

Уезжая, он взшел наверх; взволнованная всем происшедшим, Natalie сидела на креслах, закрывши лицо, и горько плакала. Старик потрепал ее по плечу и сказал:

¹ сестра (франц.). — *Ред.*

— Успокойся, успокойся, все перемелется. Ты постарайся, чтоб сестра перестала сердиться на тебя, она женщина больная, надобно ей уступить; она ведь все ж добра тебе желает; ну, а насильно тебя замуж не отдадут, за это я тебе отвечаю.

— Лучше в монастырь, в пансион, в Тамбов, к брату * в Петербург, чем дольше выносить эту жизнь! — отвечала она.

— Ну, полно, полно! Старайся успокоить сестру, а дуру эту я отучу от грубостей.

Сенатор, проходя по зале, встретил компаньонку. «Прошу не забываться!» — закричал он на нее, грозя пальцем. Она, рыдая, пошла в спальню, где княгиня уже лежала в постели и четыре горпичные терли ей руки и ноги, мочили виски уксусом и капали гофманские капли на сахар.

Тем семейный совет и копчился.

Ясное дело, что положение молодой девушки не могло перемениться к лучшему. Компаньонка стала осторожнее, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней выместить обиду и унижение, она отравляла ей жизнь мелкими, косвенными средствами; само собою разумеется, что княгиня участвовала в этом неблагородном преследовании беззащитной девушки.

Надобно было положить этому конец. Я решился выступить прямо на сцену и написал моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорил ему о моей любви и, предвидя его ответ, прибавлял, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время взглядеться, мимолетное это чувство или нет, и прошу его об одном: чтоб он и Сенатор взошли в положение несчастной девушки, чтоб они вспомнили, что они имеют на нее столько же права, сколько и сама княгиня.

Отец мой на это отвечал, что он в *чужие дела* терпеть не может мешаться, что до него не касается, что княгиня делает у себя в доме; он мне советовал оставить пустые мысли, «порождепные праздностью и скукой ссылки», и лучше готовиться к путешествию в чужие края. Мы часто говаривали с ним в былые годы о поездке за границу, он знал, как страстно я желал, но находил бездну препятствий и всегда оканчивал одним: «Ты прежде закрой мне глаза, потом дорога открыта на все четыре стороны». В ссылке я потерял всякую надежду на скорое путешествие, знал, как трудно будет получить дозволе-

ние, и, сверх того, мне казалось неделикатно, после насильственной разлуки, настаивать на добровольную. Я помнил слезу, дрожавшую на старых веках, когда я отправлялся в Пермь... И вдруг мой отец берет инициативу и предлагает мне ехать!

Я был откровенен, писал, щадя старика, просил так мало, — он мне отвечал иронией и уловкой. «Он ничего не хочет сделать для меня, — говорил я сам себе, — он, как Гизо, проповедует *la non-intervention*¹; хорошо, так я сделаю сам, и теперь — аминь уступаю». Я ни разу прежде не думал об устройстве будущего; я верил, знал, что оно мое, что оно наше, и представлял подробности случая; нам было довольно сознания любви, желания не шли дальше минутного свидания. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее в мои руки. Ждать было нечего — *cosa falta capo ha!*² Отец мой не очень сентиментален, а кпягиня —

Пускай себе поплачет...

Ей ничего не значит! *

В это время гостили во Владимире мой брат и К<етчер>. Мы с К<етчером> проводили целые ночи напролет, говоря, вспоминая, смеясь сквозь слез и до слез. Он был первый из наших, которого я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хронику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают, какие лица прибыли, где те, которые оставили Москву, и пр. Переговоривши все, я рассказал о моих намерениях. Рассуждая, что и как следует сделать, К<етчер> заключил предложением, нелепость которого я оценил потом. Желая исчерпать все мирные пути, он хотел съездить к моему отцу, которого едва знал, и *серьезно* с ним поговорить. Я согласился.

К<етчер>, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом. Он имел в высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дело. Он одним появлением своим навел уныние и тревогу на всякого консерватора. Высокий ростом, с волосами странно разбросанными, без всякого един-

¹ невмешательство (франц.). — *Ред.*

² сделанного не воротить (итал.). — *Ред.*

ства прически, с резким лицом, напоминающим ряд членов Конвента 93 года, а всего более Мара *, с тем же большим ртом, с тою же резкой чертой пренебрежения на губах и с тем же грустно и озлобленно-печальным выражением; к этому следует прибавить очки, шляпу с широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать и способность по мере негодования поднимать брови все выше и выше. К<етчер> был похож на Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд «Орас», с примесью чего-то патфайндерского *, робинзоновского и еще чего-то чисто московского. Открытая, благородная натура с детства поставила его в прямую ссору с окружающим миром; он не скрывал это враждебное отношение и привык к нему. Несколькими годами старше нас, он беспрерывно бранился с нами и был всем недоволен, делал выговоры, ссорился и покрывал все это добродушием ребенка. Слова его были грубы, но чувства нежны, и мы бездну прощали ему.

Представьте же именно его, этого последнего могикана, с лицом Мара, «друга народа», отправляющегося увещевать моего отца. Много раз потом я заставлял К<етчера> пересказывать их свидание, моего воображения не доставало, чтоб представить все оригинальное этого дипломатического вмешательства. Оно пришлось так невзначай, что старик не нашелся сначала, стал объяснять все глубокие соображения, почему он против моего брака, и потом уже, спохватившись, переменял тон и спросил К<етчера>, с какой он стати пришел к нему говорить о деле, до него вовсе не касающемся. Разговор принял характер желчевой. Дипломат, видя, что дело становится хуже, попробовал пугнуть старика моим здоровьем; но это уже было поздно, и свидание окончилось, как следовало ожидать, рядом язвительных колкостей со стороны моего отца и грубых выражений со стороны К<етчера>.

К<етчер> писал мне: «От старика ничего не жди». Этого то и надо было. Но что было делать, как начать? Пока я обдумывал по десяти разных проектов в день и не решался, который предпочесть, брат мой собрался ехать в Москву.

Это было 1 марта 1838 года.



ГЛАВА XXIII

ТРЕТЬЕ МАРТА И ДЕВЯТОЕ МАЯ 1838 ГОДА *

Утром я писал письма; когда я кончил, мы сели обедать. Я не ел, мы молчали, мне было невыносимо тяжело, — это было часу в пятом, в семь должны были прийти лошади. — Завтра после обеда он будет в Москве, а я... — и с каждой минутой пульс у меня бился сильнее.

— Послушайте, — сказал я наконец брату, глядя в тарелку, — доведите меня до Москвы?

Брат мой опустил вилку и смотрел на меня не уверенный, послышалось ему или нет.

— Провезите меня через заставу как вашего слугу, больше мне ничего не нужно, согласны?

— Да я — пожалуй; только знаешь, чтоб тебе потом...

Это уж было поздно, его «пожалуй» было у меня в крови, в мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема.

— Что тут толковать, мало ли что может случиться — итак, вы берете меня?

— Отчего же — я, право, готов — только...

Я вскочил из-за стола.

— Вы едете? — спросил Матвей, желая что-то сказать.

— Еду! — отвечал я так, что он ничего не прибавил. — Я послезавтра возвращусь, коли кто придет, скажи, что у меня болит голова и что я сплю, вечером зажги свечи и засим дай мне белья и сак.

Бубенчики позванивали на дворе.

— Вы готовы?

— Готов. Итак, в добрый час.

На другой день, в обеденную пору бубенчики перестали позванивать, мы были у подъезда К<етчера>. Я велел его вызвать. Неделю тому назад, когда он меня оставил во Владимире, о моем приезде не было даже предположения, а потому он так удивился, увидя меня, что сначала не сказал ни слова, а потом покотился со смеху, но вскоре припал озабоченный вид и повел меня к себе. Когда мы были в его комнате, он, тщательно запирая дверь на ключ, спросил меня:

— Что случилось?

— Ничего.

— Да ты зачем?

— Я не мог остаться во Владимире, я хочу видеть Natalie — вот и все, а ты должен это устроить, и сию же минуту, потому что завтра я должен быть дома.

К<етчер> смотрел мне в глаза и сильно поднял брови.

— Какая глупость, это черт знает что такое, без нужды, ничего не приготовивши, ехать. Что ты, писал, назначил время?

— Ничего не писал.

— Помилуй, братец, да что же мы с тобой сделаем? Это из рук вон, это белая горячка!

— В том-то все дело, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, как и что.

— Ты глуп,— сказал положительно К<етчер>, забирая еще выше бровями.—Я был бы очень рад, чрезвычайно рад, если б ничего не удалось, был бы урок тебе.

— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будет темно, мы поедем к дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу из людей, я тебе скажу кого,— ну, потом увидим, что делать. Ладно, что ли?

— Ну, делать нечего, пойдем, а уж как бы мне хотелось, чтоб не удалось! Что же вчера не написал? — и К<етчер>, важно пахлобучив на себя свою шляпу с длинными полями, набросил черный плащ на красной подкладке.

— Ах ты, проклятый ворчун! — сказал я ему, выходя, и К<етчер>, от души смеясь, повторял: «Да разве это не курам на смех! Не написал и приехал,— это из рук вон».

У К<етчера> нельзя было оставаться: он жил ужасно далеко, и в этот день у его матери были гости. Он отправился со мной к одному гусарскому офицеру. К<етчер> его знал за благородного человека, он не был замешан в политические дела и, следовательно, вне полицейского надзора. Офицер с длинными усами сидел за обедом, когда мы пришли; К<етчер> рассказал ему, в чем дело, офицер в ответ налил мне стакан красного вина и поблагодарил за доверие, потом отправился со мной в свою спальню, украшенную седлами и чепраками, так что можно было думать, что он спит верхом.

— Вот вам комната,— сказал он,— вас никто здесь не беспокоит.

Потом он позвал денщика, гусара же, и велел ему ни под каким предлогом никого не пускать в эту комнату. Я снова очутился под охраной солдата, с той разницей, что в Крутицах жандарм меня караулил от всего мира, а тут гусар караулил весь мир от меня.

Когда совсем смерклось, мы отправились с К<етчером>. Сильно билось сердце, когда я снова увидел знакомые, родные улицы, места, дома, которых я не видал около четырех лет... Кузнецкий Мост, Тверской бульвар... Вот и дом Огарева,— ему нахлобучили какой-то огромный герб, он чужой уж; в нижнем этаже, где мы так юно жили, жил портной... Вот Поварская,— дух занимается, в мезонине, в угловом окне, горит свечка, это ее комната, она пишет ко мне, она думает обо мне, свеча так весело горит, так *мне* горит.

Пока мы придумывали, как лучше вызвать кого-нибудь, нам навстречу бежит один из молодых официантов княгини.

— Аркадий,— сказал я, поровнявшись. Он меня не узнал.— Что с тобой? — сказал я.— Своих не узнаешь?

— Да это вы-с? — вскрикнул он.

Я приложил палец к губам и сказал:

— Хочешь ли ты мне сослужить дружескую службу? Доставь немедленно, через Сашу или Костеньку, как можно скорей, вот эту записочку, понимаешь? Мы будем ждать ответ в переулке за углом, и ни полслова никому о том, что ты меня видел в Москве.

— Будьте покойны, все обделаем вмиг,— отвечал Аркадий и пустился рысью домой.

Около получаса ходили мы взад и вперед по переулку, прежде чем вышла, торопясь и оглядываясь, небольшая худенькая старушка, та самая бойкая горничная, которая в 1812 году у французских солдат просила для меня «манже»; с детства мы звали ее Костенькой. Старушка взяла меня обеими руками за лицо и расцеловала.

— Так-то ты и прилетел,— говорила она.— Ах ты, буйная голова, и когда ты это уймешься, беспутный ты мой, и барышню так испугал, что чуть в обморок не упала.

— Что же записочка, есть у вас?

— Есть, есть, ишь какой нетерпеливый! — и она мне подала лоскуток бумаги.

Дрожащей рукой, карандашом были написаны несколько слов: «Боже мой, неужели это правда — ты здесь, завтра в шестом часу утра я буду тебя ждать, не верю, не верю! Неужели это не сон?» *

Гусар снова меня отдал на сохранение денщику. В пять часов с половиной я стоял, прислонившись к фонарному столбу, и ждал К<етчера>, взошедшего в калитку княгининого дома. Я и не попробую передать того, что происходило во мне, пока я ждал у столба; такие мгновения остаются потому личной тайной, что они немые.

К<етчер> махал мне рукой. Я взошел в калитку; мальчик, который успел вырасти, провожал меня, знакомо улыбаясь. И вот я в передней, в которую некогда входил зевая, а теперь готов был пасть на колена и целовать каждую доску пола. Аркадий привел меня в гостиную и вышел. Я, утомленный, бросился на диван; сердце билось так сильно, что мне было больно, и, сверх того, мне было страшно. Я растягиваю рассказ, чтоб дольше остаться с этими воспоминаниями, хотя и вижу, что слово их плохо берет.

Она взошла, вся в белом, ослепительно прекрасна, три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выражение.

— Это ты,— сказала она своим тихим, кротким голосом. Мы сели на диван и молчали.

Выражение счастья в ее глазах доходило до страдания. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени,

смешивается с выражением боли, потому что и она мне сказала: «Какой у тебя измученный вид».

Я держал ее руку, на другую она облокотилась, и нам нечего было друг другу сказать... Короткие фразы, два-три воспомина-ния, слова из писем, пустые замечания об Аркадии, о гусаре, о Костеньке.

Потом взошла нянюшка, говоря, что пора, и я встал, не воз-ражая, и она меня не останавливала... такая полнота была в душе. Больше, меньше, короче, дольше, еще — все это исчезало перед полнотой настоящего...

Когда мы были за заставой, К<отчер> спросил:

— Что же у вас, решено что-нибудь?

— Ничего.

— Да ты говорил с ней?

— Об этом ни слова.

— Она согласна?

— Я не спрашивал,— разумеется, согласна.

— Ты, ей-богу, поступаешь, как дитя или как сумасшед-ший,— заметил К<етчер>, повышая брови и пожимая с негодо-ванием плечами.

— Я ей напишу, потом тебе, а теперь прощай! Ну-тка по всем по трем!

На дворе была оттепель, рыхлый снег местами чернел, бес-конечная белая поляна лежала с обеих сторон, деревеньки мель-кали с своим дымом, потом взошел месяц и иначе осветил все; я был один с ямщиком и все смотрел и все был там с нею, и до рога, и месяц, и поляны как-то смешивались с княгишиной гости-ной. И странно, я помнил каждое слово нянюшки, Аркадия, даже горничной, проводившей меня до ворот, но что я говорил с нею, что она мне говорила, не помнил!

Два месяца прошли в бесперывных хлопотах, надобно было занять денег, достать метрическое свидетельство; оказалось, что княгиня его взяла. Один из друзей * достал всеми неправдами другое из консистории — платя, клапаясь, потчует квартальных и писарей.

Когда все было готово, мы поехали, т. е. я и Матвей.

На рассвете 8 мая мы были на последней ямской станции перед Москвой. Ямщики пошли за лошадьми. Погода была

душная, дождь капал, казалось, будет гроза, я не вышел из кибитки и торопил ямщика. Кто-то странным голосом, тонким, плаксивым, протяжным, говорил возле. Я обернулся и увидел девочку лет шестнадцати, бледную, худую, в лохмотьях и с распущенными волосами, она просила милостыню. Я дал ей мелкую серебряную монету; она захохотала, увидя ее, но, вместо того, чтоб идти прочь, влезла на облучок кибитки, повернулась ко мне и стала бормотать полусвязные речи, глядя мне прямо в лицо; ее взгляд был мутен, жалок, пряди волос падали на лицо. Болезненное лицо ее, непонятная болтовня вместе с утренним освещением наводили на меня какую-то нервную робость.

— Это у нас так, юродивая, т. е. дурочка, — заметил ямщик. — И куда ты лезешь, вот стягну, так узнаешь! Ей-богу, стягну, озорница эдакая!

— Что ты брбнишься, что я те сдела — вот барин-то серебряной пяточек дал, а что я тебе сдела?

— Ну дал, так и убирайся к своим чертям в лес.

— Возьми меня с собой, — прибавила девочка, жалобно глядя на меня, — ну право, возьми...

— В Москве покаявать за деньги, чудо, мол, юдо, рак морской, — заметил ямщик, — ну слезай, что ли, трогаем.

Девочка не думала идти, а все жалобно смотрела, я просил ямщика не обижать ее; он взял ее тихо в охапку и поставил на землю. Она расплакалась, и я готов был плакать с нею.

Зачем это существо попало мне именно в этот день, именно при въезде в Москву? Я вспомнил «Безумную» Козлова: и ее он встретил под Москвой.

Мы поехали, воздух был полон электричества, неприятно тяжел и тепел. Синяя туча, опускавшаяся серыми клочьями до земли, медленно тащилась ими по полям, — и вдруг зигзаг молнии прорезал ее своими уступами вкось — ударил гром, и дождь полился ливнем. Мы были верстах в десяти от Рогожской заставы, да еще Москвой приходилось с час ехать до Девичьего поля. Мы приехали к А<страковым>, где меня должен был ожидать К<етчер>, решительно без сухой нитки на теле.

К<етчера> не было налицо. Он был у изголовья умирающей женщины, Е. Г. Левашовой. Женщина эта принадлежала к тем

удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование — подвиг, никому неведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддерживала она и сколько сама страдала. «Она изжила любовь», — сказал мне Чаадаев, один из ближайших друзей ее, посвятивший ей свое знаменитое письмо о России *.

К<етчер> не мог ее оставить и писал, что около девяти часов придет. Меня встревожила эта весть. Человек, объятый сильной страстью, — страшный эгоист; я в отсутствии К<етчера> видел одну задержку... Когда же пробило девять часов, раздался благовест к поздней обедне и прошло еще четверть часа, мною овладело лихорадочное беспокойство и малодушное отчаяние... Половина десятого — нет, он не будет, больной, верно, хуже, что мне делать? Остаться в Москве не могу: одно неосторожное слово горничной, нянюшки в доме княгини откроет все. Ехать назад было возможно; но я чувствовал, что у меня не было силы ехать назад.

В три четверти десятого явился К<етчер> в соломенной шляпе, с измятым лицом человека, не спавшего всю ночь. Я бросился к нему и, обнимая его, осыпал упреками. К<етчер>, нахмурившись, посмотрел на меня и спросил:

— Разве получаса не достаточно, чтоб дойти от А<страковых> до Поварской? Мы бы тут болтали с тобой целый час, ну, оно как ни приятно, а я из-за этого не решился прежде, чем было нужно, оставить умирающую женщину. Левашова, — прибавил он, — посылает вам свое приветствие, она благословила меня на успех своей умирающей рукой и дала мне на случай нужды теплую шаль.

Привет умирающей был для меня необыкновенно дорог. Теплая шаль была очень нужна ночью, и я не успел ее поблагодарить, ни пожать ее руки... она вскоре скончалась.

К<етчер> и А<страков> отправились. К<етчер> должен был ехать за заставу с Natalie, А<страков> — воротиться, чтобы сказать мне, все ли успешно и что делать. Я остался ждать с его милой, прекрасной женой; она сама недавно вышла замуж; страстная, огненная натура, она принимала самое горячее участие в нашем деле; она старалась с притворной веселостью

уверить меня, что все пойдет превосходно, а сама была до того спедаема беспокойством, что беспрестанно менялась в лице. Мы с ней сели у окна, разговор не шел; мы были похожи на детей, посаженных за вину в пустую комнату. Так прошли часа два.

В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание в такие минуты. Друзья делают большую ошибку, снимая с плеч главного *пациента* всю ношу. Выдумать надобно занятия для него, если их нет, задавить физической работой, рассеять недосугом, хлопотами.

Наконец, взвошел А<страков>. Мы бросились к нему.

— Все идет чудесно, они при мне ускакали! — кричал он нам со двора. — Ступай сейчас за Рогожскую заставу, там у мостика увидишь лошадей недалеко Перова трактира. С богом! Да перемени на полдороге извозчика, чтоб последний не знал, откуда ты.

Я пустился, как из лука стрела... Вот и мостик недалеко от Перова; никого нет, да и по другую сторону мостик, тоже никого нет. Я доехал до Измайловского зверинца — никого; я отпустил извозчика и пошел пешком. Ходя взад и вперед, я наконец увидел на другой дороге какой-то экипаж; молодой красивый кучер стоял возле.

— Не проезжал ли здесь, — спросил я его, — барин высокий, в соломенной шляпе, и не один — с барышней?

— Я никого не видал, — отвечал нехотя кучер.

— Да ты с кем здесь?

— С господами.

— Как их зовут?

— А вам на что?

— Экой ты, братец, какой, не было бы дела, так и не спрашивал бы.

Кучер посмотрел на меня испытующим взглядом и улыбнулся; вид мой, казалось, его лучше расположил в мою пользу.

— Коли дело есть, так имя сами должны знать, кого вам надо?

— Экой ты кремь какой, ну надобно мне барины, которого К<етчером> зовут.

Кучер еще улыбнулся и, указывая пальцем на кладбище, сказал:

— Вот вдали-то, видите, чернеет, это самый он и есть, и барышня с ним, шляпки-то не взяли, так уже господин К<етчер> свою дали, благо соломенная.

И в этот раз мы встречались на *кладбище!*

...Она с легким криком бросилась мне на шею.

— И навсегда! — сказала она.

— Навсегда! — повторил я.

К<етчер> был тронут, слезы дрожали на его глазах, он взял наши руки и дрожащим голосом сказал:

— Друзья, будьте счастливы!

Мы обняли его. Это было наше *действительное* бракосочетание!

Мы были больше часу в особой комнате Перова трактира, а коляска с Матвеем еще не приезжала! К<етчер> хмурился. Нам и в голову не шла возможность несчастья; нам так хорошо было тут втроем и так дома, как будто мы и всё вместе были. Перед окнами была роща, снизу слышалась музыка и раздавался цыганский хор; день после грозы был прекрасный.

Полицейской погони со стороны княгини я не боялся, как К<етчер>, я знал, что она из спеси не замешает квартального в семейное дело. Сверх того, она ничего не предпринимала без Сенатора, ни Сенатор — без моего отца; отец мой никогда не согласился бы на то, чтоб полиция остановила меня в Москве или под Москвой, т. е. чтоб меня отправили в Бобруйск или в Сибирь за нарушение высочайшей воли. Опасность могла только быть со стороны тайной полиции, но все было сделано так быстро, что ей трудно было знать; да если она что-нибудь и проведала, то кому же придет в голову, чтоб человек, тайно возвратившийся из ссылки, который увозит свою невесту, спокойно сидел в Перовом трактире, где народ толчется с утра до ночи?

Явился наконец и Матвей с коляской.

— Еще бокал, — командовал К<етчер>, — и в путь!

И вот мы одни, т. е. вдвоем, несемся по Владимирской дороге.

В Бунькове, пока меняли лошадей, мы взошли на постоянный двор. Старушка-хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на нас, сказала:

— Какая хозяйшкa-то у тебя молоденькая да пригожая — и оба-то вы, господь с вами, — парочка.

Мы покраснели до ушей, не смели взглянуть друг на друга и спросили чаю, чтоб скрыть смущение. На другой день часу в шестом мы приехали во Владимир. Время терять было нечего; я бросился, оставив у одного старого семейного чиновника * невесту, узнать, все ли готово. Но кому же было готовить во Владимире?

Везде не без добрых людей. Во Владимире стоял тогда Сибирский уланский полк; я мало был знаком с офицерами, но, встречаясь довольно часто с одним из них в публичной библиотеке, я стал с ним кланяться; он был очень учтив и мил. С месяц спустя он признался мне, что знал меня и мою историю 1834 года, рассказал, что он сам из студентов Московского университета. Уезжая из Владимира и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумал об офицере, поехал к нему и прямо рассказал, в чем дело. Он, искренно тронутый моей доверенностью, пожал мне руку, все обещал и все исполнил.

Офицер ожидал меня во всей форме: с белыми отворотами, с кивером без чехла, с лядункой через плечо, со всякими пнурками. Он сообщил мне, что архиерей разрешил священнику венчать, но велел предварительно показать метрическое свидетельство. Я отдал офицеру свидетельство, а сам отправился к другому молодому человеку, тоже из Московского университета. Он служил свои *два губернских года*, по новому положению, в канцелярии губернатора и пропадал от скуки. *

— Хотите быть шафером?

— У кого?

— У меня.

— Как, у вас?

— Да, да, у меня!

— Очень рад! Когда?

— Сейчас.

Он думал, что я шучу, но когда я ему наскоро сказал, в чем дело, он вспрыгнул от радости. — Быть шафером на тайной свадьбе, хлопотать, может, попасть под следствие, и все это в маленьком городе без всяких рассеяний. Он тотчас обещал достать для меня карету, четверку лошадей и бросился к комоду смотреть, есть ли чистый белый жилет.

Ехавши от него, я встретил моего улана, он вез на коленях священника *. Представьте себе пестрого, разнаряженного офицера на маленьких дрожках с дородным попом, украшенным большой, расчесанной бородой, в шелковой рясе, которая цеплялась за все ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя внимание не только улицы, идущей от владимирских Золотых ворот, но и парижских бульваров или самой Режент-стрит. А улан и не подумал об этом, да и я подумал уже после. Священник ходил по домам с молебном,— это был Николин день, и мой кавалерист насилу где-то его поймал и взял в реквизицию. Мы поехали к архиерею.

Для того чтоб понять, в чем дело, надобно рассказать, как вообще архиерей мог быть замешан в него. За день до моего отъезда священник, согласившийся венчать, вдруг объявил, что без разрешения архиерея он венчать не станет, что он что-то слышал, что он боится. Сколько мы ни ораторствовали с уланом — священник уперся и стоял на своем. Улан предложил попробовать их полкового попа. Священник этот, бритый, стриженный, в длинном долгополом сертуке, в сапогах сверх штанов, смиренно куривший из солдатской трубочки, хотя и был тронут некоторыми подробностями нашего предложения, но венчать отказался, говоря, и притом на каком-то польско-белорусском наречии, что им строго-настрого заказано венчать «цивильных».

— А нам еще строже запрещено быть свидетелями и шаферами без позволения,— заметил ему офицер,— а ведь вот я иду же.

— Инное дело, пред Иезусом инное дело.

— Смелым владеет бог,— сказал я улану,— я еду сейчас к архиерею. Да кстати, зачем же вы не спросите позволения?

— Не нужно. Полковник скажет жене, а та разболтает. Да еще, пожалуй, он не позволит.

Владимирский архиерей Парфений был умный, суровый и грубый старик; распорядительный и своеобразный, он равно мог быть губернатором или генералом, да еще, я думаю, генералом он был бы больше на месте, чем монахом; но случилось иначе, и он управлял своей епархией, как управлял бы дивизией на Кавказе. Я в нем вообще замечал гораздо больше свойств администратора, чем живого мертвеца. Он, впрочем,

был больше человек крутой, чем злой; как все деловые люди, он понимал вопросы быстро, резко и бесился, когда ему толковали вздор или не понимали его. С такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чем с людьми мягкими, но слабыми и нерешительными. По обыкновению всех губернских городов, я после приезда во Владимир зашел раз после обедни к архиерею. Он радушно меня принял, благословил и потчевал семейкой; потом пригласил когда-нибудь приехать посидеть вечером, потолковать, говоря, что у него слабеют глаза и он читать по вечерам не может. Я был раза два-три; он говорил о литературе, знал все новые русские книги, читал журналы, итак, мы с ним были как нельзя лучше. Тем не менее не без страха постучался и в его архипастырскую дверь.

День был жаркий. Преосвященный Парфений принял меня в саду. Он сидел под большой тенистой липой, сняв клобук и распустив свои седые волосы. Перед ним стоял без шляпы, на самом солнце, статный плешивый протопоп и читал вслух какую-то бумагу; лицо его было багрово, и крупные капли пота выступали на лбу, он щурился от ослепительной белизны бумаги, освещенной солнцем, — и ни он не смел подвинуться, ни архиерей ему не говорил, чтоб он отошел.

— Садитесь, — сказал он мне, благословляя, — мы сейчас кончим, это наши консисторские делишки. Читай, — прибавил он протопопу, и тот, обтершись синим платком и откашлянув в сторону, снова принялся за чтение.

— Что скажете нового? — спросил меня Парфений, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей верной оказией, чтоб поцеловать руку.

Я рассказал ему об отказе священника.

— У вас есть свидетельства?

Я показал губернаторское разрешение.

— Только-то?

— Только.

Парфений улыбнулся.

— А со стороны невесты?

— Есть метрическое свидетельство, его привезут в день свадьбы.

— Когда свадьба?

— Через два дня.

— Что же, вы нашли дом?

— Нет еще.

— Ну, вот видите,— сказал мне Парфений, кладя палец за губу и растягивая себе рот, зацепивши им за щеку,— одна из его любимых игрушек.— Вы человек умный и начитанный, ну а старого воробья на мякине вам не провести. У вас тут что-то неладно; так вы, коли уже пожаловали ко мне, лучше расскажите мне ваше дело по совести, как на духу. Ну, я тогда прямо вам и скажу, что можно и чего пельзя, во всяком случае совет дам не к худу.

Мне казалось мое дело так чисто и право, что я рассказал ему все, разумеется, не вступая в ненужные подробности. Старик слушал внимательно и часто смотрел мне в глаза. Оказалось, что он давнишний знакомый с княгиней и долею мог, стало быть, сам поверить истину моего рассказа.

— Понимаю, понимаю,— сказал он, когда я кончил.— Ну, дайте-ка я напишу от себя письмо к княгине.

— Будьте уверены, что все мирные средства ни к чему не поведут, капризы, ожесточение, все это зашло слишком далеко. Я вашему преосвященству все рассказал, так, как вы желали, теперь я прибавлю: если вы мне откажете в помощи, я буду принужден тайком, воровски, за деньги сделать то, что делаю теперь без шума, но прямо и открыто. Могу уверить вас в одном: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановят.

— Видишь,— сказал Парфений, вставая и потягиваясь,— приткий какой, тебе все еще мало. Перми-то, не укатали крутые горы. Что, я разве говорю, что запрещаю? Венчайся себе, пожалуй, противузаконного ничего нет; но лучше бы было семейно да кротко. Пришлите-ка ко мне вашего попа, уломаю его как-нибудь; ну только одно помните: без документов со стороны невесты и не пробуйте. Так «ни тюрьма, ни ссылка» — ишь какие нынче, подумаешь, люди стали! Ну, господь с вами, в добрый час, а с княгиней-то вы меня поссорите.

И так в наш заговор, сверх улана, вступил высокопреосвященный Парфений, архиепископ владимирский и суздальский.

Когда я предварительно просил у губернатора дозволение, я вовсе не представлял моего брака тайным; это было вернейшее

средство, чтоб никто не говорил, и чего же было естественнее приезда моей невесты во Владимир, когда я был лишен права из него выехать? Тоже естественно было и то, что в таком случае мы желали венчаться — как можно скромнее.

Когда мы с священником приехали 9 мая к архиерею, нам послушник его объявил, что он с утра уехал в свой загородный дом и до ночи не будет. Был уже восьмой час вечера, после десяти венчать нельзя, следующий день была суббота. Что делать? Священник трусил. Мы взошли к иеромонаху, духовнику архиерея; монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении. Я рассказал ему дело, он мне налил чашку чая и настоятельно требовал, чтоб я прибавил рому; потом он вынул огромные серебряные очки, прочитал свидетельство, повернул его, посмотрел с той стороны, где ничего не было написано, сложил и, отдавая священнику, сказал: «В наисовершеннейшем порядке». Священник все еще мялся. Я говорил отцу иеромонаху, что если я сегодня не обвенчаюсь, мне будет страшное расстройство.

— Что откладывать, — сказал иеромонах, — я доложу преосвященнейшему; повенчайте, отец Иоанн, повенчайте — во имя отца и сына и святого духа — аминь!

Поцу нечего было говорить, он поехал писать обыск, я поспекал за Natalie.

...Когда мы выезжали из Золотых ворот вдвоем, без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними яркокрасными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот наши провожатые!» Я помню ее улыбку при этих словах и пожатые руки.

Маленькая ямская церковь, верстах в трех от города, была пуста, не было ни певчих, ни зажженных паникадил. Человек пять простых уланов взошли мимоходом и вышли. Старый дьячок пел тихим и слабым голосом, Матвей со слезами радости смотрел на нас, молодые шаферы стояли за нами с тяжелыми венцами, которыми перевенчали всех владимирских ямщиков. Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения... В церкви становилось темно, только несколько местных свеч горело. Все это было или казалось нам необыкновенно изящно

именно своей простотой. Архиерей проехал мимо и, увидя отворенные двери в церкви, остановился и послал спросить, что делается; священник, несколько побледневший, сам вышел к нему и через минуту возвратился с веселым видом и сказал нам:

— Высокопреосвященнейший посылает вам свое архипастырское благословение и велел сказать, что он молится о вас.

Когда мы ехали домой, весть о таинственном браке разнеслась по городу, дамы ждали на балконах, окна были открыты, я опустил стекла в карете и несколько досадовал, что сумерки мешали мне показать «молодую».

Дома мы выпили с шаферами и Матвеем две бутылки вина, шаферы посидели минут двадцать, и мы остались одни, и нам опять, как в Перове, это казалось так естественно, так просто, само собою понятно, что мы совсем не удивлялись, а потом месяцы целые не могли надивиться тому же.

У нас было три комнаты, мы сели в гостиной за небольшим столиком и, забывая усталость последних дней, проговорили часть ночи...

Толпа чужих на брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым, неприличным, почти циничским; к чему это преждевременное снятие покрывала с любви, это посвящение людей посторонних, хладнокровных — в семейную тайну. Как должны оскорблять бедную девушку, выставленную всенародно в качестве *невесты*, все эти битые приветствия, тертые пошлости, тупые намеки... Ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачного ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивление гостям, но всем праздношатающимся. А потом, первые дни начинающейся новой жизни, в которых дорога каждая минута, в которые следовало бы бежать куда-нибудь вдаль, в уединение, проводятся за бесконечными обедами, за утомительными балами, в толпе, точно на смех.

На другой день утром мы нашли в зале два куста роз и огромный букет. Милая, добрая Юлия Федоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участие в нашем романе, прислала их. Я обнял и расцеловал губернаторского лакея, и потом мы поехали к ней самой. Так как приданое «молодой» состояло

из двух платьев,— одного дорожного и другого венчального,— то она и отправилась в венчальном.

От Юлии Федоровны мы заехали к архиерею; старик сам повел нас в сад, сам нарезал букет цветов, рассказал Natalie, как я его стращал своей собственной гибелью, и в заключение советовал заниматься хозяйством.

— Умеете ли вы солить огурцы? — спросил он Natalie.

— Умею,— отвечала она, смеясь.

— Ох, плохо верится. А ведь это необходимо.

Вечером я написал письмо к моему отцу. Я просил его не сердиться на конченное дело и, «так как бог соединил нас», простить меня и присовокупить свое благословение. Отец мой обыкновенно писал мне несколько строк раз в неделю, он не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его, даже начало письма было, как всегда. «Письмо твое от 10 мая я третьего дня в пять часов с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что бог тебя соединил с Наташей. Я воле божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки».

Как мы смеялись от чистого сердца этому разделу духовной и светской власти!

А куда как надобно было прибавить! Деньги, которые я занял, выходили. У нас не было ничего, да ведь решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей, из экономических видов, сделал отчаянный опыт превратиться в повара, но, кроме бифстека и котлет, он не умел ничего делать и потому держался больше вещей по натуре готовых: ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой, необычайно твердых и не первой молодости. Обед был для нас бесконечным источником смеха: иногда молоко подавалось сначала, это значило суп; иногда после всего, вместо десерта. За этими спартанскими трапезами мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессию священнодействия обеден-

ного стола у княгини и у моего отца, где полдюжина официантов бегали из угла в угол с чашками и блюдами, прикрывая торжественной *mise en scène*, в сущности, очень незатейливый обед.

Так бедствовали мы и пробивались с год времени. Химик прислал десять тысяч ассигнациями, из них больше шести надобно было отдать долгу, остальные сделали большую помощь. Наконец, и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом: он, не прибавляя к окладу, стал присылать денежные подарки, несмотря на то, что я ни разу не заикнулся о деньгах после его знаменитого *distinguo!*¹

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался внаймы запущенный большой барский дом с садом. Он принадлежал вдове какого-то князя, проигравшегося в карты, и отдавался особенно дешево оттого, что был далек, неудобен, а главное оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничем не отделенную, для своего сына, баловня лет тринадцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это чересполосное владение; я тотчас согласился, меня прельстила вышина комнат, размер окон и большой тенистый сад. Но именно эта вышина и эти размеры пресмешно противуречили совершенному отсутствию всякой движимой собственности, всех вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень равнодушная к Матвею, снабжала нас на свой страх то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какие светлые, безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в три комнаты у Золотых ворот и в огромном доме княгини!.. В нем была большая зала, едва меблированная; иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделябрах, прибитых к стене, и, осветив залу а *giorno*², читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок «не торжествовал» в нашем доме.

¹ различаю, провожу различие (лат.).— *Ред.*

² ярко, как днем (итал.).— *Ред.*

И со всем этим ребячеством, жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и мирном, мы вполне были отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей — несколько слов горячей симпатии, — и потом опять одни, совершенно одни. Но в этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я — живую деятельность, мое *semper in motu*¹, беспредельную любовь да, сверх того, путаницу серьезных идей, смеха, *опасных* мыслей и кучу несбыточных проектов.

«...Мои желания остановились. Мне было довольно — я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что он и не возьмет ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел; всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его.

Весною приехал Огарев из своей ссылки на несколько дней. Он был тогда во всей силе своего развития; вскоре приходилось и ему пройти скорбным испытанием; минутами он будто чувствовал, что беда возле, но еще мог отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и сам думал тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному сил, в ней выражается доверие к жизни, к себе. Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас... а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти.

И хорошо, что человек или не подозревает, или умеет не видеть, забыть. Полного счастья нет с тревогой; полное счастье покойно, как море во время летней тишины. Тревога дает свое

¹ всегда в движении (лат.). — *Ред.*

болезненное, лихорадочное упоение, которое нравится, как ожидание карты, но это далеко от чувства гармонического, бесконечного мира. А потому, сон или нет, но я ужасно высоко ценю это доверие к жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила... Мрут же китайцы из-за грубого упоения опиумом...»

Так окончивал я эту главу в 1853 году, так окончу ее и теперь.



ГЛАВА XXIV

13 ИЮНЯ 1839 ГОДА *

Раз, длинным зимним вечером в конце 1838, сидели мы, как всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворе сильно морозило, и в комнате было совсем не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диване, покрывшись мантильей, я сидел возле на полу; чтение не налаживалось, она была рассеянна, думала о другом, ее что-то занимало, она менялась в лице.

— Александр,— сказала она,— у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебе скажу на ухо, или нет — отгадай.

Я отгадал, но потребовал, чтоб она сказала ее, мне хотелось слышать от нее эту новость; она *сказала мне*, и мы взглянули друг на друга в каком-то волнении и с слезами на глазах.

...Как человеческая грудь богата на ощущение счастья, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрощенная, с обычной щедростью своей,— и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит.

Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью, а между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем неведанные нами области сердца, упоений, тревог и надежд.

Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей. Новый элемент вступает в жизнь, какое-то таинственное лицо стучится в нее — гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни был, он — счастливый незнакомец, с какой любовью его встречают у порога жизни!

А тут мучительное беспокойство — родится ли он живым или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы — «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних все еще скрыто; не у кого спросить, да и совестно.

Но вот младенец подает знаки жизни,— я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы, это — первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего припелыца и уступает ему долю своей жизни.

— Моя жена,— сказал мне раз один французский буржуа,— моя жена,— он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил вполслуха:— беременна.

Действительно, путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается чем-то неприличным; требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности, а из приличия. Все это идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; все это несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, в две разные стороны. Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «*Almanach des femmes*», что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы рождаются. — Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить

беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоения весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своею грудью,— один из самых изящных и трогательных образов.

В римских элегиях, в «Ткачихе» *, в Гретхен и ее отчаянной молитве * Гёте выразил все торжественное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.

Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви,— как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты полноты, в которые жизнь, слабая, склоняется под избытком счастья...

...С ужасом открывается мало-помалу тайна, несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно, отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца, она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести ее назад, она ждет несчастья, как милосердия, как прощения,— а неотвратимая природа идет своим путем: она здорова, молода!

Заставить, чтоб мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше — сделать из нее его палача, а потом ее казнить нашим палачом или покрыть ее позором, если сердце женщины возьмет верх,— какое умное и нравственное устройство!

И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную тропу от любви до страха, от страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у нее минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нем сходство с кем-то, который был ей так дорог...

«Да чувствуют ли они это? Конечно, есть несчастные жертвы... но... но другие, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время середь тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников... Конечно, в них всего труднее предположить след материнских чувств. Не правда ли?

Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала к почетному гражданству разврата, т. е. не «делала» демократически «трогуар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца. Это было на публичном бале; приятель, бывший со мною, знал ее и пригласил выпить с нами на хорах бутылку вина, она, разумеется, приняла приглашение. Это было существо веселое, беззаботное и, наверное, как Лаура в «Каменном госте» Пушкина, никогда не заботившаяся о том, что там, где-то далеко в Париже, холодно, слушая, как сторож в Мадриде кричит «ясно»... * Допивши последний бокал, она снова бросилась в тяжелый вихрь английских танцев, и я потерял ее из виду.

Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду в Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарем за аркой стояла, вероятно, ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты ее показались мне знакомыми, она взглянула на меня, отвернувшись и хотела спрятаться, но я успел узнать ее.

— Что с вами сделалось? — спросил я ее с участием.

Яркий пурпур покрывал ее исхудалые щеки; стыд ли это был или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной состарелась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна, — она с видом сильной горести указала мне взглядом на свое изношенное платье.

— Да где же ваш друг?

— Убит в Крыму.

— Да ведь он был какой-то купец?

Она смешалась и, вместо ответа, сказала:

— Я и теперь еще очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменялась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.

— Очень, тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети.

Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:

— Отчего же вы это узнали?

— Да, видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было?

— Ничего, ну только вы правы, у меня есть маленький... Если б вы знали, — и при этих словах лицо ее оживилось, — какой славный, как он хорош, даже соседи, все, удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положению. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазинах, а тут пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше, да не могу; я посмотрю на него, посмотрю — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать — с ребенком не берут. Я воротилась к матери, она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его; да вот пятый месяц как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, нынешний год уголь, хлеб — все дорого; приходится умирать с голоду. Вот я, — она приостановилась, — ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем... да малютку-то жаль, на кого же я его оставляю, ведь уж он очень, очень мил!

Я дал ей что-то и, сверх того, вынул шиллинг и сказал:

— А на это купите что-нибудь вашему малютке.

Она с радостью взяла монету, подержала ее в руке и, вдруг отдавая мне ее назад, прибавила с печальной улыбкой:

— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь, — ведь этому бедному малютке, с тех пор как он родился, никто еще не подарил ничего.

Я с умилением взглянул на эту *потерянную* женщину и дружески пожал ей руку.



А. И. ГЕРЦЕН С СЫНОМ АЛЕКСАНДРОМ
Портрет работы неизвестного художника. 1839 г.

Государственный литературный музей. Москва

Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнувший, голодный разврат, — разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестящие мишурного платья.

Это мне напомнило бедного умного переводчика «Фауста», Жерар-де-Нерваль, который застрелился в прошлом году. Он в последнее время дней по пяти, по шести не бывал дома. Открыли наконец, что он проводит время в самых черных харчевнях возле застав, вроде Поль Нике, что он там перезнакомился с ворами и со всякой сволочью, поит их, играет с ними в карты и иногда спит под их защитой. Его прежние приятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль, добродушно защищаясь, раз сказал им:

— Послушайте, друзья мои, у вас страшные предрассудки; уверяю вас, что общество этих людей вовсе не хуже всех остальных, в которых я бывал.

Его подозревали в сумасшествии; после этого, я думаю, подозрение перешло в достоверность!

Роковой день приближался, все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо «бабушки» с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастью, к нам из Москвы приехала, по просьбе моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна *, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления; я повиновался, как негр.

Раз ночью слышу, чья-то рука коснулась меня. Открываю глаза: Прасковья Андреевна стоит передо мной в ночном чепце и кофте, со свечой в руках; она велит послать за доктором и за «бабушкой». Я обмер, точно будто эта новость была для меня совсем неожиданна. Так бы, кажется, выпил опиума, повернулся бы на другой бок и проспал бы опасность... Но делать

было нечего, я оделся дрожащими руками и бросился будить Матвея.

Десять раз выбегал я в сени из спальни, чтоб прислушаться, не едет ли издали экипаж: все было тихо, едва-едва утренний ветер шелестил в саду, в теплом июньском воздухе; птицы начинали петь, алая заря слегка подкрашивала лист, и я снова торопился в спальню, теребил добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жал руки Наташе, не знал, что делать, дрожал и был в жару... Но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь, — слава богу, во-время!

В одиннадцать часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара: громкий крик новорожденного коснулся моего уха. «Мальчик!» — кричала мне Прасковья Андреевна, идучи к корыту; я хотел было взять младенца с подушки, но не мог: так дрожали у меня руки. Мысль об опасности (которая часто тут только начинается), сжимавшая грудь, разом исчезла, буйная радость овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола, праздников праздник! Наташа улыбалась мне, улыбалась малютке, плакала, смеялась, и только прерывающееся, спазматическое дыхание, слабые глаза и смертная бледность напоминали о недавнем мучении, о вынесенной борьбе.

Потом я оставил комнату, я не мог больше вынести, взшел к себе и бросился на диван, совершенно обессиленный, и с полчаса пролежал без определенной мысли, без определенного чувства, в какой-то боли счастья.

Это измученно-восторженное лицо, эту радость, летающую вместе с началом смерти около юного чела родильницы, я узнал потом в Фан-Дейковой мадонне в римской галерее Корсини *. Младенец только что родился, его подносят к матери; изнеможенная, без кровинки в лице, слабая и томная, она улыбнулась и остановила на малютке взгляд усталый и исполненный бесконечной любви.

Надобно признаться, дева-родильница совсем не идет в холостую религию христианства. С нею невольно врывается жизнь, любовь, кротость — в вечные похороны, в страшный суд и в другие ужасы церковной теодицеи.

Оттого-то протестантизм и вытолкнул *одну* богородицу из своих сараев богослужения, из своих фабрик слова божия. Она

действительно мешает христианскому чину, она не может отделаться от своей земной природы, она греет холодную церковь и, несмотря ни на что, остается женщиной, матерью. Естественными родами мстит она за неестественное зачатие и вырывает благословение своему *чреву* из уст монашеских, проклиная все телесное.

Бонарроти и Рафаил поняли все это кистью.

В «Страшном суде» Сикстинской капеллы, в этой варфоломеевской ночи на том свете, мы видим сына божия, идущего предводительствовать казнями; он уже поднял руку... он даст знак — и пойдут пытки, мученья, раздастся страшная труба, затрещит всемирное аутодафе; но — женщина-мать, трепещущая и всех скорбящая, прижалась в ужасе к нему и умоляет его о грешниках; глядя на нее, может, он смягчится, забудет свое жестокое «женщина, что тебе до меня?» и не подаст знака.

Сикстинская мадонна — это Миньона после родов; она испугана небывалой судьбой, потеряна...

Was hat man dir, du armes Kind, getan?^{1*}

Внутренний мир ее разрушен; ее уверили, что ее сын — сын божий, что она — богородица; она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением, она будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И все это оттого, что она женщина-мать и вовсе не сестра всем Изидам, Реям и прочим богам женского пола.

Оттого-то ей и было так легко победить холодную Афродиту, эту Нинону Ланкло Олимпа, о детях которой никто не заботится; Мария с ребенком на руках, с кротко потупленными на него глазами, окруженная нимбом женственности и святостью звания матери, ближе нашему сердцу, чем ее златовласая соперница.

¹ Что с тобой сделали, бедное дитя? (нем.). — Ред.

Мне кажется, что Пий IX и конклав очень последовательно объявили неестественное или, по их, *незапятнанное* зачатие богородицы. Мария, рожденная, как мы с вами, *естественно* заступает за людей, сочувствует нам; в ней прокралось живое примирение плоти и духа в религию. Если и она не полюдски родилась, между ней и нами нет ничего общего, ей не будет нас жаль, плоть еще раз проклята, церковь еще нужнее для спасения.

Жаль, что папа опоздал лет тысячу,— это уж такая судьба Пия IX. *Troppo tardi, Santo Padre, siete sempre e sempre — troppo tardi!* ¹

¹ Слишком поздно, святой отец, вы всегда, всегда опаздываете (итал.).— *Ред.*



〈ПИСЬМА К Н. А. ЗАХАРЬИНОЙ〉

Когда я писал эту часть «Былого и дум», у меня не было нашей прежней переписки. Я ее получил в 1856 году. Мне пришлось, перечитывая ее, поправить два-три места, не больше. Память тут мне не изменила. Хотелось бы мне приложить несколько писем Natalie и с тем вместе какой-то страх останавливает меня, и я не решил вопрос, следует ли еще дальше разоблачать жизнь и не встретят ли строки, дорогие мне, холодную улыбку?

В бумагах Natalie я нашел свои записки, писанные долею до тюрьмы, долею из Крутиц. Несколько из них я прилагаю к этой части. Может, они не покажутся лишними для людей, любящих следить за всходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытством, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма.

1¹

15 августа 1832 *.

Любезнейшая Наталья Александровна!

Сегодня день вашего рождения; с величайшим желанием хотелось бы мне поздравить вас лично, но, ей-богу, нет никакой возможности. Я виноват, что давно не был, но обстоятель-

¹ Записочки эти сохранились у Natalie; на многих написано ею несколько слов карандашом. Ни одного письма из писанных ею в тюрьму не могло у меня уцелеть. Я их должен был тотчас уничтожить.

ства совершенно не позволили мне по желанию расположить временем. Надеюсь, что вы простите мне, и желаю вам полного развития всех ваших талантов и всего запаса счастья, которым наделяет судьба души чистые.

Преданный вам А. Г.*

2

5 или 6 июля 1833.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь одним письмом, — вот вам и другое. Чрезвычайно приятно писать к особам, с которыми есть сочувствие; их так мало, так мало, что и дести бумаги не изведешь в год.

Я — кандидат, это правда, но золотую медаль дали не мне. Мне серебряная медаль — *одна из трех!* *

А. Г.

P. S. Сегодня акт, но я не был, ибо не хочу быть вторым при получении награды.

3

(В начале 1834)

Natal e! Мы ждем вас с нетерпением к нам. М. надеется, что, несмотря на вчерашние угрозы Е. И.*, и Эмилия Михайловна * наверное будет к нам. Итак, до свиданья.

Весь ваш А. Г.

4

10 декабря 1834, Крутицкие казармы.

Сейчас написал я к полковнику письмо, в котором просил о пропуске *тебе*, ответа еще нет. У вас это труднее будет обделывать, я полагаюсь на маменьку. Тебе счастье насчет меня: ты была последней из моих друзей, которого я видел перед взя-

тием (мы расстались с твердой надеждой увидеться скоро, в десятом часу, а в два я уже сидел в части), и ты первая опять меня увидишь. Зная тебя, я знаю, что это доставит тебе удовольствие; будь уверена, что и мне также. Ты для меня родная сестра.

О себе много мне нечего говорить, я обжился, привык быть колодником; самое грозное для меня — это разлука с Огаревым: он мне необходим. Я его ни разу не видал — т. е. порядочно; но однажды я сидел один в горнице (в комиссии), допрос кончился; из моего окна видны были освещенные сени; подали дрожки; я бросился инстинктивно к окну, отворил форточку и видел, как сели плац-адъютант и с ним Огарев; дрожки укачивались, и ему нельзя было меня заметить. Неужели нам суждена гибель, немая, глухая, о которой никто не узнает? Зачем же природа дала нам души, стремящиеся к деятельности, к славе? Неужели это насмешка? Но нет, здесь в душе горит вера — сильная, живая. Есть провидение! Я читаю с восторгом четьи минеи, — вот примеры самоотвержения, вот были люди!

Ответ получил, он не весел — позволение пропустить не дают.

Прощай, помни и люби твоего брата *.

Б

31 декабря 1834.

Никогда не возьму я на себя той ответственности, которую ты мне даешь, никогда! У тебя есть много *своего*, зачем же ты так отдаешься в волю мою? Я хочу, чтоб ты сделала *из себя то, что можешь из себя сделать*, с своей стороны, я берусь способствовать этому развитию, отнимать преграды.

Что касается до твоего положения, оно не так дурно для твоего развития, как ты воображаешь. Ты имеешь большой шаг над многими; ты, когда начала понимать себя, очутилась одна, одна во всем свете. Другие знали любовь отца и нежность матери, — у тебя их не было. Никто не хотел тобою заняться, ты была оставлена себе. Что же может быть лучше для разви-

тия? Благодарю судьбу, что тобою никто не занимался: они тебе навевали бы чужого, они согнули бы ребяческую душу, — теперь это поздно *.

8 февраля 1835, Крутицкие казармы.

У тебя, говорят, мысль идти в монастырь; не жди от меня улыбки при этой мысли, — я понимаю ее, но ее надобно взвесить очень и очень. Неужели мысль любви не волновала твою грудь? Монастырь — отчаяние, теперь нет монастырей для молитвы. Разве ты сомневаешься, что встретишь человека, который тебя будет любить, которого ты будешь любить? Я с радостью сожму его руку и твою. Он будет счастлив. Ежели же этот *он* не явится — иди в монастырь, это в миллион раз лучше пошлого замужества.

Я понимаю *le ton d'exaltation*¹ твоих записок — *ты влюблена!* Если ты мне напишешь, что любишь серьезно, я умолкну, — тут оканчивается власть брата. Но слова эти мне надобно, чтоб ты сказала. Знаешь ли ты, что такое обыкновенные люди? Они, правда, могут составить счастье, — но твое ли счастье, Наташа? Ты слишком мало ценишь себя! Лучше в монастырь, чем в толпу. Помни одно, что я говорю это, потому что я твой брат, *потому что я горд за тебя и тобою!*

От Огарева получил еще письмо, вот выписка:

*«L'autre jour donc je repassais dans ma mémoire toute ma vie. Un bonheur, qui ne m'a jamais trahi, c'est ton amitié. De toutes mes passions une seule, qui est restée intacte, c'est mon amitié pour toi, car mon amitié est une passion»*².

...В заключение еще слово. Если он тебя любит, что же тут мудреного? Что же бы он был, если б не любил, видя тень внимания? Но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви — долго, долго.

Прощай, твой брат *Александр* *.

¹ восторженный тон (франц.). — *Ред.*

² «На днях я пробежал в памяти всю свою жизнь. Счастье, которое меня никогда не обманывало, — это твоя дружба. Из всех моих страстей единственная, которая осталась неизменной, — это моя дружба к тебе, ибо моя дружба — страсть» (франц.). — *Ред.*

«Февраль 1835 г.»

Каких чудес на свете не видится, Natalie! Я, прежде чем получил последнюю твою записку, отвечал тебе на все вопросы. Я слышал, ты больна, грустна. Береги себя, пей с твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняют тебе *благодетельные* люди *.

И вслед за тем на другом листочке:

«Март 1835 г.»

Наташа, друг мой, сестра, ради бога не унывай, презирай этих гнусных эгоистов, ты слишком снисходительна к ним, презирай их всех — они мерзавцы! Ужасная была для меня минута, когда я читал твою записку к Emilie. Боже, в каком я положении, — ну что я могу сделать для тебя? Клянусь, что ни один брат не любит более сестру, как я тебя, — но что я могу сделать?

Я получил твою записку и доволен тобою. Забудь его, коли так; это был опыт, а ежели б любовь в самом деле, то она не так бы выразилась *.

2 апреля <1835 г.>, Крутицкие казармы.

По клочкам изодрано мое сердце, во все время тюрьмы я не был до того задавлен, стеснен, как теперь. Не ссылка этому причиной. Что мне Пермь или Москва, и Москва — Пермь! Слушай все до конца.

31 марта потребовали нас слушать сентенцию. Торжественный, *дивный* день. Там соединили двадцать человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны — одни по казематам крепостей, другие — по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно, весело сидели эти люди в большой зале. Когда я пришел, Соколовский, с усами и бородою, бросился мне на шею, а тут Скатын; уже долго после меня привезли Огарева, все высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе, я жил, я *был* юноша,

я жал всем руку,— словом, это одна из счастливейших минут жизни, ни одной мрачной мысли. Наконец, нам прочли приговор¹.

...Все было хорошо, но вчерашний день,— да будет он проклят!— сломил меня до последней жилы. Со мной содержится Оболенский. Когда нам прочли сентенцию, я спросил дозволения у Цынского нам видаться,— мне позволили. Возвратившись, я отправился к нему; между тем, об этом дозволении забыли сказать полковнику. На другой день мерзавец офицер С. донес полковнику, и я, таким образом, замешал трех лучших офицеров, которые мне делали бог знает сколько одолжений; все они имели выговор и все наказаны и теперь должны, не сменяясь, дежурить три недели (а тут Святая). Васильева (жандарма) высекли розгами — и все через меня. Я грыз себе пальцы, плакал, бесился, и первая мысль, пришедшая мне в голову, было мщение. Я рассказал про офицера вещи, которые могут погубить его (он заезжал куда-то с арестантом), и вспомнил, что он бедный человек и отец семи детей; но должно ль щадить фискала? Разве он щадил других? *

9

10 апреля 1835, 9 часов

За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе — к тебе будет последний звук отъезжающего. Тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался; она влечет меня, и я покоряюсь. Когда ж мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы, изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру.

Может быть... но окончить нельзя, за мной пришли. Итак, прощай надолго, но, ей-богу, не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармах *.

На этой записке видны следы слез, и слово «может быть» подчеркнуто два раза ею. Natalie эту записку носила с собой несколько месяцев.

¹ Пропускаю его.



ПРЕДИСЛОВИЯ
ПЕРЕВОДЫ
ОТРЫВКИ

БРАТЬЯМ НА РУСИ

Под сими строками покоится прах сорокалетней жизни, окончившейся прежде смерти.

Братья, примите память ее с миром!

Наконец, смятение и тревога, окружавшие меня, вызванные мною, утихают; людей становится меньше около меня, и так как нам не по дороге, я более и более остаюсь один.

Я не еду из Лондона*. Некуда и незачем... Сюда прибило и бросило волнами, так безжалостно ломавшими, крутившими меня и все мне близкое... Здесь и приостановлюсь, чтоб перевести дух и сколько-нибудь прийти в себя.

Не знаю, успею ли я, смогу ли воспользоваться этим временем, чтоб рассказать вам страшную историю последних лет моей жизни. Сделаю опыт.

Каждое слово об этом времени тяжело потрясает душу, сжимает ее, как редкие и густые звуки погребального колокола, и между тем я хочу говорить об нем — не для того, чтоб от него отделаться, от моего прошедшего, чтоб покончить с ним, — нет, я им не поступлюсь ни за что на свете: у меня нет ничего, кроме его. Я благословил свои страдания, я примирился с ними; и я торжественно бы вышел из ряда испытаний, и не один, если б смерть не переехала мне дорогу*. За пределами былого у меня нет ничего своего, личного. Я живу в нем, я живу смертью, минувшим, — так иноки, постригаясь, теряли свою личность и жили созерцанием былого, исповедью совершившегося, молитвой об усопших, об их светлом воскресении. Прошедшее живо во мне, я его продолжаю, я не хочу его заключить, а хочу говорить, потому что я один могу свидетельствовать об нем.

Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям.

Мы расстались с вами, любезные друзья, 21 января 1847 г.*

Я был тогда во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне такие залогов и такие испытания, что я смело шел от вас, с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение.

Я нашел все, чего искал, — да, сверх того, гибель, утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся ни перед чем, посягающее на все, и нравственное растрение, о котором вы не имеете понятия...

Пятнадцать лет тому назад, будучи в ссылке, в одну из изящнейших, самых поэтических эпох моей жизни, зимой или весной 1838 года, написал я легко, живо, шутя воспоминания из моей первой юности*. Два отрывка, искаженные цензурой, были напечатаны. Остальное погибло; я сам долею сжег рукопись перед второю ссылкой*, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей.

Между теми записками и этими строками прошла и совершилась целая жизнь, — две жизни, с ужасным богатством счастья и бедствий. Тогда все дышало надеждой, все рвалось вперед, теперь одни воспоминания, один взгляд назад, взгляд вперед переходит пределы жизни, он обращен на детей. Я иду спиной, как эти дантовские тени, со свернутой головой, которым

il veder dinanzi a tolto ¹.*

Пятнадцать лет было довольно не только чтоб развить силы, чтоб исполнить самые смелые мечты, самые несбыточные надежды, с удивительной роскошью и полнотой, но и для того, чтоб сокрушить их, низвергая все, как карточный дом... частное и общее.

Продолжать «Записки молодого человека» я не хочу, да если б и хотел, не могу. Улыбка и излишняя развязность не идут к похоронам. Люди невольно понижают голос и становятся задумчивы в комнате, где стоит гроб — незнакомаго даже им покойника.

А. Герцен.

2 ноября 1852. Лондон. 2, Barrow Hill Place, Primrose Road

¹ не дано было смотреть вперёд (итал.). — *Ред.*



К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

〈ПРЕДИСЛОВИЕ〉

В октябре месяце нынешнего года Герст и Блякет издали английский перевод моих «Записок». Успех был полнейший: не только все свободномыслящие журналы и ревью поместили большие отрывки с самыми лестными отзывами (с особенной благодарностью вспоминаю я о статьях «The Athenaeum», «The Critic» и «Weekly Times»), но даже тайнобрачный орган палмерстоновского и бонапартовского союза «Morning Post» разбранил меня и советовал закрыть русскую типографию, если я хочу пользоваться уважением (кого? — их — несколько не хочу).

Этот успех, вместе с разбором немецкого перевода в нью-йоркских и немецких журналах, решил мое сомнение — печатать или нет часть, предшествующую «Тюрьме и ссылке». В этой части мне приходилось больше говорить о себе, нежели в напечатанных, и не только о себе, но и о семейных делах. Это вещь трудная — не сама по себе, а потому, что по дороге невольно наталкиваешься на предрассудки, окружающие забором семейный очаг. Я не коснулся грубо ни одного воспоминания, не оскорбил ни одного истинного чувства, но я не хотел пожертвовать интересом, который имеет жизнь, искренно рассказанная, — целомудренной лжи и коварному умалчиванию.

Не знаю, стоит ли говорить о гнусных нападках, которым меня подвергла неосторожная проделка издателей; но, чтоб не подумали, что я умолчал о них, скажу несколько слов. Издатели переводов, не имевшие никакого сношения со мной, смело поставили слово «Сибирь» в заглавии. Я протестовал. Это не помешало одному журналу напасть на меня. Я отвечал, рассказав дело. Он продолжал клевету — я не мог нагнуться до ответа. По счастью, я знаю, что в России не только между нашими друзьями, но между нашими врагами не найдется ни один

человек, который бы заподозрил меня в намеренном обмане à la Barnum или подумал бы, что ссылка на чернильную работу была для меня добровольной службой.

И-р.

〈ВСЕ НЕСЧАСТИЕ БОРЬБЫ...〉

Все несчастье борьбы, на которую он потратил так много себя, состояло преимущественно в том, что он слишком серьезно и добросовестно принимал замечания и капризы отца. В преследованиях его ничего не было *лютого*: tracasseries¹, к которым он привык и которыми теснил нас, обращались ко всем. Бедный страдалец воображал, что отец его терпеть не может. Ненавидеть не только без причины, но и с причиной было вовсе не в нраве старика; он действительно был слишком эгоист, чтоб ненавидеть.

Принимать поверхностные шероховатости жизни за большие бедствия — страшная вещь. Без доли легости невозможно жить человеку; кто все принимает к сердцу, тому нет места на земле. Он столько же вне истинной жизни, как тот, с которого все стекает, как с гуся вода. Две-три струны играют приму, — когда они обрываются, все должно обрываться, когда они фальшат — все фальшит; остальное — хор, аккомпанемент, вариации — они могут прибавить согласия или несогласия, но основного тона не должны менять в здоровой натуре; человек может от них освободиться, но для этого надобно иметь внутри себя — или, пожалуй, вне — другие обитатели.

Натура больного именно не была здоровой натурой. Единственная обитель, которая могла представить выход брату, была музыка. Но он был уж слишком замучен, чтоб сделаться истинным артистом. Воспитанье, задержанное болезнью и небрежностью, не дало ему никаких средств внутреннего освобождения. Он вовсе не был лишен способностей, но одичал в своей физической и моральной борьбе.

〈ИЗ III ГЛАВЫ〉

Il se créa même une masse entière de fanatiques de l'esclavage, les uns y étaient par bassesse et calcul, les autres pire que cela — sans aucun intérêt, très franchement.

¹ придирки (франц.). — Ред.

L'insurrection et la terreur firent sur moi une grande impression. Je ne sais comment, mais dès les premiers jours je sentais que je n'étais pas du côté des canons et de la mitraille — l'exécution de Pestel et de ses amis réveilla complètement mon âme et décida de mon sort.

Tout le monde attendait la commutation de la peine, c'était la veille du couronnement, même mon père avec sa réserve prudente et son scepticisme disait que les gibets et toutes ces sentences imprimées n'étaient que pour frapper les esprits. On connaissait trop peu son Nicolas. Il quitta Pétersbourg et sans entrer à Moscou s'arrêta au Palais Pétrovsky, et c'est là qu' <il> attendait la bonne nouvelle. On était stupéfait en lisant un matin le terrible article de la gazette officielle: «Le 26 juillet à 5 heures du matin cinq traîtres condamnés par la Haute Cour ont été *pendus* par la main du bourreau».

Il ne faut pas oublier que le peuple russe est déshabitué des meurtres judiciaires. Depuis l'exécution immorale et astucieuse de Mirovitch qui a été décapité pour le crime commis par Catherine, et du célèbre Pougatcheff avec ses deux amis — il n'y avait pas une seule exécution, c'est-à-dire pendant cinquante ans. Du temps de Paul, il y avait une révolte partielle des Cosaks, deux officiers y étaient mêlés, Paul investit d'un pouvoir discrétionnaire le hetman qui présidait le conseil de guerre, on condamna les deux officiers à être décapités. La sentence leur fut annoncée — mais personne ne voulait signer l'ordre, le hetman, ne sachant que faire en écrivit à l'empereur. Paul était très mécontent.

ПЕРЕВОД

Создалась даже целая масса фанатиков рабства, одни из подлости и расчета, другие хуже того — без всякой корысти, совершенно чистосердечно.

Восстание и террор произвели на меня огромное впечатление. Не знаю, каким образом, но с первых же дней я почувствовал, что я не на стороне пушек и картечи, — казнь Пестеля и его друзей совершенно разбудила мою душу и решила мою судьбу.

Все ожидали смягчения наказания, это было накануне коронации, — даже мой отец, со своей осторожной сдержанностью и скептицизмом, говорил, что виселицы и все эти напечатанные приговоры имеют целью лишь поразить умы. Но все слишком плохо знали своего Николая. Он покинул Петербург и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце, и там-то он ожидал доброй вести. Все были поражены, читая как-то утром страшную статью официальной газеты: «26 июля в 5 часов утра

пять изменников, осужденных Верховным судом, были *повешены* рукой палача».

Не следует забывать, что русский народ отвык от убийств по судебному приговору. Со времен безнравственной и коварной казни Мировича, который был обезглавлен за преступление, совершенное Екатериной, и знаменитого Пугачева с его двумя друзьями, т. е. в течение пятидесяти лет, не было ни одной казни. При Павле было какое-то частное возмущение казаков; в нем были замешаны два офицера; Павел дал неограниченную власть гетману, председательствовавшему на военном совете; оба офицера, по приговору, должны были быть обезглавлены. Приговор был им объявлен, но никто не хотел подписать приказа; гетман, не зная, что делать, написал об этом императору. Павел был очень недоволен.



КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

ВВЕДЕНИЕ <К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ «ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ»>

В конце 1852 года я жил в одном из лондонских захолустьев, близ Примроз-Гилля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа, знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось говорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что *ни один человек*, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других, все старое, полузабытое воскресало — отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка¹ — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как внешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь.

Я не имел сил отогнать эти тени, — пусть они светлыми сеньями, думалось мне, встречаются в книге, как было на самом деле.

И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее...

¹ Рассказ о «Тюрьме и ссылке» составляет вторую часть записок. В нем всего меньше речи обо мне, он мне показался именно потому занимательнее для публики.

Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище...

Лондон, 1 мая 1854 г.

〈ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ〉

PREFACE

In order to write down one's own recollections, it is by no means necessary to be a great man, or an extraordinary villain; a celebrated artist, or a statesman; it is enough to be merely a man, to have something to tell, and to be able and willing to tell it.

Every existence is interesting; if not on account of the person, yet on account of the country, the epoch in which he lives. Man likes to penetrate into the inward life of another; he likes to touch the most delicate chord of another heart, to watch its beatings, and penetrate its secrets, in order to compare, to verify, to seek a justification, a consolation, a proof of conformity.

Memoirs, however, can be tiresome, the life of which they speak can be poor, insignificant. Then do not read them; that is the heaviest punishment to be inflicted upon a book. And as to that, no special right for writing memoirs can avail. The memoirs of Benvenuto Cellini are not so interesting on account of his having been a great artist, but because the things he had to relate were most interesting.

«The right to this or that kind of words» is an expression which no longer belongs to our time, but to the time of a minority of intelligence, of the poets-laureate, of the doctors in caps, of the philosopher by privilege, of the patented learned men, and other pharisees of the academical world. In those times, the art of writing was considered sacred, the «official author», not only with the pen, but always speaking in a florid style, chose the most unnatural turning of phrases, and employed the words least used, in a word, he preached, or he sang.

For us, we speak quite plainly. We imagine that writing is an occupation fit for a layman, for any one else, a work like every other work. Here, at least, «the right to labour» cannot be doubted.

If the production can find consumers — is another question.

A year ago, I published in London, a part of my Memoirs, in the Russian language, under the title «Prisons and Exiles». This work appeared, when war had already begun, and when the means of communication with Russia had become more difficult. I did not therefore expect great success. But it happened otherwise. In the month of September, the «Revue des Deux Mondes» gave

long extracts from my book, with a very flattering article about myself (although I do not share the author's opinions). In the month of January, other fragments (likewise translated from the Russian), appeared in the «Athenaeum» of London, while Hoffman and Campe published a German translation of the work at Hamburg.

This has decided me to publish another volume.

I shall say in another place what deep interest these Memoirs have for me individually, and for what purpose I have begun to write them. I now content myself with the assertion: that there is no country in which Memoirs can be more useful than in Russia. We — thanks to the censorship — are very little accustomed to publicity; it frightens, astonishes and offends us. It is time the imperial artists of the police of St. Petersburg, should know, that sooner or later, their actions, so well hidden by the prisons, the irons and the graves, will be revealed in the broad glare of day.

ПЕРЕВОД

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или выдавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.

Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека, нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайные содрогания, мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, утешение, доказательство сходства.

Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их — и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы.

«Право на те или иные слова» — это устаревшее выражение, относящееся к эпохе деградации интеллектуальной жизни, ко времени поэтов-лауреатов, докторов в шапочках, привилегированных философов, патентованных ученых мужей и других фарисеев академического мира. В те времена писательское искусство считалось таинством, доступным пониманию немно-

гих избранников. «Официозный писатель» не только на бумаге, но и в жизни говорил напыщенным языком, выбирал самые неестественные обороты речи и пользовался наиболее редко употребляемыми словами, — словом, он то и дело проповедовал или воспевал.

Что касается нас, то мы говорим совершенно понятным языком. Мы понимаем писательское искусство как такое дело, которым может заняться любой человек. Для этого не надо быть профессионалом, так как это самая обычная работа. Здесь по крайней мере нельзя подвергнуть сомнению «право на труд».

То, что не всякое произведение может найти читателей, — вопрос другого порядка.

Год назад, в Лондоне, я опубликовал на русском языке часть своих мемуаров под заглавием «Тюрьма и ссылка». Эта работа появилась тогда, когда война уже началась и когда связь с Россией стала более затруднительной. Потому я и не ожидал большого успеха. Но случилось иначе. В сентябре месяце «Revue des Deux Mondes» поместил пространные выдержки из моей книги с крайне лестным отзывом обо мне самом (хотя я не разделяю мнения рецензента). В январе появились другие выдержки (соответственно переведенные с русского языка), напечатанные в лондонском «Athenaeum». В то же время Гофман и Кампе опубликовали в Гамбурге немецкий перевод этой работы.

Это побудило меня издать еще один том.

В другом месте я скажу, какой глубокий интерес для меня лично представляют эти мемуары и с какой целью я начал их писать. Теперь я довольствуюсь лишь констатацией того факта, что в настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Мы — благодаря цензуре — очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно и их позорные деяния будут разоблачены перед всем миром.

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ <«ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ»>

Когда *Н. Трюбнер* просил у меня дозволение сделать *второе издание* моих сочинений, изданных в Лондоне, я потому исключил «Тюрьму и ссылку», что думал в скором времени начать полное издание моих воспоминаний под заглавием «Былое и думы».

Но, несмотря на то, что скоро сказывается сказка, да не скоро делается дело, я увидел, что мой рассказ еще не так бли-

зок к полному изданию, как я думал. Между тем требования на «Тюрьму и ссылку» повторяются чаще и чаще. Книжка эта имеет свою относительную целость, свое единство, и я согласился на предложение г. Трюбнера.

Перечитывая ее, я добавил две-три подробности (мою встречу с Цехановичем и историю владимирского старосты...), но текст оставлен без значительных поправок. Я не разделяю шутя высказанного мнения Гейне, который говорил, что он очень доволен тем, что долго не печатал своих записок, потому что события доставляли ему случай проверять и исправлять сказанное.

И—р.

21 апреля 1858. Путней, близ Лондона.



К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

〈ПРЕДИСЛОВИЕ〉

Отрывок, печатаемый теперь, следует прямо за той частью, которая была особо издана под заглавием «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавил и дополнил.

Странная судьба моих «Записок»: я хотел напечатать одну часть их, вместо того напечатал три и теперь еще печатаю *четвертую*.

Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно («La presse», 13 oct. 1856), третий томик немецкого перевода моих «Записок», изданных Гофманом и Кампе в Гамбурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет шутя, что я повествую свою жизнь, как эпическую поэму: начал *in medias res*¹ и потом возвратился к детству.

Это эпическое кокетство — совершенная случайность, и если кто-нибудь виноват в нем, то совсем не я, а скорее мои рецензенты и в том числе сам критик «Прессы». Если б они отрывки из моих «Записок» приняли строже, холоднее и, что еще хуже, — пропустили бы их без всякого внимания, я долго не решился бы печатать еще и долго обдумывал бы, в каком порядке печатать.

Прием, сделанный им, увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать.

Я знаю, что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди были рады еще раз заглянуть за кулисы русской жизни. Но, может, в сочувствии к моему рассказу доля принадлежит *простой правде* его. Эта награда была бы мне очень дорога, ее только я и желал.

¹ с сути дела (лат.).— *Ред.*

Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было гораздо труднее ее писать... К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета зачем...

...Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя. Ведь мы уже теперь старые знакомые...

И—р.

Лондон, 21 ноября 1856.

〈АВТОРСКИЙ ПЕРЕВОД

ИЗ XXIV ГЛАВЫ〉

Une fois, par une longue soirée d'hiver, vers la fin de 1838, nous étions assis seuls comme toujours. Nous lisions et nous ne lisions pas. Nous parlions et nous nous taisions — et en nous taisant nous continuions à nous parler. Il gelait fortement dehors, et même il ne faisait pas chaud dans la chambre. N... ne se sentait pas bien, elle était couchée sur un sofa, couverte de sa mantille; j'étais assis à côté, par terre.

La lecture n'allait pas. N... était distraite et pensait à autre chose. Elle était préoccupée, sa figure changeait. — «Sais-tu, — me dit-elle, tout à coup, — j'ai un secret à te dire. Viens ici, je te le dirai à l'oreille, — ou plutôt, devine-le». Je devinais, mais je voulais l'entendre d'elle-même. Elle me le dit alors. Nous nous regardâmes agités, les larmes aux yeux, et sans prononcer une parole de plus.

Que la poitrine humaine est puissante pour sentir le bonheur! — Si les hommes savaient s'abandonner sans arrière-pensée, sans distraction! Ordinairement le bruit extérieur, des préoccupations futiles, une anxiété puérile, une susceptibilité irascible — enfin toute cette poussière qui se dépose peu à peu, vers le milieu de la vie, sur le coeur, — empêchent l'épanchement, troublent la jouissance. Nous laissons échapper les meilleurs, les plus rares moments de bonheur — comme si nous en avions une quantité énorme devant nous. Nous pensons au lendemain, à la prochaine année, lorsqu'il faudrait, sans perdre un instant, saisir à deux mains la coupe toute pleine — et boire — et boire. — Car la nature offre sans être priée, mais n'attend pas, — et la coupe s'en va. — Penser à demain! — Mais qui a dit qu'il y aurait un demain? — Et s'il y en a un, il ne sera pas pour nous peut-être!

Il était difficile d'ajouter quelque chose à notre bonheur; et pourtant la nouvelle d'un être à venir, d'un enfant, découvrit

dans notre cœur des espaces que nous ne connaissions pas, des sentiments d'une nouvelle ivresse, pleine de terreur, d'espérance, d'inquiétude et d'une attente passionnée.

C'est le commencement de la famille — car sans enfant il n'y a pas de famille. L'amour effrayé devient plus tendre, se fait garde-malade, soigne, veille. L'égoïsme à deux ne se fait pas seulement égoïsme à trois, mais résignation de deux pour un troisième. Un élément nouveau entre dans l'intimité de la vie; un personnage mystérieux frappe à la porte, un hôte qui *est* et qui *n'est pas*, mais qui est déjà complètement nécessaire, indispensable. Qui est-il? — personne n'en sait rien. — Mais qui que tu sois, inconnu, tu es heureux. Avec quel amour, avec quelle tendresse on t'attend au seuil de la vie.

Et quelles transes, quels doutes! — Sera-t-il vivant, ou non? — Il y a tant de cas malheureux. — Même cela arrive souvent. Le médecin sourit, ne veut pas dire ou ne sait pas. On se cache des autres. On n'a personne à qui demander un conseil, et on a honte.

Mais l'enfant donne ses signes de vie. — Je ne connais pas de sentiment plus pieux et religieux que celui qui remplit l'âme lorsque la main sent les premiers mouvements de la vie future qui tâche de briser ses liens, de sortir au grand jour, qui essaie ses muscles non mûrs et endormis. — C'est la première imposition des mains, par laquelle le père donne sa bénédiction à l'être futur et qui cède une partie de soi-même.

— Ma femme, — me dit un jour un brave bourgeois, — ma femme, — et il se tourna à gauche et à droite pour voir s'il n'y avait pas dans l'appartement des femmes ou des mineurs, — elle est enfin, pardonnez-moi, mais enfin... elle est enceinte...

Oui, la confusion de toutes les notions morales est encore telle que parler de l'état d'une femme enceinte offense les mœurs. Pourtant c'est bien étrange: on exige d'un homme un respect absolu, une vénération sans bornes pour la mère quelle qu'elle soit, et on voile le mystère de la naissance, non par un sentiment de piété ou de respect, mais — par bienséance. Tout cela, résultat de la dissolution idéelle, de la corruption monacale, de cet éternel et maudit holocauste de la chair, de ce malheureux dualisme qui nous tire en deux sens opposés, comme les hémisphères de Magdebourg. Il y a deux années, j'ai lu dans un livre — écrit par un socialiste — qu'avec le temps les enfants naîtront d'une autre manière! — et de laquelle? — comme les anges. — Au moins, c'est claire.

Honneur à notre maître commun, le vieux réaliste Goethe! C'est lui qui a osé mettre à côté des vierges du romantisme *la femme enceinte*, et qui n'a pas craint de ciseler les formes altérées de *la mère future*, en les comparant aux formes sveltes de *la femme future*.

En effet, la femme qui porte, avec la mémoire des transports passés, toute la croix de l'amour, tout son fardeau; qui sacrifie sa beauté, sa vie; qui souffre, qui nourrit enfin de son sein,— c'est une des plus poétiques et des plus touchantes images.

Dans les *Elégies* romaines, dans la *Fileuse*, dans *Gretchen* et sa prière pleine de désespoir, Goëthe a exprimé de quelle solennité exhubérante la nature entoure le fruit mûrissant, et de quelle couronne d'épines la société entoure le vase du futur.

Pauvres mères! qui doivent cacher comme une flétrissure les traces de l'amour, avec quelle inhumanité, avec quelle grossièreté le monde les persécute!.. Dans le temps où la femme a un besoin si énorme de repos, de tendresse, de bienveillance, on leur empoisonne ces moments irremplaçables où la vie faiblissante succombe sous le poids du bonheur et de la plénitude.

C'est avec horreur que la mère malheureuse découvre ce secret. Elle tâche de se convaincre que ce n'est rien... Mais bientôt le doute devient impossible; elle accompagne de larmes et d'angoisses chaque mouvement de l'enfant; elle voudrait arrêter le travail mystérieux de la nature, lui faire rebrousser chemin; elle attend un malheur comme une miséricorde, comme un pardon. Mais l'infléxible nature va son chemin.— Elle est si forte, si jeune!..

Forcer une mère à désirer la mort de son enfant, et quelquefois plus, faire d'elle son bourreau et la livrer ensuite à l'autre, ou, si le cœur féminin prend le dessus, la flétrir: — quelle organisation magnifique et morale de la société!

Et qui s'est jamais donné la peine d'étudier, d'apprécier tout ce qui s'est passé dans son cœur pendant qu'elle parcourait le chemin fatal de l'amour à la frayeur, de la frayeur au désespoir, du désespoir au crime! — c'est-à-dire à la folie: car il y a une absurdité physiologique dans l'enfanticide.

Cette femme avait sans doute des moments d'oubli où elle aimait éperdument son enfant futur, et d'autant plus que son existence était un secret profond entre elle et lui.— Elle rêvait aussi à sa petite jambe, à son sourire, à ses lèvres pleines de lait — de son lait à elle; elle l'embrassait en rêvant, lui trouvait de la ressemblance avec des traits qui lui furent si chers; ... et il faut le tuer!

Oh! Certainement, il y a des pauvres malheureuses; mais, en général, les femmes — perdues — n'ont pas ces sentiments.

Les femmes perdues,— lesquelles?

Certes, il n'y a rien de plus déchu que ces lézards, ces chauves-souris qui vont et viennent dans le brouillard des nuits de Londres, en offrant — victimes de la pauvreté par lesquelles la société défend les honnêtes femmes... contre l'excès des passions de leurs adorateurs — leur corps transi de froid au passant, pour ne pas mourir de faim.

Dans cette classe, il serait bien difficile de trouver quelques traces de cœur maternel, n'est-ce pas?

Eh bien, je vais vous raconter un petit fait qui m'est arrivé!

Il y a trois ans, je rencontrai une jeune fille, assez jolie et mignonne. Elle appartenait à l'aristocratie de la corruption: c'est-à-dire qu'elle ne faisait démocratiquement *le trottoir*, mais était bourgeoisement entretenue par un négociant. C'était à un bal public. Un de mes amis, avec lequel j'étais là, la connaissait. Il l'invita à prendre un verre de vin avec nous. Elle accepta. C'était un être gai, éveillé, superficiel, sans aucun souci de lendemain. Ayant fini son dernier verre, elle s'élança dans le tourbillon lourd de la danse anglaise, et je la perdis de vue.

Cet hiver, par une soirée pluvieuse, je traversais la rue pour m'abriter sous les arcades de Pall-Mall, lorsque j'aperçus sous une lanterne, une jeune femme pauvrement vêtue qui grelottait, attendant une proie. Il me semblait, que je connaissais ses traits. Elle jeta un regard sur moi et se détourna. Mais il était trop tard; je l'avais reconnue.

M'approchant d'elle, je lui demandai avec intérêt, comment elle se trouvait là. Une rougeur fébrile couvrait ses joues fanées.— Etait-ce la honte — ou la phtisie? Je ne sais pas; mais il me semblait bien que ce n'était pas le rouge végétal. Dans ces deux années elle avait vieilli de dix.

— J'ai été bien malade, et je suis bien malheureuse,— me dit-elle avec une tristesse profonde et en me montrant du regard ses vêtements passés et ternes.

— Mais où est donc votre ami?

— Il a été tué en Crimée.

— Moi qui le croyais négociant.

Un peu interdite, au lieu de me répondre, elle m'interrogea d'un air triste:

— Dites-moi, de grâce, est-ce que je suis bien changée?

— Oui, lorsque je vous ai vue pour la première fois on pouvait vous prendre pour une enfant; maintenant vous avez l'air d'avoir vous-même des enfants.

Elle rougit encore plus et me dit, stupéfaite par mon observation:

— Comment l'avez-vous deviné?

— De manière ou d'autre; mais j'ai deviné. Maintenant, parlez-moi sérieusement, que vous est-il donc arrivé?

— Rien du tout.— Seulement, c'est vrai, j'ai un petit.— Si vous l'aviez vu. Mon Dieu! Qu'il est beau; tous les voisins en sont étonnés. Je n'ai jamais vu un enfant pareil.— L'autre il s'est marié à une femme riche, et il est parti pour le Continent. Le petit est né après, et c'est lui qui m'a plongé dans cette misère. Au commencement j'avais de l'argent; je lui achetais tout dans

les grands magasins. Mais, peu à peu, tout s'en est allé; j'ai engagé ce que j'avais.— On me conseillait de placer l'enfant en nourrice dans quelque village. Certainement cela serait mieux; mais il m'est impossible de m'en séparer. Je le regarde — je le regarde, et je pense que c'est mieux de mourir ensemble que de l'abandonner à des gens qui ne l'aiment pas. J'ai tâché de trouver une place; mais personne ne veut me prendre avec l'enfant. Je suis revenue chez ma mère. Elle est bonne; elle m'a tout pardonné, et elle aime le petit; elle le caresse. Mais il y a quatre mois, elle perdit l'usage de ses jambes.— Sa maladie nous a bien coûté, et cela ne va pas mieux. Vous savez vous-même, quelle dure année... Le charbon, le pain, tout est cher.— Nous n'avons pas de vêtements, pas d'argent.— Eh bien! je... Certainement, il serait mieux de se jeter dans la Tamise.— Oh! Ce n'est pas un plaisir, allez... mais... à qui laisser le petit?..

Je lui donnai quelque argent, et, ajoutant un shelling, je lui dis: «Achetez, avec ce shelling, quelque chose au petit». Elle commença par prendre l'argent; mais tout à coup elle le rendit, disant: «Si vous avez tant de bonté pour moi et pour le petit, achetez-lui quelque chose, dans la première boutique, vous-même. Cet enfant, depuis qu'il est né, n'a jamais reçu aucun cadeau de personne».

Je la regardais tout ému—et je serrai, avec amitié, avec estime, la main de cette femme... perdue.

Les amateurs de la réhabilitation feraient peut-être mieux de sortir de ces boudoirs parfumés, où ils trouvent, sur des sophas couverts de velours et de damas, des dames aux camélias et des dames aux perles, pour s'encanailler un peu. Ils trouveraient, au coin des rues, en regardant en face la débauche fatale, la débauche imposée par la faim, la débauche qui entraîne sans merci ni miséricorde, qui ne permet ni de s'arrêter, ni de prendre haleine, des sujets d'étude un peu plus sérieux. Les chiffonniers trouvent plus souvent des diamants dans le ruisseau que dans les oripeaux de théâtre, semés de paillettes de papier doré.

Cela me rappelle le malheureux Gérard de Nerval. Dans les derniers temps, avant son suicide, il s'absentait très souvent pour deux ou trois jours. On sut enfin qu'il passait son temps dans les estaminets les plus mal famés. Là, il avait fait connaissance avec des voleurs, des rôdeurs de barrières. Il jouait aux cartes avec eux, il les régalaient et dormait quelquefois sous leur égide. Ses amis le prièrent de ne plus y aller. Mais Nerval leur répondit, avec une grande naïveté: «Chers amis, je vous assure, que vous avez des préjugés étranges et injustes contre ces gens-là. Croyez-moi, ils ne sont ni meilleurs ni pires que tous les autres que j'ai connus».—Alors les honnêtes gens ne doutèrent plus de l'aliénation mentale du traducteur de «Faust».

Le jour fatal approchait, la peur devenait de plus en plus grande. Je regardais avec servilité le docteur, et, ce personnage mystérieux, la sage-femme. Ni N..., ni moi, ni notre jeune femme de chambre, nous ne savions ce qu'il fallait faire. Heureusement, une vieille et bonne dame vint, de Moscou, chez nous, et prit d'une main ferme les rênes du gouvernement. — J'obéissais comme un nègre.

Une fois, au milieu de la nuit, j'entends une voix qui m'appelle, j'ouvre les yeux; la vieille dame, en jaquette de nuit, un foulard sur la tête, un bougeoir à la main, était là: m'ordonnant d'envoyer à l'instant chercher le docteur et la sage-femme. Je mourais de frayeur — comme si c'eût été une surprise, comme si nous n'avions pas parlé des mois entiers de ce moment! Avec quel bonheur je me serais tourné sur l'autre côté, après avoir pris une dose d'opium pour dormir pendant tout le temps du danger! — Mais il n'y avait rien à faire. — Je m'habillai tout tremblant; j'envoyai le domestique, et m'élançai dans la chambre à coucher de N... — Je lui prenais les mains; j'ennuyais la vieille dame par des questions insipides et je sortais dix fois par minute dans le vestibule pour écouter si on n'entendait pas le bruit d'un équipage. — C'était une nuit chaude d'été, tout était tranquille et calme; les oiseaux commençaient à chanter; l'aurore colorait les feuilles des arbres du jardin; j'aspirais l'air fortement et je retournais dans la chambre à coucher. — Enfin, on entendit une voiture roulant sur le Pont! — Grâce à Dieu! — Ils arrivaient encore à temps.

A onze heures du matin, je tressaillis comme frappé d'un coup électrique. Le cri fort d'un nouveau-né avait frappé mes oreilles. «C'est un garçon!» — criait la vieille dame, tout en larmes elle-même, et me l'apportant sur un coussin. Je voulais le prendre; mais mes mains tremblaient si fort que la vieille dame ne voulut pas me le donner.

Toute idée de danger avait disparu (quoique très souvent ce soit alors que le danger commence). Une joie folle s'empara de moi, comme si j'avais un carillon de toutes les cloches, un brouhaha de fête à l'intérieur. N... me souriait, souriait à l'enfant, pleurait, riait; et seulement la respiration spasmodique et une pâleur mortelle rappelaient les souffrances de tout à l'heure.

Je quittais l'appartement; j'entrai chez moi, et, complètement brisé, je me jetai sur mon canapé; sans pensée déterminée, sans me rendre compte de ce qui s'était passé, je restai là — dans une souffrance de bonheur.

J'ai vu encore, ailleurs, de jeunes traits exprimant à la fois cette souffrance et ce bonheur: de jeunes traits où la mort et une joie douce et suave planaient ensemble. C'était à Rome, dans la galerie du prince C... Je les ai < tout > de suite reconnus, en re-

gardant la Madone de Van Eyck, et je me suis arrêté tressaillant — et je ne pouvais pas m'arracher de ce tableau.

Jésus vient de naître, on le montre à la Madone. Brisée, fatiguée, languissante, sans une goutte de sang dans la figure, elle sourit à l'enfant et arrête sur lui un regard faible qui se fond en amour.

Il faut le dire, la vierge-mère ne va pas du tout dans la religion célibataire du christianisme. Avec elle, dans l'éternel enterrement du monde par l'église, dans le dernier jugement et autres horreurs de la théodicée sacrée, pénètrent la vie, la douceur, l'amour.

C'est pour cela que le protestantisme ne chassa que la Madone de ses hangars de piétisme, de ses fabriques de sermons. Elle confond l'ordre divin de la Trinité; elle ne peut pas se défaire de la nature terrestre; elle chauffe l'enceinte froide de l'église, et reste, quand-même, femme et mère. Par un enfantement naturel, elle se venge de la conception miraculeuse, et elle arrache au moine ascète une bénédiction — à son ventre.

Michel Ange et Rafael ont compris tout cela avec leurs pinceaux.

Dans le Dernier Jugement de la Chapelle Sixtine, dans cette Saint-Barthélémy au ciel, nous voyons le Fils allant fêter la vengeance divine. — Il a déjà levé une main; à l'instant il donnera le signal, et les tortures, les martyres, un auto-da-fé universel commenceront aux sons terribles de la trompette. Mais à côté de lui, une femme, sa mère, tremblante, *dolorosa*, se presse contre lui. — Peut-être en la regardant, il s'adoucirait; il oublierait sa dure parole, «femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?», et il ne donnera pas le signal.

La Madone Sixtine, de son côté, c'est Mignon de Goethe après ses couches. On l'a effrayée par un sort sans exemple; elle a perdu la tête.

Was hat man dir, du, armes Kind, getan!

Sa tranquillité intérieure est détruite. On lui a fait accroire que son fils — est un fils de Dieu. Elle le regarde dans un état d'exaltation nerveuse, magnétique, et semble dire: «Prenez-le, il n'est pas à moi». Et en même temps elle le presse... de manière qu'on voit très bien que, si c'était possible, elle s'enfuirait au fond des forêts, et, loin des hommes, caresserait, allaiterait, non pas le sauveur du monde, — mais son enfant, à elle. Et tout cela, parce qu'elle est restée femme et n'a rien de commun avec les dieux femelles, les Isis, les Cérès, les Dianes.

C'est aussi pour cela qu'il lui était si facile de vaincre la froide Aphrodite, cette Ninon de Lenclos de l'Olympe, des enfants de laquelle personne ne se soucie. Marie la Vierge, avec son fils

dans ses bras, baissant doucement sur lui ses regards, est entourée d'une toute autre auréole de sainteté que sa rivale coquette.

Il me semble que Pie IX et le Conclave ont agi avec beaucoup de conséquence en proclamant l'immaculée conception de la Vierge. Marie, née comme vous et moi, prendra nécessairement notre parti; elle représentera la pacification vivante de l'esprit et de la chair. Mais si elle, non plus, n'est pas née d'une manière humaine, qu'a-t-elle de commun avec nous? — Elle n'aura pas de pitié pour nous. Gretchen ne pourra pas lui confier sa faute. — La chair est encore une fois maudite; l'église encore une fois plus nécessaire pour le salut.

C'est seulement dommage que le Pape ait retardé d'une dizaine de siècles. C'est le sort de Pie IX: *Troppo tardi, santissimo Padre! siete sempre e sempre troppo tardi!*



ВАРИАНТЫ



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

1. Архивохранилища

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив. Москва.

МОИА — Московский областной государственный исторический архив.

2. Печатные источники

Буд I — «Былое и думы», том I, Лондон, 1861.

Буд II — «Былое и думы», том II, Лондон, 1861.

Тус — «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон, 1854, 2 изд. 1858.

ПЗ — альманах «Полярная звезда».

К — «Колокол».

ЛН — сборники «Литературное наследство».

Л (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома) — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, П., 1919—1925, тт. I—XXII.



БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр. 13

Заглавие части в ПЗ отсутствует.

Глава I

Стр. 21

³⁵ *Вместо:* дни, ночи — *в ПЗ:* дни и ночи

Стр. 25

⁸ *Вместо:* на минуточку — *в ПЗ:* на минуту

⁸⁻⁹ *Вместо:* человек — *в ПЗ:* человек

³⁷ *Вместо:* Страницы, в которых — *в ПЗ:* Глава, в которой

⁴⁰ *Вместо:* выпущены — *в ПЗ:* выпущена

Стр. 26

⁸ *Слова:* с графами Девьер — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 28

²¹ *Слова:* тогда или в другой день — не помню — *в ПЗ отсутствуют.*

³⁶ *Вместо:* чем — *в ПЗ здесь и дальше:* нежелл.

Глава II

Стр. 33

¹³ *Слова:* у Сенатора — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 35

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* как томно и однообразно шло для меня время — *в ПЗ:* что время шло томно и однообразно для меня

²¹⁻²² *Слова:* он баловал меня только лет до десяти — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 42

¹² *Вместо:* премию — *в ПЗ:* приму

¹⁵ *Вместо:* премия — *в ПЗ:* прима

¹⁶ *Вместо:* премией — *в ПЗ:* прямой

Стр. 44

³¹ *Вместо:* Трубецкой — *в ПЗ:* Т.

Стр. 45

¹⁴ *После:* в Васильевском — *в ПЗ:* это уже было в 1830 г.

Стр. 47

¹⁸ *Вместо:* У отца моего вместе с Сенатором — *в ПЗ:* У нас

²¹ *Слова:* в доме Сенатора. Ключ был у Кало — *в ПЗ отсутствуют.*

²⁹⁻³⁰ *Слова:* и русского «Феатра» — *в ПЗ отсутствуют.*

³⁸ *Вместо:* притом в русском переводе «Феатра» — в ПЗ: которую до сих пор люблю

Стр. 48

³ *Вместо:* ощущение — в ПЗ: чувство

¹² *После:* кудри — в ПЗ: и мне было как-то невыносимо грустно и хорошо.

Стр. 49—50

⁸⁻³³ *Текст:* Одним ∞ дерева. — в ПЗ отсутствует.

Стр. 50

³⁵ *Вместо:* Около того времени — в ПЗ: Тут

Стр. 51

³⁵⁻³⁷ *Примечание:* Органист ∞ влияния. — в ПЗ отсутствует.

Стр. 52

³⁷ *После:* язык — в ПЗ: (ils estropient)

После: его — в ПЗ: (dégradent)

Стр. 53

² *После:* немцы — в ПЗ: (в особенности, вероятно, брауншвейгцы)

¹⁵⁻¹⁶ *Вместо:* оставался в совершенном одиночестве — в ПЗ: попался в совершенное одиночество

³⁴ *После:* Катехизис — в ПЗ: как видите

Стр. 54

²⁻⁵ *Текст:* Священнику ∞ катехизис. — в ПЗ отсутствует.

Глава III

Стр. 56

²⁴ *После:* Николаем — в ПЗ *примечание:* Писано в 1853 году.

Стр. 57

²⁶⁻³⁵ *Примечание:* Рассказывают ∞ камень. — в ПЗ отсутствует.

Стр. 58

²¹ *Вместо:* аристократами — в ПЗ: бургравами

Стр. 59

⁸⁻⁹ *Вместо:* революции, бродящая — в ПЗ: революции, этот сломившийся от горя ангел, бродящий

²⁴ *Вместо:* гувернанткой — в ПЗ: учившая его дочерей

²⁷⁻²⁸ *Вместо:* уехать из Петербурга — в ПЗ: ехать в Париж

Стр. 60

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* Через день он предложил ей — в ПЗ: Девушка рыдала от восторга, это тронуло «преступника» — он ей предложил

²¹ *После:* работу. — в ПЗ: Сердце разбойника не было царским!

²⁵ *После:* испытанного — в ПЗ: с того дня, как ее услали в Париж, чтоб спасти от нее аристократическую родословную, — до тех пор, пока дружба и покровительство разбойника сделались ей ненужны.

²⁷ *Вместо:* ровно через год — в ПЗ: через несколько месяцев

³²⁻³⁹ *Примечание:* Люди ∞ на них — в ПЗ отсутствует.

Стр. 61

² *Вместо:* незаконному — в ПЗ: незаконнорожденному

⁶ *Вместо:* Брат — в ПЗ: Незаконный брат

⁹ *После:* это. — в ПЗ: Тогда он отдал им именье, говоря, что оно не в самом деле ему принадлежит.

²⁴ *После:* дворце... — в ПЗ: Там ждал он вести о казни и дождался.

Стр. 62

⁷ *После:* в Кремле — в ПЗ: я уже говорил о нем. К этим словам *примечание:* См. 1 книжку «Полярной звезды», стр. 234.

²⁷⁻³⁹ *Примечание:* Победу ∞ на 1855). — в ПЗ отсутствует.

Стр. 63

³ *Вместо:* мелкие, как у гетеры Гелиогабала — в ПЗ: исхудалые, как Гелиогабал

Стр. 64

² *Вместо:* часто проходит — *в ПЗ:* проходит

⁸⁻⁹ *Слова:* «Думы» Рылеева — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 67

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* до искусственной, иезуитской скромности — *в ПЗ:* до скромности, до застенчивости

²³ *После:* Марии Феодоровны — *в ПЗ:* в монастыре

Стр. 70

²² *После:* лакея... — *в ПЗ:*

На ум приходят часто мне
Мои младенческие годы,
Село в вечерней тишине,
В саду светящиеся воды
И жизнь в каком-то полусне
(«Юмор»).

Стр. 72

²⁵ *Вместо:* мест изящнее — *в ПЗ:* изящнее мест

Стр. 73

¹ *Вместо:* было — *в ПЗ:* бывало

Глава IV

Стр. 77

² *Заглавие:* «Ник и Воробьевы горы» — *и эпиграф:* Напиши ∞ 1833 — *в ПЗ отсутствуют.*

⁹⁻¹⁰ *Вместо:* француза-гувернера — *в ПЗ:* француза

²⁶⁻²⁷ *Вместо:* в завитой белокурой накладке — *в ПЗ:* в завитом белокуром парике

Стр. 78

¹ *После:* Зонненберг — *в ПЗ:* о котором еще нам придется говорить

⁵⁻⁶ *Слова:* и которого Зонненберг называл Ником — *в ПЗ отсутствуют.*

¹² *Вместо:* Ника — *в ПЗ здесь и дальше:* Н.

¹⁷ *Вместо:* потом — *в ПЗ:* в своей чудесной поэме. *К слову:* поэме — *примечание:* «Юмор»

Стр. 79

¹⁸⁻³¹ *Текст:* «От Мёроса ∞ цесаревича Константина! — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 80

¹ *Вместо:* должна была с самого начала принять — *в ПЗ:* с самого начала приняла

⁸ *После:* сродства — *в ПЗ:* так сказать

¹⁵ *Слова:* или семь — *в ПЗ отсутствуют.*

¹⁶ *Слова:* песок и — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 80—81

¹⁸⁻²⁴ *Текст:* Ранние прогулки ∞ на Воробьевых горах. — *в ПЗ отсутствуют.*

Стр. 81

²⁵⁻²⁶ *Вместо:* Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце — *в ПЗ:* Раз вечером стояли мы особенно хорошо настроенные на Воробьевых горах, солнце садилось

²⁷⁻³⁰ *Вместо:* свежий ветерок ∞ борьбу — *в ПЗ:* мы были на самом месте закладки храма, молча стояли мы долго и, вдруг взявши друг друга за руку, мы тут, в виду всей Москвы, обрекали себя на борьбу

Стр. 82

⁶⁻²⁶ *Текст:* С этого дня ∞ с Ником — *в ПЗ отсутствуют.*

²⁷ *Вместо:* С 1827 мы не разлучались — *в ПЗ:* Мы были неразлучны

³³ *Вместо:* Огарева — *в ПЗ:* Н.

Стр. 83

⁴⁻⁶ Слова: Портрет ∞ придет мне. — в ПЗ отсутствуют.

⁷ Вместо: Я не знаю, почему дают — в ПЗ: Обыкновенно — я не знаю почему — дают

Стр. 84

¹⁴ Слово: Огарев — в ПЗ отсутствует.

Глава V

Стр. 86

³ Слова: Гости и habitués — в ПЗ отсутствуют.

⁵⁻⁸ Текст: Невыносимая скука ∞ погиб — в ПЗ отсутствуют.

²⁵ Вместо: помещицкой праздности — в ПЗ: праздности

Стр. 91—93

¹¹⁻³ Текст: Всякий год ∞ крыто. — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 93

²⁶ После: слабеет — в ПЗ: у него

Стр. 96

¹⁹⁻²⁷ Текст: Никита Андреевич ∞ помогает — в ПЗ отсутствуют.

²⁸ Слова: при таких проделках — в ПЗ отсутствуют.

³³⁻³⁴ Вместо: нет ни в этой комнате, ни в той — в ПЗ: в комнате нет

Стр. 97—103

³⁵⁻⁵ Текст: Обед ∞ не увидим. — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 103

²² После: болен — в ПЗ: и скучен

³⁶ Вместо: Тут — в ПЗ: После этого

Стр. 104

¹ Вместо: Старик — в ПЗ: Тут старик

Глава VI

Стр. 105

² После: Кремлевская экспедиция. — в ПЗ: Комитетские экзамены

³ Вместо: Мы. — в ПЗ: — Профессора из немцев и профессора из не-немцев.

⁴ Слова: — В. Пассек. — Генерал Лесовский. — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 107

² После: Николай — в ПЗ: с карамзинским манифестом

⁹ Слова: А. Писарева — в ПЗ отсутствуют.

²³ После: болезнях — в ПЗ: и т. п.

²³⁻²⁴ Слова: а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 108

¹⁷⁻¹⁸ Вместо: доли процентов — в ПЗ: процентах

Стр. 109

¹¹ Вместо: Ником — в ПЗ здесь и дальше: Н.

³⁵⁻³⁸ Примечание: В этом ∞ учащихся. — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 110

⁴ Вместо: он простудился, слег — в ПЗ: он до того простудился, что слег

⁹⁻¹⁰ Вместо: Об нем сказано в «Горе от ума» — в ПЗ: Об нем сказал Грибоедов в своей гениальной комедии

¹⁸ После: Отец — в ПЗ: его

²⁰⁻²³ Текст: ХИМИК ∞ сыном. — в ПЗ отсутствуют.

Стр. 112

⁴ Вместо: Свербеева — в ПЗ: С.

⁵ Вместо: Хомякова — в ПЗ: Х.

Стр. 115

¹¹⁻¹² Вместо: охлаждающие сентенции — в ПЗ: сентенции в этом роде

¹⁴ После: просто — в ПЗ: напосто

²⁵ *Вместо:* кончились — *в ПЗ:* окончились

²⁸ *Вместо:* уверен — *в ПЗ:* я уверен

²⁹ *После:* о нем. — *в ПЗ:* Подробностей курса я не стану рассказывать, мы не немцы,

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Мне университетское время принесло величайшую пользу и кафедрой, и аудиториями. Кряж молодежи, бывшей с нами, был необыкновенно благороден, строгое общественное мнение держало самых слабых в узде, я не помню ни в каком случае ни доноса, ни предательства; мало ли что случалось при спорах юношей, вовсе не приученных еще к осторожности, — ничего не переходило стен аудитории.

Стр. 115—117

^{30—22} *Текст:* Итак ∞ молчали. — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 117

²³ *Вместо:* мальчик — *в ПЗ:* мальчишка

^{23—24} *Вместо:* о маловской истории — *в ПЗ:* о маловском деле

²⁴ *Вместо:* под угрозой — *в ПЗ:* под аристократической угрозой

²⁴ *Вместо:* кое-что. — *в ПЗ:* все подробности...

²⁵ *Слова:* аристократка и княгиня — *в ПЗ отсутствуют.*

²⁶ *Вместо:* передала — *в ПЗ:* привезла

²⁶ *После:* Мы — *в ПЗ:* как-то

²⁷ *Вместо:* мучили — *в ПЗ:* домучили

^{27—28} *Вместо:* не остался до окончания курса — *в ПЗ:* не кончивши курса, вышел из университета

²⁹ *Вместо:* История эта — *в ПЗ:* Маловская история

³⁰ *Вместо:* рассказать ее. — *в ПЗ:* об ней сказать несколько слов.

^{37—38} *Примечание:* Тогда ∞ Петра Федоровича. — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 121

¹ *Вместо:* подогревал — *в ПЗ:* разогревал

^{20—21} *Вместо:* Арапетова и Орлова; князя Андрея Оболенского и Розенгейма — *в ПЗ:* трех

^{30—31} *Слова:* брат министра юстиции — *в ПЗ отсутствуют.*

^{32—33} *Слово:* университетском — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 122—123

^{26—27} *Текст:* С этого времени ∞ племянника... — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 123

²⁸ *Вместо:* событиям — *в ПЗ:* происшествиям

²⁸ *Вместо:* продолжавшегося — *в ПЗ:* длившегося

^{29—30} *Вместо:* закрыт целый семестр — *в ПЗ:* с полгода закрыт

³⁰ *Вместо:* принадлежит сама холера — *в ПЗ:* сверх самой холеры, принадлежит

Стр. 123—124

^{32—4} *Текст:* Гумбольдт ∞ Сан-Суси. — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 124

⁵ *Вместо:* до сих пор — *в ПЗ:* вообще

Стр. 133

¹⁷ *После:* энергии! — *в ПЗ (петитом):* В Москве не царь — в Москве Россия!¹

Стр. 133—137

^{18—3} *Текст:* В 1830 ∞ в нашем круге. — *в ПЗ отсутствует.*

Стр. 137

⁵ *Вместо:* Вадим — *в ПЗ:* один из наших друзей

⁹ *Вместо:* Вадима — *в ПЗ:* моего приятеля

¹ Из вариантов чернового наброска стихотворения А. С. Пушкина «Наполеон». — *Ред.*

¹⁰ *Вместо:* грозным — в *ПЗ:* свирепым

¹² *Вместо:* — Да вы, — говорит он, раскрывая ее, — вы Герцен? — в *ПЗ:* — Позвольте, говорит он, да вы Г.?

¹³ *После:* К<етчер>? — в *ПЗ:* — Да, очень рад.

¹⁸ *Слово:* конце — в *ПЗ* отсутствует.

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* мы были неразрывными друзьями — в *ПЗ:* мы с К. были друзьями через всю жизнь.

¹⁸⁻²³ *Текст:* с этой минуты ∞ Запорожскую сечь. — в *ПЗ* отсутствует.

²⁴ *Вместо:* Собирались мы попржнему всего чаще у Огарева — в *ПЗ:* Всего чаще собирались мы у Н.

²⁵ *Вместо:* переехал — в *ПЗ:* уехал

²⁵⁻³¹ *Вместо:* Он жил ∞ сродство — в *ПЗ:* Н. жил один, у него была довольно большая квартира, а главное, он принадлежал к тем симпатическим натурам, которые образуют первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов

³¹⁻³² *Вместо:* становятся незаметно — в *ПЗ:* делаются

³² *После:* организма — в *ПЗ:* если только он возможен.

Стр. 137—138

³⁴⁻² *Вместо:* в которой ∞ дом — в *ПЗ:* где мы шумно и сердце настежь приходили отдыхать от домашних неприятностей и правительственных гадостей, спорить целые ночи напролет, а иногда и целые ночи кутить, — посещали мы тихий кров одного из наших друзей

Стр. 138

² *Слово:* мы — в *ПЗ* отсутствует.

¹⁶ *Вместо:* Пассек — в *ПЗ* здесь и дальше: П.

¹⁷ *После:* Петра III — в *ПЗ:* и

¹⁸ *Вместо:* и мог — в *ПЗ:* он мог

Стр. 144

¹⁴ *После:* тени — в *ПЗ:* и даже

Стр. 144—148

¹⁶⁻²⁶ *Текст:* Прошло с год ∞ аминь! — в *ПЗ* отсутствует.

Стр. 147

³⁰ *После:* острога — в *Тис:* новое унижение, еще гнусность

Глава VII

Стр. 149

²⁻³ *Вместо:* Конец курса ∞ артистическая жизнь. — в *ПЗ:* Молодая юность и артистическая жизнь. — Шиллеровский период. — Семья героев. — Три гроба.

⁴⁻¹⁸ *Текст:* Пока еще ∞ случилось. — в *ПЗ* отсутствует.

¹⁹⁻³⁰ *Примечание:* В 1844 г. ∞ Минерве. — в *ПЗ* отсутствует.

Стр. 150

¹⁹ *После:* по крайней мере — в *ПЗ:* хотя вообще я ненавижу благодарность, она лишает человека свободы, подчиняет его; благодарность начало рабства, начало неравенства. Но

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* легка благодарность: она нераздельна — в *ПЗ:* это чувство мне легко, оно нераздельно

²⁷ *Вместо:* не разошлась и жила — в *ПЗ:* представляла удивительное явление. Все жили

²⁹⁻³⁸ *Примечание:* В бумагах ∞ медали. — в *ПЗ* отсутствует.

Стр. 151

¹⁰ *Вместо:* Иная — в *ПЗ:* Наконец, идеальная

¹⁸ *После:* пороки. — в *ПЗ:* Многочисленным наш круг никогда не был, несмотря на то, что мы сближались быстро и горячо.

Стр. 152—160

³⁰⁻²⁹ *Текст:* диапазон ∞ откровения. — в *ПЗ* отсутствует.

Стр. 160

³⁰ Вмesto: Так — в ПЗ: Этиm

Стр. 161

¹ Вместо: Время, следовавшее — в ПЗ: Годы, следовавшие

² Вместо: быстро воспитывало — в ПЗ: были страшны

³ После: строгости; — в ПЗ: на всем чувствовался его тяжелый каблук. Но нас уже не это одно мучило;

⁵ Слово: политический — в ПЗ отсутствует.

⁶ Вместо: теории наши — в ПЗ: самые либеральные теории

¹⁴ Вместо: Мы с Огаревым не принадлежали — в ПЗ: Наш небольшой кружок с Н. не принадлежал

Стр. 162

⁸ После: христианства; — в ПЗ: разве это не

²⁴ Вместо: завешенную икону — в ПЗ: образ, завешенный

П Р И Б А В Л Е Н И Е

А. Полежаев

Стр. 165

⁸⁻⁴ Вместо: В дополнение к об А. Полежаеве. — в ТиС: В дополнение нашего дела и истории Соколового я передам несколько подробностей о деле, предшествовавшем нашему, в Московском университете, и историю бедного А. Полежаева.

С нее мы и начнем. Я слышал ее от самого поэта, и не раз.

⁹ После: многое — в ТиС: но за это бы ему не досталось. Разврат у нас покровительствуют. Бибииков поощрил в Киевском университете студентов к распутной жизни — по австрийской методе заморения душ.

Полежаев в своих стихах не раз задевал и власть царскую, это не могло сойти с рук

Стр. 168

²³ После: в больнице. — в ТиС примечание: Издать ненапечатанные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Рылеева и др. — одно из наших самых горячих желаний. Мы думаем даже обратиться с просьбой доставить нам рукописи к русскому правительству или духовенству — от светских литераторов, журналистов и прогрессистов не дожидясь... (1854).

²³ После: в больнице. — в ТиС: В 1827 г. были схвачены в университете братья Критские. Они как-то исчезли. Никто порядком не знал, что они сделали и что с ними сделали.

Последняя fourth из Московского университета, говоря словом 94 года, предшествовавшая нам, отправилась в солдаты и на поселение в 1833 году. В числе их я знал Костенецкого, Колрейфа, Антоновича. Все они были чистые, благородные юноши. Мне особенно в памяти остался Юлиус Колрейф, сын лютеранского пастора в Москве; он был необыкновенно даровитый музыкант и превосходный товарищ. В нем сохранилась вся наивность и простота германских юношей, но освобожденные русским обществом от пошлости и мелкости немецких нравов. Слабый здоровьем, нежный и кроткий, он погиб от семилетней службы солдатом. Полежаев за чашотку был произведен в офицеры, Колрейф за чашотку прощен. Он возвратился в Москву для того, чтоб умереть на руках отца.

Их судили, так же, как нас, особой комиссией. Правительство так уверено в негодности обыкновенных судов, что всякий раз, когда случится что-нибудь особенное, назначает комиссию, которая судит по неизвестным инструкциям и придумывает наказания не по своду, а так — по вдохновению.

После исполинского заговора, обхватившего все прекрасное, юное, сильное в России, все славное талантом, храбростью, рождением, все последующие попытки соединений оказывались безуспешными, ограничивались малым кругом людей и гибли прежде всякого обнаружения, — внутренняя работа поглощала непосредственную политическую деятельность.

Но в виду всех притеснений и всех мер правительства, в виду сотней поляков, педших в Сибирь, в виду крепостного состояния и солдат, засекаемых до смерти, не могли не возвращаться — особенно между юношами — постоянные попытки, страстные усилия составлять общества, заговоры и вследствие того точно так же периодически возвращающиеся ссылки в Сибирь, в солдаты, на Кавказ, и это рядом с упорной работой мысли, разъясняющей себе финиковскую задачу русской жизни и несколько не мешая труду.

Сунгурова я не знал. Его наказали больше всех. Окончивши прежде курс в университете, он был на службе, женатый человек и московский помещик. Его нашли главным виновным и приговорили к поселению.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава VIII

Стр. 172

¹³ *Вместо:* Это стоит — *в ТиС:* Неужели это не стоит

¹⁴ *Вместо:* на этот раз — *в ТиС:* на первый случай

¹⁶ *После:* страху. — *в ТиС строка точек.*

²¹ *Вместо:* увез Н. П. — *в ТиС:* барина увез

²⁸ *После:* голову. — *в ТиС:* Я любил Огарева страстно, как редко любят друг друга даже в юности.

Стр. 174

¹² *После:* на террасе — *в ТиС:* зрелище разрушения дикой силы было мне по душе.

Стр. 175

¹⁸ *Вместо:* от М. Ф. — *в ТиС:* от генерала

Стр. 176

³¹ *Вместо:* в битвах — *в ТиС:* на поле брани

³¹ *Вместо:* в которую влюбилась — *в ТиС:* которую любила

Стр. 179

²⁰ *После:* юные — *в ТиС:* чистые

Глава X

Стр. 186

⁴ *Вместо:* внутреннего содержания — *в ТиС:* внутренней полноты

⁵ *Вместо:* привыкаешь быстро — *в ТиС:* скоро привыкаешь

Стр. 187

¹¹ *Вместо:* Н. Сазонов — *в ТиС:* Один из моих знакомых

Стр. 188

³⁶ *Вместо:* аще — *в ТиС:* яко

Стр. 190

³² *Вместо:* Он — *в ТиС:* Оно

Стр. 193

⁴ *Вместо:* Мещерского — *в ТиС:* — М.

Стр. 194

²⁶ *Слова:* над нами — *в ТиС отсутствуют.*

Глава XI

Стр. 198

² Слова: впоследствии княгини Гагариной — в *Тус* отсутствуют.

Стр. 200

¹¹ Вместо: раз — в *Тус*: раза

²⁵ Вместо: Язычница-с ∞ некрещеная — в *Тус*: Язычницы-с все равно что некрещеные

Глава XII

Стр. 203

⁷⁻⁸ Вместо: нетерпеливая, не могла в своем усердии дожидаться — в *Тус*: нетерпеливая в своем усердии, не могла дожидаться

Стр. 204

⁸ Слово: подлец — в *Тус* отсутствует.

²¹ Вместо: С<а>тина — в *Тус*: — Н. М.

³⁷ Вместо: отличившимся — в *Тус*: возникшим

Стр. 206

³¹ После: споры — в *Тус*: вы думаете

Стр. 210

¹⁸ Вместо: очень забавен — в *Тус*: мил, забавен

¹⁹ После: покутить — в *Тус*: и поразвратничать

²⁰ После: больше. — в *Тус*: Ему было за тридцать лет. Сочинения его тогда были в моде, ему платили хорошие деньги, но он всегда был без гроша. В первые сутки он проживал все полученное.

²¹ Вместо: с оргий — в *Тус*: с оргий и вакханалий

²⁸⁻²⁹ Вместо: не к государю, и — в *Тус*: не к государю, а к богу, я

³² После: табуку. — в *Тус*: Соколовского содержали хуже всех; он был в московском остроге, в секретном отделении, в темной конуре, но, как я сказал, нисколько не уныл и теплил нас всех рассказами.

...Пришел Голицын en grande tenue, в голубой ленте.

Стр. 210—213

³³⁻²⁶ Текст: Соколовского схватили ∞ илечо; — в *Тус* отсутствует.

Стр. 214

⁵⁻¹⁸ Текст: Когда Оранский ∞ мадеры. — в *Тус* отсутствует.

Стр. 215

¹⁰⁻¹¹ Вместо: Огарев, С<а>тин, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я — в *Тус*: первое имя было мое

Глава XIII

Стр. 221

³⁰ Слова: говаривал А. А. — в *Тус* отсутствуют.

Стр. 225

³⁵ Вместо: черные — в *Тус*: старые

Стр. 226—227

¹⁵⁻¹¹ Текст: Она тотчас ∞ коровку. — в *Тус* отсутствует.

Стр. 228

³⁷ После: так... — в *Тус*: На третий день я приехал в Вятку, проезжая целые уезды, заселенные вотяками, мордвой, черемисами.

Стр. 229

¹⁻⁶ Вместо: Я увез ∞ черте. — в *Тус*: Перечитывая воспоминания о пермской жизни, мне стало жаль, что я не помянул одного человека, с которым встреча, очень короткая, оставила чуть ли не единственный теплый след нескольких недель, проведенных близ Уральского хребта. Я говорю об одном из сосланных поляков — Цехановиче. Сослан он был по делу эмиссаров, по которому был

расстрелян Волович. Человек лет под сорок, он был не от природы, а от жизни задумчив и тих, как бывают крепкие люди, перешедшие в несчастии ту черту, до которой еще хочется жаловаться на судьбу; он не примирялся с ней, но успокоился, и оттого был силен.

Когда губернатор Селастепник, мне запретив знакомство с поляками, сосланными в Пермь, дал мне случай в своей приемной с ними познакомиться, один ксендз пригласил меня к себе; у него я застал несколько человек его соотечественников и в том числе Цехановича. Молча курил он небольшую трубку, но сказал мне ни одного слова; он сильно подействовал на меня своей наружностью.

³⁴ *После:* симпатичнее. — *в ТиС:* Его дружба с Клейнмихелем так же ясно доказывает это, как назначение таких генерал-губернаторов, как Муравьев и Бибииков, и впоследствии, как Кокошкин и Закревский. Бибииков не отстал от Муравьева — и он оставил свое историческое изречение. Раз в Киеве Бибииков, подошедши к окну, увидел дорожный экипаж какого-то польского пана, ехавшего на Контракты; карета была заложена четверкой добрых коней. Не удерживая тогда свой революционный гнев, Бибииков сказал: «А, еще паны у нас разъезжают на четырех лошадях, их надобно довести до того, чтоб четверо тащились на одной лошади!» Коммунист! Пугачев!

Стр. 230

⁴ *Вместо:* знают — *в ТиС:* это знают

¹⁰ *После:* ударить — *в ТиС:* при этом он

¹⁸ *Вместо:* я своим черепом — *в ТиС:* я черепом

³⁶ *После:* кельей. — *в ТиС:* При этом надобно вспомнить, что в Перми за сто целковых в год можно было в мое время нанять отдельный домик с мебелью.

Стр. 231

⁶ *Вместо:* сохраню — *в ТиС:* схороню

¹⁰ *Вместо:* оторвав — *в ТиС:* оторвал

¹¹ *После:* звеньев — *в ТиС:* и

Стр. 231—233

^{32—34} *Текст:* ...На другой день ∞ призреть? — *в ТиС отсутствует.*

Стр. 232

^{2—3} *Вместо:* Пермский жандарм ∞ отдохнуть. — *в К:* Пермский жандарм был гораздо гуманнее московского; я предложил ему часа два отдохнуть, он согласился.

Глава XIV

Стр. 236

^{30—32} *Вместо:* Тюфяев ∞ Карье. — *в ТиС:* Тюфяев был комиссар Конвента в 94 году. Карье какой-нибудь, энергия и бездушие которого были не на службу революции, а на службе самовласти.

Стр. 237

³⁷ *Вместо:* Чеботарев — *в ТиС здесь и дальше:* Ч.

Стр. 243

³³ *Слова:* Н. Ф. Павлов — *в ТиС отсутствуют.*

Стр. 244

¹ *Вместо:* Н. Ф. Павлова — *в ТиС:* Чиновника-литератора

³⁷ *После:* диван — *в ТиС:* несчастный

Стр. 247

¹⁶ *Вместо:* вечером — *в ТиС:* вечерком

Стр. 248

³³ *Вместо:* и богатые делились братски с бедными — *в ТиС:* но общество их оставалось недоступным для русских

Стр. 249

³ После: кавалерист — в *ТиС*: несколько навеселе

⁴ После: меня — в *ТиС*: с нежностью

Глава XV

Стр. 253

³⁵ Вместо: к тому числу — в *ТиС*: к малому числу честных, но

Стр. 254

²⁻⁴ Вместо: русское взяточничество, свободно растущее под тенью ценсурного древа — в *ТиС*: взяточничество в России

Стр. 255

¹⁴ После: службы. — в *ТиС*: Когда сын его был приговорен к смерти, отец приехал проститься с ним. Говорят, что он в присутствии шпионов и жандармов осыпал сына бранью и упреками, желая выказать свое необузданное верноподданничество. Отеческое увещание он заключил вопросом: «И чего ты-то хотел?» — «Это долго рассказывать, — отвечал глубоко оскорбленный сын. — Я хотел, между прочим, чтоб и возможности не было таких генерал-губернаторов, каким вы были в Сибири».

Стр. 256

²⁰ Слова: Минусинск и пр. — в *ТиС* отсутствуют.

³⁷⁻³⁸ Примечание: С большой радостью ∞ это. — в *ТиС* отсутствует.

Стр. 258—259

²⁰⁻³⁵ Текст: Об этом ∞ Рыхлевский. — в *ТиС* отсутствует.

Стр. 264

²⁰ После: двор — в *ТиС*: и отодвигая миску с вонючим молоком, которую он мне принес.

Стр. 265

³³⁻³⁸ Текст: Я видел ∞ не делая. — в *ТиС* отсутствует.

Стр. 270

¹³⁻¹⁴ Слова: и о том ∞ цыган — в *ТиС* отсутствуют.

Стр. 271—273

³¹⁻⁴ Текст: К Вятке ∞ Поэты! — в *ТиС* отсутствует.

Стр. 274

²⁵ Вместо: и — в *ТиС*: как

Стр. 276

¹⁹ После: России. — в *ТиС* примечание: Рассказ этот не был помещен в первом издании (1858).

Глава XVI

Стр. 282

⁷ Перед: воспоминания — в *ТиС*: его

⁸ Вместо: в этом — в *ТиС*: в его

Стр. 288

⁶ Вместо: Влияние Витберга поколебало меня. — в *ТиС*: Раза два Витберг успел поколебать меня.

⁷ Вместо: все-таки — в *ТиС*: скоро

¹³ После: к мистицизму. — в *ТиС*: Я был религиозен — хотя моя религия и не была надзвездной.

Боже мой, — как все перепутано и странно в жизни!.. В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный со всем милым... и там какие чудные, святые минуты проводил я!..

Стр. 288—290

¹⁴⁻⁹ Текст: Разлука ∞ А тут — в *ТиС* отсутствует.

Стр. 290

¹⁶ После: есть — в *Тус* три строки точек.

²² После: касаться — в *Тус*: — касаться

Глава XVII

Стр. 296

³³ Вместо: Корнилов — в *Тус*: К.

Стр. 297

³¹ После: купцами. — в *Тус*: Я уверен, что несколько из тогдашних друзей еще помнят обо мне и не всё забыли, о чем мы толковали целые вечера в небольшой комнатке, когда 25—30-градусный мороз стрелял на дворе.

Глава XVIII

Стр. 303—308

³⁰⁻³ Вместо: Губернатор Курута ∞ жизни?... — в *Тус*: ...Новый отдел жизни начался для меня с Владимира... отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.

Но он принадлежит к другой части — к той, за которую я боюсь приняться, которую описывать у меня вряд достанет ли сил.

Страшные события, жгучее горе — все же легче кладутся на бумагу, нежели воспоминания совершенно светлые, безоблачные. — Будто можно рассказывать счастье?

Не ждите от меня длинных повествований о внутренней жизни того времени. Есть предметы, о которых я никому не говорил, никогда не говорил, не потому, что они тайны, а по какой-то застенчивости сердца, по их слишком глубокой и тесной связи со всем бытием, по их нежному, волосяному разветвлению по всему существу.

Дополните сами, чего недостает — догадайтесь сердцем, а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих.

Стр. 303

³⁰ Перед: Губернатор Курута — в *ПЗ*: — «Ну, прощай, — писал я к Natalie, — прощай, город, в котором прошли почти три года моей жизни, прощай, Вятка, благословение изгнанника на тебе, за твой привет, за дружбу, которой я был окружен. Во Владимире вся жизнь моя будет посвящена тебе, там буду я очищать душу и издали молиться тебе. Так пилигрим останавливается, не доходя до Иерусалима, где-нибудь в Емаусе, просит прощения за прошедшее и готовится. Это будут мои сорок дней в пустыне».

Я сдержал слово, с самого приезда моего во Владимир жизнь сложилась иначе, нежели в Вятке. Моя небольшая квартира близ Золотых ворот скорее походила на келью монаха, нежели на берлогу провинциального льва. Да я и не был львом во Владимире. Никакое пошлое рассеяние не шло в голову, рука, поддерживавшая меня, служившая мне нравственной опорой, была ближе. Письма приходили на другой день, казалось, бумага еще была тепла, пульс руки чувствовался на ней; след взгляда, обращенного на строчки, казалось, не успел пройти...

Стр. 304

⁴ После: «Великой реке» — в *ПЗ* примечание: См. «Тюрьма и ссылка».

²⁶ Вместо: много — в *ПЗ*: многого

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XIX

Стр. 311

⁷ Вместо: Марья Алексеевна Хованская — в ПЗ: Х.

Стр. 312

²⁴ Слова: Анны Борисовны — в ПЗ отсутствуют.

Глава XX

Стр. 322

² После: писала — в ПЗ: к своей Консуэло

Стр. 323

⁶ После: науками — в ПЗ: до самой тюрьмы я

Стр. 329

¹² После: на землю — в ПЗ: т. е.

Стр. 332

²⁴ Вместо: Огарев — в ПЗ: здесь и дальше: Н.

Глава XXI

Стр. 334

²² Вместо: она не обрывалась — в ПЗ: они не обрывались

Стр. 336

²³ Вместо: не особенно — в ПЗ: особенно не

Стр. 337

³² После: нее.— в ПЗ четыре строки точек, в конце их знак выноски и подстрочное примечание: Несколько листов, пропущенных здесь, будут, может быть, напечатаны в полном издании «Былей и дум».

Стр. 337—344

³³⁻¹⁵ Текст: Внутреннюю жизнь ∞ потом? — в ПЗ отсутствует.

Стр. 340

³⁰ После: к груди.— в рукописи было: В эту минуту я страстно любил ее.

Стр. 344

²⁴⁻³¹ Текст: Увлекаясь ∞ росла.— в ПЗ отсутствует.

Стр. 346

² После: не лгал.— в ПЗ: Я так же откровенно увлекся Р., как откровенно отдался теперь не понятой мною любви.

Стр. 348

³ Вместо: народная — в ПЗ: сельская

Стр. 349

¹ Вместо: ...Р. страдала — в ПЗ: Между тем

² После: длил — в ПЗ: я длил

¹⁹ После: правду.— в ПЗ: Утром я получил ответ. Можно себе представить, как я провел эту ночь, я испытал все, что может испытать преступник, боящийся, что его уличат.

¹⁹⁻³⁵ Текст: На другой день ∞ рукой.— в ПЗ отсутствует.

Стр. 350

⁷⁻³¹ Текст: Я встретился ∞ неизвестна.— в ПЗ отсутствует.

Стр. 354

¹¹ Слово: (Голохвастов) — в ПЗ отсутствует.

³⁰ Вместо: Насакины — в ПЗ: М.

Стр. 355

³⁴ Вместо: Д. П. Голохвастов — в ПЗ: племянник (Д. П.)

Стр. 356

⁵ Вместо: Дмитрий Павлович — в ПЗ: племянник

Стр. 358

¹ Вместо: перемелется — в ПЗ: переменится

²³ Вместо: на сцену и — в ПЗ: на сцену. Я

Стр. 359

¹⁸ Вместо: мой брат — в ПЗ: мой больной брат

³¹ Вместо: Он — в ПЗ: Словом, он

Глава XXIII

Стр. 363

¹³ Вместо: Потом — в ПЗ: Тут

²¹ Вместо: Огарева — в ПЗ здесь и дальше: Н.

Стр. 370

¹⁴ После: поручить — в ПЗ: мне

¹⁴ Вместо: об офицере — в ПЗ: об нем

Стр. 371

¹³ Вместо: в него — в ПЗ: в это дело

Стр. 378

²³ Вместо: с какой-нибудь — в ПЗ (кн. I): с которой-нибудь

²³ После: его. — в ПЗ: Но судьба не знает ни в чем меры. «Несчастья, говорит Гамлет, не ходят одни, а толпою», и счастье точно так же.

²⁴ Слова: на несколько дней — в ПЗ отсутствуют.

²⁵ После: своего — в ПЗ: могучего

²⁹ Вместо: разнесутся — в ПЗ: рассеются

³⁴ После: человек — в ПЗ: их

Стр. 379

⁵ После: опиумом... — в ПЗ: Трио наше представляло удивительное созвучие. Тут нигде не было границ, пределов, тех незаметных противуречий, которые в сущности указывают рубеж и говорят «не далее». Мы были вполне соединены и вполне свободны.

.

...Тут оканчивается лирический отдел нашей жизни, отдел чисто личный. Далее труд, успехи, встречи, деятельность, широкий круг, далекий путь, иные места, перевороты, история... Далее дети, заботы, борьба... еще далее — все гибнет... С одной стороны — могила, с другой — одиночество и чужбина!

⁵ После: опиумом... — в ПЗ (кн. III) знак выноски и подстрочное примечание: Полярная Звезда на 1855, стр. 80 (второе издание).

Глава XXIV

Стр. 382

⁶ После: питающая — в ПЗ: потом

Стр. 385

⁸ *Вместо:* мишурного платья — *в ПЗ:* мишурных платий

Стр. 389—394

²⁻³³ *Текст:* Когда ∞ месяцев.— *в ПЗ отсутствует.*

ПРЕДИСЛОВИЯ, ПЕРЕВОДЫ, ОТРЫВКИ

Братьям на Русь

ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 397

³ *После:* окончившейся — *было:* в ожидании

²⁴ *Вместо:* минувшим — *было:* бывшим

²⁶ *После:* воскресении — *было:* об их преображении в белых ризах

³¹ *После:* моим детям.— *было:* Она должна быть сделана. Я приступаю к ней, как христиане приступали к своему кровавому воспоминанию, со страхом и верою.

〈Из III главы〉

ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 400 (401)

³⁴ (28) *Перед:* Il se créa 〈Создалась〉 — *было:* encore hier on pressait la main, mais qui étaient le lendemain dans les casemates.— Au contraire〈еще вчера жали руку, но которые на следующий день оказались в казематах. Наоборот〉

Стр. 401

¹ (31) *После:* la terreur 〈террор〉 — *было:* à Moscou 〈в Москве〉

³⁻⁴ (33) *После:* l'exécution〈казнь〉 — *было:* atroce 〈отвратительная〉

¹³ (43) *После:* officielle 〈официальной〉 — *было:* qui commençait 〈которая начиналась〉



КОММЕНТАРИИ



В томах VIII—XI настоящего издания печатается крупнейшее художественное произведение Герцена — его автобиография «Былое и думы».

В восьмой том вошли части I—III, посвященные детству, университетским годам и первой ссылке писателя. В разделе «Варианты» приведены разночтения между последней редакцией текста и ранними публикациями. Предисловия к первоначальным публикациям, относящиеся к первым трем частям произведения, отрывки из рукописных редакций и дополнения печатаются после основного текста тома.





Работа А. И. Герцена над главным его произведением «Былое и думы» продолжалась около шестнадцати лет. Первое упоминание о ней содержится в письме Герцена к М. К. Рейхель от 5 ноября 1852 г., последняя известная нам дата — 10 марта 1868 г. — поставлена на рукописи, дополняющей главу «Лондонская вольница пятидесятих годов».

О хронологической последовательности, в какой писались отдельные части и главы «Былого и дум», сохранились многочисленные указания автора. Этими указаниями — в тексте мемуаров, в письмах Герцена — и его пометами на некоторых рукописях определяется время создания пятидесяти глав «Былого и дум». Свидетельства Герцена, используемые для датировок этих глав, приводятся в комментариях к отдельным частям мемуаров.

Первые три части «Былого и дум» были написаны в 1852—1853 гг. Четвертая часть писалась в продолжение 1854—1857 гг. Работа над пятой частью была начата в 1853 г. и завершена в 1866 г. К шестой части Герцен приступил, повидимому, в 1856 г. (это самая ранняя из указанных автором дат) и закончил ее в 1868 г. Часть седьмая была начата во второй половине пятидесятих годов (для более точной датировки данных не имеется) и закончена в 1867 г. Все главы восьмой части были написаны в 1867 г.

Большинство глав «Былого и дум», опубликованных при жизни автора, появилось в альманахе «Полярная звезда», который издавался Герценом и Огаревым в Лондоне, а затем в Женеве, в течение 1855—1868 гг. В восьми книжках «Полярной звезды» были опубликованы Герценом полностью первая, третья, четвертая и почти целиком — пятая, шестая и восьмая части «Былого и дум». В ряду источников первопечатного текста герценовских мемуаров «Полярная звезда» занимает первое место. Второе место принадлежит книге «Тюрьма и ссылка», вышедшей в Лондоне двумя изданиями — в 1854 и 1858 гг. Здесь впервые напечатаны все главы второй части «Былого и дум». Третий источник первопечатного текста герценовских мемуаров — «Колокол», где были опубликованы отрывки из нескольких глав, принадлежащих к шестой, седьмой и восьмой частям «Былого и дум».

В 1860 г. Герцен приступил к подготовке отдельного издания «Былого и дум». Первые два тома этого издания вышли в Лондоне в 1861 г., последний — в Женеве в конце 1866 г. (на обложке этого тома обозначен 1867 г.).

В первый том (с ошибочным обозначением на титульном листе: «Часть первая») вошли две части: 1) «Детская и университет (1812—1834)», гл. I—VII, и прибавление «А. Полежаев»; 2) «Тюрьма и ссылка (1834—1838)», гл. VIII—XVIII.

Во второй том вошли третья и четвертая части: 3) «Владимир-на-Клязьме (1838—1839)», гл. XIX—XXIV, с приложением писем Герцена

к Н. А. Захарьиной. 4) «Москва, Петербург и Новгород (1840—1847)», гл. XXV—XXXIII.

В четвертый том вошла пятая часть — «Париж — Италия — Париж (1847—1852)», состоящая из двух отделений: «Отделение первое. Перед революцией и после нее» (гл. XXXIV—XLII и несколько нумерованных глав); «Отделение второе. Русские тени. I. Н. И. Сазонов. II. Энгельсоны».

В третий том, изданный в Лондоне в 1862 г., Герцен включил произведения тридцатых-сороковых годов: «Записки одного молодого человека», «Липциний и Вильям Пен» — сценарий драматических опытов, очерки «Капризы и раздумье» и «Станция Едрово», статью «Несколько замечаний об историческом развитии чести» и полемическое выступление, направленные против славянофилов. В предисловии, озаглавленном «Между четвертой и пятой частью», Герцен писал, что для третьего тома он «выбрал только те статьи, которые имеют какое-нибудь отношение к двум вышедшим томам „Былого и дум“». Большинство произведений, включенных в третий том, далеко от мемуарного жанра «Былого и дум». Поэтому Герцен связал свои мемуары в единое целое, продолжив в четвертом томе «Былого и дум» порядковую нумерацию второго. В настоящем издании произведения Герцена, вошедшие в третий том, заняли свое место — по времени написания — в томах I и II.

Изданию пяти частей «Былого и дум» отдельными томами предшествовала большая авторская работа. Эта работа отражена в разделе «Варианты». Кроме большого числа частичных изменений и ряда обширных добавлений, внесенных Герценом в этот последний прижизненный текст, который лег в основу настоящего издания, пятую часть автор дополнил двумя новыми главами: нумерованной — «Раздумье по поводу затронутых вопросов» — и заключительной — XLII, а также написал две главы для раздела «Русские тени»: «I. Н. И. Сазонов»; «II. Энгельсоны».

Ко времени подготовки отдельного издания «Былого и дум» Герценом была закончена вторая половина пятой части — «Рассказ о семейной драме». Эту часть он не опубликовал до конца своей жизни вследствие ее интимного содержания, и она осталась в рукописи.

Основное собрание автографов «Былого и дум» хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. За последние годы оно пополнилось двумя ценными коллекциями, принесенными в дар Академии наук СССР правительством Чехословацкой республики («пражская коллекция») и Болгарской Академией наук («софийская коллекция»). Включая эти коллекции, собрание рукописей «Былого и дум» охватывает тридцать пять глав герценовских мемуаров. Данные о характере рукописей, их объеме и местах хранения приводятся в текстологических комментариях к соответствующим главам «Былого и дум». Разночтения печатных текстов «Былого и дум» с рукописями приводятся в разделе «Варианты».

После издания четвертого тома «Былого и дум» у Герцена остались несобранными печатные главы, относящиеся к шестой, седьмой и восьмой частям мемуаров. Автор намеревался в скором времени издать пятый и шестой томы, куда он собирался включить опубликованный материал, дополнив его новыми главами. Внезапная смерть Герцена в январе 1870 г. на полвека отдалила осуществление полного издания «Былого и дум». Прижизненная публикация текстов герценовских мемуаров прекратилась с выходом в свет восьмой книжки «Полярной звезды» (1868).

Посмертная публикация глав «Былого и дум», оставшихся в рукописях, началась вскоре после кончины Герцена. Уже в 1870 г. в Женеве вышел «Сборник посмертных статей Александра Ивановича Герцена», в котором были впервые напечатаны по рукописям: две главы, относящиеся к четвертой части «Былого и дум» — «Н. Х. Кетчер» и «Эпизод из

1844 года»; из шестой части — «Немцы в эмиграции», «Прибавление к „Горным вершинам“», «Бартелеми» и «С. Ворпель»; из седьмой части — «Апогей и перигей» (продолжение), «В. И. Кельсиев», «Общий фонд» (заголовок редакционный и не соответствующий содержанию рукописи), «М. Бакунин и польское дело» (продолжение главы «Перигей»), «Пароход „Ward Jackson“ R. Weatherley et Co».

В 1875—1879 гг. наследниками А. И. Герцена было издано в Женеве десяти томное собрание его сочинений. В этом собрании «Былому и думам» отведены пять томов (VI—X). Первое посмертное издание герценовских мемуаров было неполным — сюда не вошли «Рассказ о семейной драме», главы, опубликованные в женевском «Сборнике посмертных статей» (1870 г.), и др.

Полное издание «Былого и дум» впервые было осуществлено после Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране, на родине писателя. В «Полном собрании сочинений и писем» А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке «Былое и думы» опубликованы в XII—XIV томах (1919—1920 гг.). В своей работе над композицией «Былого и дум» редактор этого издания руководствовался, по его заявлению, «запиской» Герцена к Огареву, датированной 1869 годом. На эту «записку» он неоднократно ссылается, аргументируя данное им расположение глав и частей герценовских мемуаров.

Так, в комментарии ко второй главе VI части («Горные вершины») Лемке пишет: «Только благодаря записке, составленной Герценом в 1869 г. для Огарева, который брался наблюдать за печатанием полного „Былого и дум“, так никогда и не изданного, ясно и заглавие главы и составленность ее из отрывков, печатавшихся разновременно, с различными путающими заглавиями, и хранящихся в рукописях; в своей записке Герцен дал полное, подробное оглавление „Былого и дум“, ничего другого в ней нет; он так же точно обозначил страницы печатные и рукописные в их последовательности в отношении глав, претерпевших постепенно большие изменения; только из этих указаний и состоит весь текст „записки“» (Л XIV, 859).

Публикация отрывков из «Горных вершин» в издании Лемке убеждает в справедливости его утверждения, что без подробных указаний автора редактор не мог бы составить эту главу. Что же касается критической проверки того, во всех ли частях композиции «Былого и дум» в «Полном собрании сочинений и писем» соответствует воле Герцена, выраженной в «записке» Огареву, то такая проверка не может быть произведена, потому что Лемке эту «записку» не напечатал. Поэтому в тех случаях, когда сохранившиеся указания Герцена расходятся с композицией «Былого и дум», данной в «Полном собрании сочинений и писем», редакция настоящего издания следует этим указаниям, как единственному, непосредственно выражающим волю автора.

Так, в письме к Г. Вырубову от 17 мая 1867 г. Герцен сообщал (имея в виду пятый и шестой томы «Былого и дум», которые он называл «частями»): «...у меня есть готовые V и VI часть да еще суплементин (V — Лондон и эмигранты не русские, VI — История типографии и „Колокола“ (...)) Суплемент состоит из „Швейцарских видов“ и „Venezia la bella“» (Л XIX, 316). В «Полном собрании сочинений и писем» под ред. М. К. Лемке главы «Былого и дум», посвященные лондонской эмиграции, и главы, относящиеся к истории Вольной русской типографии и к «Колоколу», объединены в шестой части, озаглавленной «Англия». В настоящем издании, согласно приведенному указанию Герцена, последние главы выделены в самостоятельную седьмую часть с редакционным заглавием «Вольная русская типография и „Колокол“».

«Рассказ о семейной драме» в «Полном собрании сочинений и писем» опубликован в составе пятой части «Былого и дум» с порядковой

нумерацией глав — XLIII — L. Между тем в сохранившемся списке, сделанном неустановленным лицом («пражская коллекция»), главы «Рассказа о семейной драме» начинаются с новой нумерации (I, II и т. д.). В настоящем издании эти главы пятой части печатаются по этому списку под редакционным заглавием «Рассказ о семейной драме».

Вместе с тем следует признать, что имеющиеся в нашем распоряжении данные не дают возможности предложить такое решение относительно VI—VIII частей «Былого и дум», полное соответствие которого воле Герцена могло бы считаться доказанным. Не исключено, что еще будут найдены документы, которые позволят определить эту волю более бесспорным образом, чем это представляется возможным сделать теперь.

Влечение Герцена к созданию произведений автобиографического характера сказалось уже в отдельных набросках и отрывках начала 30-х годов, в которых получили отражение факты и думы, относящиеся к дружбе с Огаревым, к клятве на Воробьевых горах (см. в т. I наст. изд.: «Не долго продолжалось его одиночество...»), «День был душный...»).

Года на три позднее, в вятской ссылке, автобиографический замысел все более становится в центр творческих интересов Герцена.

27 апреля 1836 г. он писал Н. А. Захарьиной: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя, которую толпа не поймет, но поймут люди. Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями, где все вымысел, но основа — истина». 29 июня того же года Герцен набрасывает в письме план «биографии», реализованный лишь много позднее в несравненно обогащенном виде в первых частях «Былого и дум».

Герцен здесь следующим образом намечал «отделы» задуманного им автобиографического труда: «От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыши человека; по тут вместе с моею жизнью сопрягается и пожар Москвы, где я валился шести месяцев на улицах, и стан Иловайского, где я сосал молоко под выстрелами. Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее — встреча с Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели! Эта эпоха юности своим девизом будет иметь *дружбу*. Июль месяц 1834 окончил учебные годы жизни и начал *годы странствования*. Здесь начало мрачное, как бы взамен безотчетных наслаждений юности, но вскоре мрак превращается в небесный свет: 9 апреля 1835 г. — день прощания с Н. А. Захарьиной перед отъездом в ссылку. — *Ред.*» откровением высказано все, и это — эпоха *любви*, эпоха, в которую мы составили один я, это — эпоха твоя, эпоха моей Наташи».

Такие автобиографические произведения Герцена, как «Вторая встреча» (1836), «О себе» (1838) и др., положили начало осуществлению этого плана. Вместе с тем самое представление Герцена о начатом им автобиографическом труде становилось более широким.

Стремление увидеть и воплотить в каждом своем сочинении «отдельную часть жизни души» привело к тому, что, в сущности, почти все написанное Герценом в вятской и владимирской ссылках так или иначе связывалось им с автобиографическим замыслом.

14 января 1838 г., в письме к Н. А. Захарьиной из Владимира, Герцен так характеризовал состав «биографии»: «Со временем это будет целая книга. Вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834 <канун ареста. — *Ред.*>. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханализм, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической, — нашей прогулкой на кладбище (она уж написана). *Вторая* начнется моей фантазией „22 октября“. Вообще порядка нет: отдельные статьи, письма,

tutti frutti <всякая всячина (итал.)> — все входит; за этим „Встреча“, „I Macstri“ и „Симпатия“; далее — что напишется. В прибавлении к 1-му тому „Германский путешественник“, — эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июля <...> Пожалуй, тут можно включить и мои „Письма к товарищам“: „Пермь, Вятка и Владимир“<...>».

Таким образом, Герцен не только хронологически раздвигает рамки намечающейся автобиографии, но вводит в ее состав «отдельные статьи, письма», весьма разнообразные по содержанию и форме, от романтической фантазии «22 октября» до сатирических бытовых зарисовок писем о Перми, Вятке и Владимире. Так уже в 30-х годах происходило расписание этого замысла, которое вело к превращению автобиографии в центральный и наиболее характерный для литературного творчества Герцена жанр. Однако с начала 40-х годов вплоть до начала 50-х условия жизни и литературной деятельности Герцена не благоприятствовали осуществлению этих планов.

Рано осознав свое политическое, революционное призвание и характер своего литературного дарования, Герцен искал пути их сочетания. Он пытался на основе собственной жизни создать автобиографические произведения, способные рассказом о человеке, посвятившем свою жизнь большим идейным целям и прежде всего борьбе с самодержавием, приобрести революционно-пропагандистское влияние. Положение «колонника», как называл себя тогда Герцен, благоприятствовало работе над автобиографическими опытами, которые тогда могли быть доступны лишь крайне узкому кругу близких и друзей.

В 40-х годах в России Герцен — мыслитель, художник и публицист — создает замечательные философские работы, беллетристические произведения и фельетоны; однако он лишен возможности продолжить и углубить свой автобиографический замысел. Невозможность открытого политического выступления, прямого высказывания своих стремлений и идеалов, цензурные условия в высшей степени затрудняли создание такого рода произведений.

Так, широко задуманная Герценом и начатая в 30-х годах автобиографическая «поэма» «О себе» подверглась переработке и превратилась в напечатанные в 1840—1841 гг. «Записки одного молодого человека», в которых, в частности, вовсе исчезли темы университетской жизни, ареста и личных переживаний. Рассказ о своей жизни под игом самодержавия, о своих идейных исканиях уходит в потаенный дневник Герцена. Позднее же дневник, в частности содержащиеся в нем художественные заготовки, характеристики будущих персонажей «Былого и дум», а также письма, послужили Герцену одним из важнейших источников при работе над «Былым и думами».

То, что жанр художественной автобиографии наиболее соответствует литературному дарованию Герцена, понял с присущей ему тонкостью эстетического чувства В. Г. Белинский на основе знакомства с «Записками одного молодого человека». В письме к сыну от 28 декабря 1863 г. Герцен, говоря о «Былом и думах», свидетельствует: «Это — мой настоящий генге, и Белинский угадал это в 1839 году».

Можно думать, что Герцен имеет в виду какое-либо не дошедшее до нас устное или письменное высказывание Белинского о «Записках одного молодого человека». Во всяком случае позднее, в письме от 6 апреля 1846 г., Белинский дал чрезвычайно глубокую характеристику лиризма и автобиографизма как отличительных черт герценовского творчества. Белинский писал здесь: «У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества <...> Действенные идеи и талантливое живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с лично-

стью автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь» (В. Г. Белинский. Письма, т. III, СПб., 1914, стр. 109).

Обстановка эмиграции также далеко не сразу создала благоприятные условия для реализации автобиографических замыслов.

С одной стороны, став свидетелем больших исторических событий революции 1848 г., Герцен, естественно, сначала сосредоточивает свое внимание на «врасплох остановленных и наспех закреплённых впечатлениях времени» — так Герцен характеризовал свои «Письма из Франции и Италии», — на жгучих философских и политических уроках революции 1848 г. и ее поражения, отразившихся в книге «С того берега», этой «логической исповеди» Герцена.

С другой стороны, Герцен далеко не сразу смог обратиться к русскому и западноевропейскому читателю с автобиографическим произведением. Лишь постепенно, выступив в 1850—1854 годах с рядом публицистических сочинений о России, Герцен приобрел необходимую известность и авторитет представителя революционной России.

Но уже в книге «О развитии революционных идей в России» (1850—1851) сказалось стремление автора к созданию произведений автобиографического характера. В первом издании этой работы (см. т. VII наст. изд., «Варианты») Герцен, начиная рассказ о 30—40-х годах, т. е. о людях, которых знал лично, указывал на то, что он от истории переходит к автобиографии.

Поводом к непосредственному началу работы над давно задуманным автобиографическим трудом явилась для Герцена борьба с Гервегом. Задачей Герцена было доказать правоту свою и своей жены как представителей «будущего общества» (письмо к Прудону от 6 сентября 1852 г.) в разыгравшейся личной драме, поставить Наталье Александровне «надгробный памятник» (см. письмо к М. К. Рейхель от 5 ноября 1852 г.). Однако толчок, данный стремлением рассказать о семейной драме, привел к возрождению старого и неизменно привлекавшего Герцена гораздо более широкого автобиографического замысла.

В цитированном выше письме Герцена к М. К. Рейхель от 5 ноября 1852 г. говорится: «(...) у меня явилось френетическое желание написать мемуар; я начал его по-русски (сишшу вам начало), но меня увлекло в такую даль, что я боюсь; с одной стороны, жаль упустить эти воскреснувшие образы с такой подробностью, что другой раз их не поймать. Иван Алексеевич, княгиня, Дмитрий Павлович, Александр Алексеевич, Васильевское и я ребенком в этом странном мире, патриархальном и вольтеровском. Но как писать: „Dichtung und Wahrheit“ или мемуар о своем деле? Я целый день сижу и думаю. Не лучше ли начать с отъезда из Москвы в чужие края? Я и это пробовал. Положение русского революционера относительно басурман европейских стоит тоже отделать, — об этом никто еще не думал».

Разумеется, возрождение издавна взлелеянных намерений не было лишь возвращением к прежним автобиографическим опытам. На содержание и форме «Былого и дум» решающим образом сказался богатейший жизненный, идейный, политический и художественный опыт, приобретенный Герценом на протяжении двух десятилетий.

Положение русского революционера-эмигранта, создателя зарубежной вольной русской печати, во имя народных интересов вступившего в единоборство с царизмом и крепостничеством и свято хранящего заветы своих предшественников, высокий уровень философской мысли, верность идеалам демократии и социализма и острый критицизм по отношению к западноевропейскому буржуазному порядку, богатый опыт русской и мировой политической, идейной борьбы, исканий революционной теории — таковы были предпосылки нового автобиографического труда.

Воспоминания о прошлом выступают в «Былом и думах» как художественное отражение исторических уроков, существенных для всей идейной борьбы Герцена.

«Былое и думы» охватили собою русскую жизнь от начала XIX века и особенно со второй половины 20-х годов, от лет, следовавших за восстанием декабристов, до реакции 60-х годов, и жизнь западноевропейскую — от Июльской монархии до кануна Парижской Коммуны.

О том, какое значение «Былому и думам» придавал сам Герцен, свидетельствуют следующие строки из письма к М. К. Рейхель от 24 января 1857 г.: «Очень уже хвалите. Да я, ведь, эдак и еще томов пять напишу, а потом „записки о записках“, да уж мне кажется, что я жил-то для „записок“... И то, если б я не жил, ну, и „записок“ бы не было». Шутливый оттенок, присущий этим строкам, лишь подчеркивает внутреннюю значительность выраженной ими мысли. Действительно, «Былое и думы» заняли важное место не только в творчестве Герцена, но и во всей его жизни и деятельности.

Глубине и богатству содержания «Былого и дум» соответствует многогранность и блеск художественной формы этого произведения. Эта литературная форма выросла из всего предшествующего развития творчества Герцена, во многом подвела итог его художественным исканиям.

В «Былом и думах» нашло наиболее яркое выражение стилистическое своеобразие Герцена как писателя, которое он сам определял следующим образом: «<...> ближайшее писание к разговору: тут и факты, и слезы, и хохот, и теория <...>» (письмо к И. С. Тургеневу от 25 декабря 1856 г.).

Художественно многостороннее и многокрасочное воспроизведение «фактов» было подготовлено зарисовками «Писем из Франции и Италии», образами беллетристических произведений и записями дневника; герценовский лиризм, «слезы» и «хохот» генетически связаны с лирико-философской прозой «С того берега», письмами и дневниками; теоретические отступления — с философскими работами 40-х годов и такими статьями, как «Капризы и раздумье». Сатирические элементы автобиографии, в частности характерные для нее эпиграммы в прозе, развивали сатирическую линию беллетристики Герцена и его фельетонов.

Все это было объединено авторским «я», которое еще раньше разными сторонами своими ярко выступало и в «Записках одного молодого человека», и в авторских отступлениях романа «Кто виноват?», и в монологах и диалогах «С того берега», и в письмах, фельетонах и очерках, но в «Былом и думах» впервые превратилось в живой образ положительного героя.

Сложная связь «Былого и дум» со всей жизнью, деятельностью и творчеством Герцена на протяжении последних двух десятилетий его жизни объясняет глубокие отличия отдельных частей и глав этого произведения, неизменно однако сохранявшего свою цельность и единство.

В предисловии 1860 г. к «Былому и думам» Герцен писал: «„Былое и думы“ не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений,— мне бы не хотелось стереть его». В предисловии 1866 г. к части пятой произведения Герцен подчеркнул значение, которым обладает «тогдашняя истина», отразившаяся в каждой главе «Былого и дум».

Действительно, различные части «Былого и дум», их главы, а в ряде случаев и части последних так далеки друг от друга по времени их написания и публикации, что в них становятся заметными развитие и существенные изменения взглядов и оценок Герцена.

В «Былом и думах» перед читателем встает путь самого Герцена от его отроческих лет и революционно-романтических упований 20-х годов до периода его идейной зрелости, когда на фоне острого кризиса поли-

тической и общественной жизни России и Западной Европы 60-х годов он выступает как мыслитель, закалившийся в борьбе за материализм и социализм, предсказывающий гибель старому миру и приветствующий новые, революционные силы в России и в Европе.

В процессе создания «Былого и дум» видоизменялся весь склад великого произведения в зависимости от перемен, происходивших в жизни, мировоззрении и деятельности Герцена.

Если сначала воспоминания о прошлом Герцен пытался ввести в произведение иного жанра и направленности (в «мемуар», обвиняющий Гегеля, в такое публицистическое произведение, как «Крощеная собственность»), то вскоре определилась полная самостоятельность автобиографического творения, тесно связанного однако в своем развитии с другими параллельно создававшимися произведениями.

Обратившись к прошлому и начав с рассказа о детстве и юности, Герцен постепенно приблизился к первым годам своей зарубежной жизни. В посвященной этому периоду части пятой «Былого и дум» характер повествования во многом изменился. В предисловии к этой части сам Герцен отмечал присущую ей «отрывочность рассказов, картин»: «Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях».

Герцен не желал повторять в «Былом и думах» рассказа о событиях 1848 г., о своих первых заграничных впечатлениях, содержавшихся в «Письмах из Франции и Италии» и «С того берега» — книгах, переиздававшихся в середине 50-х годов, т. е. тогда, когда он работал над «Былым и думами». Герцен сосредоточивает свое внимание на изображении отдельных наиболее ярких эпизодов и встреч, отдавая много места лирико-философскому раздумью над уроками эпохи революции 1848 г. и перспективами будущего.

Начиная с пятой части, отдельные главы «Былого и дум» приобретают все более самостоятельное значение, увеличивается удельный вес публицистических и философских отступлений, все более превращающихся в политически и идейно актуальные отклики на проблемы, поставленные современностью. Рассказ о личных переживаниях отделяется от изображения общественной драмы, сосредоточиваясь в тех наиболее интимных главах «Былого и дум», которые при жизни автора так и остались неопубликованными.

Эти тенденции еще более усиливаются в последующих, VI и VII частях произведения, охватывающих пребывание Герцена в Лондоне, тем более, что в эти годы биография Герцена не знает таких резких переломов, какие были характерны для предшествующих десятилетий, а личные переживания уже не занимают в его жизни большого места.

В VI и VII частях «Былого и дум» центральной становится тема политических и идейных взаимоотношений Герцена с представителями международной эмиграции, с одной стороны, и общественных сил России — с другой, что ведет к дальнейшему расширению и злободневному заострению проблематики поднимаемых вопросов, которые одновременно в значительной своей части освещались Герценом в передовых статьях и памфлетах «Колокола».

Последняя, восьмая часть «Былого и дум», композиционная особенность которой подчеркнута самим Герценом в названии первой главы — «Без связи», — носит характер записей, фиксирующих впечатления и раздумья Герцена по живым следам событий. При этом внимание Герцена сосредоточено не столько на «эксцентрических», по его собственному определению, людях, т. е. наиболее ярких представителях тех или иных общественных течений, сколько на типических чертах целых поколений, от представителей исторически обреченных господствующих классов, принадлежащих уже «тому свету», до молодых революционеров России, Франции и пролетариев Италии. Своеобразие этой части тесно связано с

тем, что вторая половина 60-х годов для Герцена была периодом переоценки многих ценностей, когда его внимание все более сосредоточивалось на ростках нового в общественной жизни.

Герцен характеризовал «Былое и думы» как «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Это определение с полным правом может быть отнесено ко всем без исключения частям и главам «Былого и дум». Каждая страница этого произведения действительно отражает историю, события, социальные сдвиги, борьбу идей, игравших большую роль в жизни человечества, и отражает их сквозь призму мыслей и чувств передового русского человека, революционера, мыслителя и писателя.

Н. П. Огареву

Впервые опубликовано в *Бид* I, по тексту которого и печатается.

Стр. 7. *Одной уже нет...*— Имеется в виду Наталья Александровна Герцен.

〈Предисловие〉

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1861 г., кн. VI, стр. 216—219, с подстрочным примечанием: «Это предисловие написано для полного издания двух первых частей „Былое и думы“, предпринятого гг. Трюбнером и К^о. Под текстом в *ПЗ* обозначено: Eagle's Nest, Bournemouth. 5 июля 1860 г. Печатается по тексту *Бид* I, стр. V—XI.

Стр. 9. *...«чистый ∞ период оканчивавшейся юности».*— Очевидно, цитируется по памяти следующее место из *Тис*: «...Новый отдел жизни начался для меня с Владимира... отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью» (*Тис*, стр. 183).

Стр. 9—10. *...письма, писанные мелким шрифтом...*— От Н. А. Захарьиной.

Стр. 10 *...каких-нибудь четыре месяца...*— Период от 2 января (прибытие Герцена во Владимир) до начала мая (9 мая А. И. Герцен и Н. А. Захарьина обвенчались во Владимире) 1838 г.

Три тетрадки были написаны...— Относительно датировки написания «Записок одного молодого человека», о которых здесь идет речь, см. в т. I наст. изд., стр. 512.

...напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью)...— «Записки одного молодого человека» были опубликованы в «Отечественных записках» за 1840 г. (кн. XII) и 1841 г. (кн. VIII).

...остальная и теперь должна валяться ∞ если не пошла на подпопки.— О содержании утраченной тетради см. в т. I наст. изд., стр. 502—504.

...«я жил в одном из лондонских захолустий ∞ укрепляя своими ударами молодую жизнь».— См. *Тис*, стр. III—IV.

...я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок.— Герцен говорит о своих переживаниях после поражения революции 1848 г., а также тягчайших несчастиях, постигших его семью: гибель матери и сына осенью 1851 г. во время кораблекрушения, смерть жены 2 мая 1852 г.

Стр. 11 ...перечитывая ∞ одному из друзей юности...— Н. М. Сатину (см. письмо Герцена к М. А. Маркович от 27 июля 1860 г.).

Стр. 12. ...наше ребячье Грютли на Воробьевых горах...— По преданию, на лугу Грютли, расположенном в швейцарском кантоне Ури, в 1307 г. представители кантонов Ури, Швица и Унтервальдена поклялись бороться за освобождение отечества. Союз трех кантонов положил начало существованию самостоятельного швейцарского государства. Герцен сравнивает эту легендарную клятву с клятвой, данной им и Н. П. Огаревым на Воробьевых горах в Москве (см. главу IV «Былого и дум»).

...было не тридцать три года тому назад, а много — три! — О дате клятвы на Воробьевых горах см. в примечании к стр. 81.

Таков остался наш союз...— Цитируются заключительные строки из стихотворения Н. П. Огарева «Искандеру» («Я ехал по полю пустому») В первой строке опущено слово «надменный».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая часть «Былого и дум», как видно из письма Герцена к М. К. Рейхель от 7 марта 1853 г., в это время заканчивалась им: он сообщал своей корреспондентке о работе над предпоследней главой первой части. Впервые опубликована в *ПЗ*, 1856 г., кн. II, с заголовком «Былое и думы». (Из первой части „Записок Искандера“) и с предисловием, помещенным в виде сноски к заглавию; предисловие см. в разделе «Предисловия, переводы, отрывки». В *Бид* I добавлены: посвящение Н. П. Огареву и предисловие, написанное 5 июля 1860 г. и впервые опубликованное в *ПЗ*, 1861 г., кн. VI. Кроме того, автор перенес в конец первой части из второй приложение об А. Полежаеве, а рассказ о «сунгуровском деле», взятый из этого же приложения, включил в гл. VI первой части. Конец гл. III публикации *ПЗ* выделен в отдельном лондонском издании «Былого и дум» в самостоятельную IV главу с заголовком «Ник и Воробьевы горы».

Печатается по тексту *Бид* I со следующими исправлениями:

Стр. 27, строки 10—11: необычайных усилий вместо: необычных усилий (по *ПЗ*)

Стр. 27, строка 34: поперхнулся вместо: повернулся (по *ПЗ*)

Стр. 56, строка 3: в заголовке снято «Н. Огарев», так как об Огареве речь идет в гл. IV

Стр. 66, строка 22: скорым шагом вместо: скромным шагом (по *ПЗ*)

Стр. 69, строка 27: тот, в котором вместо: ту, в которой

Стр. 105, строка 4: в заголовке снято «Н. А. Полевой», так как о Полевом речь идет в гл. VII

Стр. 131, строки 12—13: разбойника, распятого вместе с Христом вместо: разбойника вместе с Христом (по *ПЗ*)

Стр. 135, строка 35: закричал вместо: он закричал

Повествуя о годах своего детства, отрочества и студенчества, Герцен сосредоточивает внимание на важнейших идейных влияниях и впечатлениях, определивших путь русского революционера, борца против самодержавия и крепостничества, глубокого критика западноевропейского буржуазного строя. На широком социально-историческом, идейном и бытовом фоне 20—30-х годов прослеживается духовное и политическое развитие юного Герцена: рост патристической настороженности и возникновение ненависти «ко всякому рабству и ко всякому

производу», «нравственное пробуждение» под влиянием восстания декабристов, совместная с Н. П. Огаревым клятва на Воробьевых горах, «шпилеровский период», духовный рост в студенческие годы, идейные и философские искания на путях к утопическому социализму и «реализму» (т. е. материализму). В этой связи даются зарисовки быта барской Москвы, крепостнической «девичьей и передней» первой половины 30-х годов XIX века, а с другой стороны, характеристика Московского университета как одного из центров идейной жизни России, вольнолюбивых настроений студенчества. Особое место в этой части занимает портрет А. Полежаева.

Несмотря на жизнерадостный, «светлый», по выражению Герцена, тон первой части «Былого и дум», в ней отразилась горечь позднейших жизненных и идейных испытаний, в особенности поражения революции 1848 г.

Целый ряд персонажей и мотивов этой части мемуаров связан с другими произведениями Герцена, особенно с автобиографическими повестями и набросками 30-х годов («Записки одного молодого человека», «О себе», отрывок «День был душный...») и др.— см. т. I наст. изд.). Образ Левки в «Докторе Крупове» (1846) восходит к краткой зарисовке дурака Проньки (глава третья «Былого и дум»). В неоконченной повести «Долг прежде всего» (1847—1851) дана более широкая, чем здесь, характеристика «людей XVIII века» (ср., например, образ Михаила Степановича Столыгина). Портрет Бакая обогащался новыми чертами в статье «Appel à la pudeur» (1858).

Весьма важный материал, дополняющий рассказ Герцена о студенческих годах, содержится также в начале очерка о Н. И. Сазонове («Былое и думы», «Русские тени»).

Глава I

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1856 г., кн. II, стр. 43—61, с датой в подзаголовке: «(1812—1822)». Перепечатана в *Бид* I, стр. 3—26, с незначительными изменениями (см. «Варианты»). В разделе «Предисловия, переводы, отрывки» см. рукописный отрывок («Все несчастье борьбы...») из первоначальной редакции главы.

Стр. 13. *Когда мы в памяти своей...*— Цитата из второй части поэмы Н. П. Огарева «Юмор».

Стр. 16. *Мы тогда жили во флигеле у княжны...*— У А. Б. Мещерской.

Стр. 18. ... *передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского*. См. «Manuscrit de mil huit cent douze»... par le Baron Fain, t. deuxième, Bruxelles, 1827, p. 87—90, а также «Описание Отечественной войны в 1812 году...», сочиненное Михайловским-Данилевским, ч. III, СПб., 1839, стр. 61—65.

Стр. 20. ...*второе было без французских уланов ∞ я был один, возле меня сидел пьяный жандарм*.— Подразумевается отправление Герцена в ссылку в 1835 г. См. главу XIII (часть вторая).

Стр. 21. ...*один С. С. Шишков приезжал, по приказанию государя...*— Вероятно, А. С. Шишков, постоянно находившийся в то время при Александре I в качестве государственного секретаря.

...*старшего брата...*— П. А. Яковлева.

Стр. 22. ...*брат моего отца...*— П. А. Яковлев.

Стр. 23. ...*участвовал на знаменитом празднике ∞ где Мария-Антуанетта пила на погибель революции*.— Повидимому, имеется в виду

праздество на Марсовом поле в Париже (14 июля 1790 г.) в первую го дощину взятия Бастилии.

Стр. 25. ...у моего отца был другой сын...— Е. И. Герцен.

Страницы ∞ выпущены мной...— См. наст. том, стр. 400 и 480.

У моего отца был еще брат, старший обоих...— А. А. Яковлев.

Стр. 27. ...старший племянник моего отца...— Д. И. Голохвастов.

Стр. 29. ...«при царе Ерёме»...— Имеется в виду Жером Бонапарт.

Глава II

Впервые опубликована в ПЗ, 1856 г., кн. II, стр. 62—84, с датой «1823—1826». Перепечатана в Бид I, стр. 27—60, без даты, с изменениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 34. Мне тогда уже было лет тринадцать.— Разговор не мог происходить после того, как Герцен подписал прошение о зачислении в Кремлевскую экспедицию (декабрь 1820 г.), следовательно, Герцену тогда было не больше восьми лет.

Родственник наш...— А. П. Кучин.

Стр. 35. ...Алексю Николаевичу...— Бахметеву.

Стр. 36. «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?»— См. комедию Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» (действие I, явление II).

Стр. 37. ...с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство...— «Трезвым опьянением» Герцен проницески называет деятельность ирландского священника Т. Матью, проповедовавшего трезвость и занимавшегося с 1833 г. организацией обществ трезвости.

Стр. 41. ...прибегали к гнусному средству «частного дома»...— В «частном доме» (полицейском участке) крепостных секли по требованию их владельцев-помещиков.

Стр. 45. Старший брат моего отца...— П. А. Яковлев.

Стр. 47. ...французского «Репертуара»...— Имеется в виду «Répertoire du théâtre français», 68 vol., P., 1823—1829.

...русского «Феатра»...— Подразумевается «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений», 43 тома, СПб., Импер. Акад. наук, 1786—1794.

Стр. 48. Как упоительна казалась мне сцена ∞ спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайком целовать ее.— См. комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (действие II, явление IV—X).

Стр. 49. ...le récit de Thérémène...— Имеется в виду монолог Терамена из трагедии Расина «Федра» (акт V, сцена VI).

Стр. 50. Je crains Dieu, cher Abner ∞ et n'ai point d'autre crainte.— Слова Иодая из трагедии Расина «Гофолия» (акт I, сцена I).

Стр. 51. Органист ∞ о котором говорится в «Записках одного молодого человека», И. И. Эжк...— См. «Записки одного молодого человека», т. I наст. изд., стр. 262—264, 270.

Стр. 53. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже...— См. стихотворение Беранже «Complainte d'une de ces demoiselles à l'occasion des affaires du temps». В этом стихотворении, направленном против Веллингтона, Беранже с сатирической целью изменил фамилию Wellington (Веллингтон) на Vilainton (Вилентон).

...отец пригласил священника...— В. В. Боголепова.

Глава III

Впервые опубликована в ПЗ, 1856 г., кн. II, стр. 85—106, с датой «1825—1827». Перепечатана в БИД I, стр. 61—90, без даты, с изменениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 56. ...я его видел ∞ он тихо ехал ∞ возвращаясь с Ходынки, где были маневры.— Герцен мог видеть Александра I 26, 27 или 28 августа 1823 г. См. «Московские ведомости», № 71 от 5 сентября 1823 г.

Стр. 57. ...канибальски-царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон-Жуане».— См. «Дон Жуан» Байрона (песнь четвертая, строфа 44).

Стр. 58. ...с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братьев о Христе и о внутреннем человеке».— Имеется в виду упразднение в 1824 г., благодаря проискам архимандрита Фотия и Аракчеева, министерства духовных дел и народного просвещения (учреждено в 1817 г.), возглавлявшегося князем А. Н. Голицыным, а также преследование партий Фотия сторонников А. Н. Голицына, членов «Библейского общества», которому Александр I ранее покровительствовал.

Стр. 59. ...Люсиль Демулен ∞ бродящая возле топора, ожидая свой черед...— Жена Камиллы Демулена Люсиль Демулен, протестовавшая против смертного приговора мужу, вынесенного революционным трибуналом по требованию Робеспьера, была обвинена в соучастии и казнена 13 апреля 1794 г., спустя восемь дней после казни К. Демулена.

...не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй...— Следующая за этим история декабриста В. П. Ивашева и его семьи передана Герценом не совсем точно. Подробности этой истории см. в книге: О. К. Буланова. «Роман декабриста», М., 1925 г., где использован семейный архив В. П. Ивашева.

...жила молодая француженка гувернанткой.— Камилла ле Дантю, дочь гувернантки Ивашевых.

Единственный сын Ивашева...— В. П. Ивашев, сын П. Н. Ивашева.

...не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им...— Герцен имеет в виду дуэль между В. Д. Новосильцевым и К. П. Черновым, вступившимся за честь своей сестры. В результате дуэли, происходившей 10 сентября 1825 г., оба противника были смертельно ранены.

Стр. 61. ...передал свое имение незаконному сыну...— Подразумевается побочный брат матери В. П. Ивашева — В. А. Ивашевой — А. Е. Головинский, воспитанный ею вместе с ее детьми.

Николай ∞ не везшая в Москву, остановился в Петровском дворце...— Это было 21 июля 1826 г.

...читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.— Дата казни декабристов — 13 июля 1826 г. Правительственные документы о казни декабристов публиковались в номерах газеты «Московские ведомости», выходивших в двадцатых числах июля 1826 г.

...смертная казнь de jure не существовала.— Указом Елизаветы Петровны от 30 сентября 1754 г. смертная казнь (в случае присуждения к ней) заменялась другим наказанием (каторжные работы, клеймение и т. п.). Екатерина II указом от 6 апреля 1775 г. подтверждала законность указа 1754 г., однако указ Елизаветы Петровны истолковывался как не относящийся к общегосударственным (чрезвычайным) преступлениям (казнь Мировича, Пугачева). Вопрос о смертной казни в России был поставлен в 1823 г. в Государственном совете в связи с составлением проекта общего уложения. Некоторые члены совета толковали указ

1754 г. как отменивший смертную казнь за все преступления, в том числе и общегосударственные. Большинство же членов, ссылаясь на то, что в тексте указа 1754 г. речь шла только об общих преступлениях, и опираясь на практику Екатерины II, высказалась за то, что смертная казнь в отношении к общегосударственным преступлениям имеет юридическую силу. Этим воспользовался впоследствии Николай I при вынесении приговора по делу декабристов.

Стр. 62. *Николай ввел смертную казнь* ∞ *сначала незаконно, а потом привнес ее к своему своду.*— По своду законов, опубликованному в 1832 г., смертная казнь устанавливалась за политические, карантинные и воинские (во время военных походов) преступления.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле.— Молебен состоялся 19 июля 1826 г.

«Победу Николая ∞ *торжествовали* ∞ *молебствием.* ∞ *Вся царская фамилия молилась* ∞ *не покидал ни разу»* (*«Полярная звезда на 1855»*).— Герцен цитирует свою статью «К нашим», напечатанную в «Полярной звезде на 1855», кн. I. Николая I на этом молебствии не было. *...Николай сделал свой торжественный въезд в Москву.*— 25 июля 1826 г.

В Ватикане есть новая галерея...— Речь идет о галерее Браччио Нуово (Вассио Нуово), построенной в Ватикане папой Пием VII в 1817—1822 гг.

Стр. 63. *До 29 ноября 1830 года...*— Дата начала польского восстания 1830—1831 гг.

Стр. 64. *«Ода на свободу»...*— Ода «Вольность» Пушкина.

...я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!)— В «Полярной звезде на 1856», кн. II, где впервые была напечатана первая часть «Былого и дум», одновременно были опубликованы: «Вольность», «Деревня», «Послание в Сибирь», «К Чаадаеву» Пушкина, «Гражданин» Рыльева и некоторые другие стихотворения.

Стр. 65. *...«развратные и плуты» взяли верх.*— Имеется в виду контрреволюционный переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.).

...внучка старшего брата моего отца.— Т. П. Кучина (Пассек).

...с своей теткой.— Е. П. Смаллан.

Стр. 66. *...«Ахиллеса, Пелеева сына»...*— Цитата из первой строки «Илиады» в переводе Гнедича.

...как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребязество!»— См. «Горе от ума» А. С. Грибоедова (действие I, явление 7).

Матери...— Имеется в виду Н. П. Кучина.

Стр. 67. *Отец...*— П. И. Кучин.

Сын...— А. П. Кучин.

...воспитанник Смоленского монастыря.— Подразумевается Е. М. Тушнев (в замужестве Кучина).

...«семинаристов в желтой шали»...— Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава третья, строфа XXVIII).

Стр. 68. *...Секюрову всеобщую историю...*— «Abrégé de l'Histoire universelle, ancienne et moderne, à l'usage de la jeunesse», par M. le comte de Ségur, P., 1817 et ann. suiv., 44 vol.

...Анахарсисово путешествие.— Barthélemy J. J. «Voyage de jeune Anacharsis en Grèce», tt. I—VIII, P., 3 édit., 1790.

Стр. 69. *...«Брут или Фабриций».*— Герцен цитирует строку из стихотворного памфлета Д. Давыдова «Современная песня».

Стр. 73. *...богемские леса...*— Место действия драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне...— Упоминаемая Герценом статья неизвестна.

Стр. 74. *...по дороге из Фраскати в Рим...*— Описываемая поездка Герцена и его жены Н. А. Герцен могла состояться в первые месяцы 1848 г.

Деревья сада...— Цитата из второй части поэмы Н. П. Огарева «Юмор».

Стр. 75. *...отец продал его.*— В 1835 г. Н. П. Голохвастову.

...мы жили в другой подмосковной ∞ верст двадцать от Васильевского.— В селе Покровском.

Глава IV

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1856 г., кн. II, стр. 106—112, в составе гл. III. Далее в *ПЗ* шел заголовок «Глава IV» (стр. 113), после чего вместо текста следовали три строки точек. Перепечатана в *Бид* I, стр. 91—103, как гл. IV, с изменениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 77. *«Напиши тогда, как ∞ развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».*— Не совсем точная цитата из письма Н. П. Огарева к Герцену от 7 июня 1833 г. См. *ЛН*, т. 61, стр. 714.

Стр. 78. *...к дальнему родственнику моего отца.*— П. Б. Огареву.

Стр. 78—79. *И вот теперь в вечерний час...*— Цитируются стихи из второй части поэмы Н. П. Огарева «Юмор». Многоотчие в предпоследней строфе заменяет пропущенные четыре с половиной строки.

Стр. 79. *От Мёроса ∞ «чтоб город освободить от тирана».*— Греческий герой, тираноборец (по некоторым источникам — Дамон). Легенда о Дамоне и его друге Финтии послужила основой для баллады Ф. Шиллера «Порука» («Die Bürgschaft»). Из нее и приводится строка «Die Stadt vom Tyrannen befreien!».

...от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта...— См. драму Ф. Шиллера «Вильгельм Телль» (действие IV, сцена III).

Стр. 80. *...старика-дядьки...*— И. М. Булатова.

Стр. 81. *...присягнули ∞ пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.*— Наиболее вероятная дата клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах — 1827 г. См.: М. В. Нечкина. «„Моя исповедь“ Огарева», *ЛН*, т. 61, стр. 668—669.

...Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма...— Закладка храма Витберга на Воробьевых горах произошла 12 октября 1817 г. «Государь император положил первый камень», сообщают «Санкт-Петербургские ведомости» (26 октября 1817 г.). См. также «Московские ведомости», 17 октября 1817 г.

Стр. 82. *...свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.*— Имеется в виду библейский рассказ о борьбе Иакова с богом, в результате которой у Иакова было повреждено бедро (Библия. Первая книга Моисеева. Бытие, глава 32).

«Выехал я ∞ все было так синё, синё, а на душе темно, темно».— Почти точная цитата из письма Н. П. Огарева к Герцену от 7 июня 1833 г. См. *ЛН*, т. 61, стр. 713.

«Напиши ∞ как ∞ развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».— См. примечание к стр. 77.

В 1842, возвратившись окончательно в Москву ∞ смотрели ∞ также вдвоем,— но не с Ником.— С Н. А. Герцен.

Стр. 83. *Портрет этот ∞ взяла чужая женщина...*— Речь идет о Е. В. Салиас де Турнемир. Местонахождение оригинала портрета в настоящее время неизвестно.

...«*Таков ли был я, расцветая?*» — Цитата из «Путешествия Онегина» А. С. Пушкина.

...смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «*Bettina will schlafen*»... — Имеется в виду восклицание немецкой писательницы Беттины фон Арним. См. его оценку в дневнике Герцена (запись от 28 августа 1844, т. II наст. изд., стр. 374). В книге фон Арним «*Goethes Briefwechsel mit einem Kinde*» одно из писем Беттины к Гёте заканчивалось следующими словами: «*Ich bin müde, lieber Goethe, ich muß schlafen*». См.: *Bettina von Arnim. «Goethes Briefwechsel mit einem Kinde»*, Bd. 1, Berlin, 1835, S. 274.

Стр. 85. ...«*старый дом*». — Дом И. А. Яковлева (ныне не сохранившийся) в Б. Власьевском переулке в Москве. Здесь Герцен жил с 1824 г. по 1830 г.

Старый дом, старый друг! посетил я... — Приводится стихотворение Н. П. Огарева «Старый дом».

Глава V

Впервые опубликована в ПЗ, 1856 г., кн. II, стр. 113—124. Перепечатана в БИД I, стр. 104—130, со значительными дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 87. ...*Пушкин, посвятивший ему чудное послание...* — Стихотворение «К вельможе».

Стр. 88. ...*Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского...* — Имеется в виду ода Г. Р. Державина «К Степану Васильевичу Перфильеву на смерть князя Александра Ивановича Мещерского».

Стр. 89. *Для женщины, которой волю он сломил ∞ для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность...* — Подразумеваются соответственно Ж. И. Гаг, Е. И. Герцен, А. И. Герцен.

Стр. 91. ...*пензенские крестьяне...* — Крепостные И. А. Яковлева из с. Архангельского, Керенского уезда, Пензенской губернии.

Стр. 92. ...*графиня Анна Алексеевна...* — А. А. Орлова-Чесменская. ...*книгу писал des finances...* — Имеется в виду сочинение М. Ф. Орлова «О государственном кредите», М., 1833.

...*Григория Ивановича...* — Г. И. Ключарева.

Стр. 99. ...*Шереметевского странноприимного дома...* — Речь идет о благотворительном учреждении, состоявшем из богадельни для престарелых и увечных лиц, а также больницы, открытой в Москве графом Н. П. Шереметевым в 1810 г.

Стр. 100. ...*издал «Мысли герцога де Ларошфуко»...* — «Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко». Пер. с франц. Дм. Пименовым, М., 1809.

...*трактат «О женской красоте и прелести»*. — Имеется в виду: «О сущности красоты и прелести». Пер. с франц. Дм. Пименов, М., 1818.

...*Плутарх сравнивает героев...* — Речь идет о сочинении Плутарха «Сравнительные жизнеописания».

«*Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина зато — то, то и то...*» — Герцен имеет в виду описательную манеру книги Дм. Пименова «О сущности красоты и прелести».

Стр. 104. ...*читал ∞ Бурьенна «Mémorial de S-te Hélène»...* — Упоминаемая Герценом книга принадлежит не Бурьенну, а Лас-Казу (Las-Cases. «Mémorial de Sainte-Hélène...», tt. 1—8, P., 1823—1824).

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1856 г., кн. II, стр. 125—151. Перепечатана в *Бид* I, стр. 131—193, со значительными изменениями и дополнениями (см. «Варианты»). Гл. VI дополнена текстом из гл. VII («— Хочешь познакомиться ∞ друзьями — стр. 137, строки 4—19 и «Собирались мы ∞ кадил...» — стр. 137—144, строки 24—15) и из первого приложения к *ТиС* — «А. Полежаев.— Сунгуровское дело» («Пришедши ∞ телегу» — стр. 147—148, строки 12—26).

Стр. 105. *О, годы вольных, светлых дум...*— Из первой части поэмы Н. П. Огарева «Юмор».

...*пророчества хромого генерала...*— А. Н. Бахметева.

...«*комитетские экзамены*». С 1809 по 1834 г. чиновники, не имевшие высшего образования и желавшие получить чин коллежского асессора, сдавали при университетах России в особых комитетах, состоявших из нескольких профессоров и преподавателей, экзамены по основным дисциплинам, изучавшимся на физико-математическом, словесном и нравственно-политическом (т. е. юридическом) факультетах. Успешно сдавшие «комитетские» экзамены получали соответствующий аттестат, в котором указывалось, какие «оказал познания» экзаменовавшийся чиновник. Для подготовки к сдаче такого рода экзаменов при университетах были организованы вечерние курсы.

Стр. 106. *Начать мою жизнь этими каудинскими фурулами...*— Т. е. поражением, разгромом. В Кавдинском ущелье в IV в. до н. э. римляне понесли тяжелое поражение от самнитов.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории.— Прошение о выдаче свидетельства для поступления в университет Герцен подал в Кремлевскую экспедицию 19 августа 1829 г. 14 октября 1829 г. он был допущен к слушанию лекций.

Стр. 107. ...*отдал ∞ в солдаты ∞ Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст...*— В приговоре по делу кружка Сунгурова, в пункте, касающемся группы его участников Костенецкого, Антоновича, Кашевского, Кольрейфа и Кноблоха, говорилось: «...найлены у трех последних писанные ими бумаги с дерзкими мыслями противу правительства, а у Кноблоха с дерзкими выражениями против особы К. В. короля Прусского» (см. Б. Эйхенбаум. Тайное общество Сунгурова, «Заветы», № 5, май, 1913, стр. 58). См. также в докладе следственной комиссии: «Кольрейф, Кноблох и Кашевский излагали даже на бумаге дерзкие свои мысли» (там же, стр. 54). Повидимому, Герцен имеет в виду эти «бумаги», когда упоминает о прозе. В утвержденном Николаем I проекте приговора по делу братьев Критских читаем следующее: «...Лушников, Петр Критский и Попов произносили к портретам Государя Императора дерзкие и оскорбительные слова; притом Лушников был ожесточен до такой степени, что дерзнул на портрете блаженныя памяти Государя Императора выколоть глаза» (см. М. Лемке. Тайное общество братьев Критских, «Былое», 1906, № 6, стр. 50). Известно также, что в 1826 г. был посажен в дом умалишенных юнкер Зубов, в частности, за то, что «он с другими тсварищами рубил бюст государя императора, приговаривая словами: „Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских“» («Отголоски декабрьского восстания 1825 года», «Красный архив», 1926, № 16, стр. 193). Возможно, Герцен смешивает дело братьев Критских с делом Зубова, когда пишет не о портрете, а о бюсте.

...посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем...— С. М. Голицын был попечителем Московского учебного округа в 1830—1835 гг.

Стр. 108. ...вместе с законом о пассах...— Очевидно, речь идет об указах Николая I о паспортах, изданных в 1844 г. и вводивших дальнейшие ограничения при выдаче паспортов для лиц, выезжающих за границу. Так, на основании указа от 15 марта выдача заграничных паспортов сосредоточивалась в Министерстве внутренних дел; заграничные паспорта выдавались только лицам, достигшим 25-летнего возраста; в случае поездки для лечения требовалось, кроме полицейского разрешения, медицинское свидетельство о болезни и т. п. (См. оценку этого указа в дневнике Герцена (запись от 30 марта 1844 г., т. II наст. изд., стр. 347)).

...о религиозной нетерпимости...— Герцен имеет в виду мероприятия Николая I, направленные против различных вероисповеданий во имя торжества официального православия: присоединение к официальной церкви униатов (1839 г.), борьбу против старообрядчества, насильственное обращение в христианство волжских, уральских, кавказских и сибирских народностей.

Воспитательные дома ∞ один из лучших памятников екатерининского времени.— По распоряжению Екатерины II в 1763 г. был открыт воспитательный дом в Москве и в 1770 г. в Петербурге.

...мысль учреждения ∞ воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами...— Воспитательные дома вначале существовали только на благотворительные средства. Впоследствии для содержания их отчислялись незначительные ссуды в виде налога на привозные карты, небольшого процента доходов с театров, зрелищ.

...произвел высшие классы ∞ в обер-офицерский институт...— На основании указа от 1837 г. учебные классы воспитательных домов реформировывались в институт для сирот обер-офицерского звания.

...он не велел в губернских заведениях ∞ принимать новорожденных детей.— Указом 1828 г. было запрещено содержание воспитательных домов по всей России за исключением Москвы и Петербурга.

Стр. 108—109. ...медицинское отделение ∞ состояло из семинаристов и немцев.— Как правило, на медицинское отделение, для поступления на которое нужно было знать латинский язык, шли охотнее всего дети иностранцев, работавших в России, преимущественно лекарями, аптекарями, преподавателями иностранных языков. Нехватка врачей (в основном в армии) вызвала ряд правительственных мер по увеличению контингента студентов-медиков в университетах и специальных медицинских учебных заведениях из числа семинаристов, которые знали латинский язык. В университет ежегодно присылались воспитанники семинарий, которые целыми партиями зачислялись казеннокоштными студентами медицинского отделения.

Стр. 109. ...у одного учителя...— И. Ф. Волкова.

...Франкёроз курс...— «Cours complet de mathématiques pures», par L.-B. Françoer, tt. 1—2, P., 1809 (Ф р а н к ё р. Курс чистой математики, пер. с франц., М., 1819).

После знаменитого раздела имени в 1822 году...— В действительно-сти, раздел имени происходил летом 1821 г.

Стр. 110.— Он химик, он ботаник...— Приведены не совсем точно слова княгини Тугоуховской из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действие III, явление 21).

Стр. 112. *...речь Кювье о геологических переворотах...*— «Discours sur les révolutions de la surface du globe...» par M. le Baron G. Cuvier. P., 1825.

...де-Кандолеву растительную органографию.— «Organographie végétale» par Mr. Aug. - Pyr. de Candolle, tt. 1—2, P., 1827.

Меня возмущал его материализм.— Герцен имеет в виду естественно-научный материализм XVIII века, под влиянием которого сложились философские убеждения А. А. Яковлева («Химика»).

Стр. 114. *...после моей женитьбы я ездил ∞ в подмосковную...*— О поездке Герцена с женой в с. Покровское в июле — августе 1838 г. см. в письме к А. Л. Витбергу от 10 августа 1838 г.

Стр. 117. *...тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки...*— На допросе следственной комиссии 24 июля 1834 г. Герцен показал: «Лет пять тому назад, слышал я и получил стихи Пушкина „Ода на свободу“, „Кинжал“, Полежаева, не помню под каким заглавием, от г. Паца, кандидата Московского императорского университета» (МОГИА, ф. 46, оп. 1, д. № 142, л. 379). Пац(ев) Григорий Минаевич (р. ок. 1800) — учился на этико-политическом отделении Московского университета (1819—1824), которое окончил со степенью кандидата. Одновременно слушал лекции ученых словесного и физико-математического факультетов (см. Архив МГУ, Правление, 2-й стол, 1819, д. № 390, 1824, д. 232).

...о маловской истории...— Маловская история произошла 16 марта 1831 г.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор...— Студенты ненавидели Малова не только за грубость и глупость. Они видели в нем апологета самодержавия, восхвалявшего в своих лекциях крепостнические порядки.

Стр. 119. *...с попечительством князя Оболенского ∞ оканчивается патриархальный период Московского университета.*— А. П. Оболенский был попечителем Московского учебного округа с 1817 по 1825 г. (до воцарения Николая I). Этот описываемый Герценом период впоследствии назывался «патриархальной» эпохой Московского университета.

Стр. 121. *...шесть человек, наказанных по маловскому делу.*— Шестой наказанный (кроме называемых Герценом и его самого) — П. П. Каменский.

Стр. 122. *...и там я просидел не восемь дней...*— В 1834 г., давая письменные показания следственной комиссии, Герцен удостоверял, что «был под арестом трое суток в 1831 году по известной истории против профессора Малова» (д. № 142, л. 367).

Стр. 123. *...до Гавриила Мягкова, читавшего самую жесткую науку в мире — тактику.*— Г. И. Мягков, автор книги «Опыт артиллерийской тактики», преподавал в Московском университете до 1833 г. военные науки. В архиве МГУ сохранилась ведомость успехов студентов физико-математического отделения за 1831/32 учебный год, слушавших лекции Мягкова. Успехи всех слушателей, в том числе и Герцена, Мягков оценил как посредственные.

...посещение Уварова.— Относится к осени 1832 г.

Гумбольдт ∞ был встречен в ∞ заседании общества естествоиспытателей при университете...— Прием Гумбольдта в Московском обществе испытателей природы состоялся 26 октября 1829 г.

Стр. 123—124. *...император изволил дать Анну...*— А. Гумбольдт был награжден орденом св. Анны первой степени указом от 1 ноября 1829 г.

Стр. 124. *...приказал не брать с него денег за материал и диплом...*— Согласно существовавшим тогда законам, лица, пожалованные орденом, делали единовременный денежный взнос в орденский капитал.

Сан-Суси — дворец в Потсдаме, резиденция Фридриха II.

Стр. 125. ... *Сергей Глинка* ∞ прочел свое стихотворение...— «Московские ведомости», № 90 от 9 ноября 1829 г. в информации о заседании общества испытателей природы, состоявшемся 26 октября, сообщают, что С. Н. Глинка произнес в честь А. Гумбольдта стихи на французском языке.

...*Гумбольдту* хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой...— В указанной выше информации «Московских ведомостей» отмечалось, что в своем выступлении 26 октября А. Гумбольдт говорил о магнитных наблюдениях, сделанных им во время путешествия по Уралу.

...десять лет спустя, точно так же принимали Листа в московском обществе.— Лист посетил Россию в 1842, а также в 1843 и 1847 гг.

Стр. 126. ... *воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным, в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения* ∞ Уваров.— Герцен имеет в виду стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла», представляющее собой едкую сатиру на С. С. Уварова. В момент описываемого посещения Москвы Уваров был товарищем министра народного просвещения.

При Александре он писал либеральные брошюры по-французски...— Имеются в виду: «Eloge funèbre de Moreau», St.-P., 1813, «L'Empereur Alexandre et Buonaparte», St.-P., 1814 и др.

...переписывался с Гёте по-немецки...— Переписка Уварова с Гёте опубликована в статье: G. Schmid. «Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel» («Russische revue». Bd. XXVIII, 2 Heft. St.-P., 1888, S. 131—174).

Стр. 127. *Где наш старец Ланжерон!*...— Неточная цитата из «Бородинской годовщины» В. А. Жуковского.

Стр. 128. ...*декан*...— Щепкин П. С.

...я представлял «Угара», а жена жандармского полковника — «Марфу»...— Имеется в виду «Марфа и Угар, или Лакейская война, комедия в одном действии, переделанная с французского из сочинений Дюбуа». Автор — А. А. Корсаков. См. «Российский феатр», 5-е собр., т. VI. В представлении участвовала П. А. Замятнина, жена А. Г. Замятнина.

Стр. 129. ...*явился на польском митинге в Лондоне*...— Герцен вспоминает свое выступление на митинге (29 ноября 1853 г.) в честь двадцать третьей годовщины польского восстания.

Стр. 130. ...*учить по его катехизису*...— Имеется в виду составленный для учебных заведений в 1828 г. на основе «Христианского катехизиса православной кафолической восточной греко-российской церкви» Филарета (СПб., 1823) краткий катехизис под названием: «Начатки христианского учения, или краткая священная история и краткий катехизис».

Стр. 131. *Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры*...— Герцен имеет в виду «Слово по освящении храма и по принесении господу богу молитв о предохранении от губительной болезни. Говорено сентября 18 дня 1830 г.»

...он взял текстом, как ∞ Давид избрал чуму.— В проповеди Филарета был использован эпизод из Библии (вторая книга царств, глава 24).

Митрополит ∞ разослал новое слово ∞ в котором пояснял ∞ что Давид — это мы сами, погрозившие в грехах.— О рассылке по церквам «нового слова» сведений нет. Повидимому, речь идет о проповеди, произнесенной Филаретом 5 октября 1830 г., когда, обращаясь к царю, митрополит говорил: «Он не причиною нашего бедствия, как некогда был первую причиною бедствия Иерусалима и Израиля Давид».

Стр. 132. *Я помню одного студента малороссиянина, кажется Фицхелаурова...*— Воспитанник гимназии Войска Донского в Новочеркасске, С. П. Фицхелауров с 1827 г. учился на медицинском факультете, по окончании которого (1831) был оставлен в университете на один год для изучения ветеринарной науки (Архив МГУ, Правление, 1-й стол, 1827, д. № 143, 1831, д. № 87).

Стр. 133. *...женщину, обогренную кровью своего мужа...*— Екашерину II.

Но не пошла Москва моя...— Не совсем точная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава седьмая, строфа XXXVII).

Едва ∞ фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда...— После Июльской революции Карл X бежал из Франции в Голируд— замок в Эдинбурге (Англия).

...Бельгия вспыхнула...— Речь идет о революции 1830 г. в Бельгии. *... короля-гражданина...*— Подразумевается Луи-Филипп Орлеанский, любивший щеголять титулом «короля-гражданина».

Стр. 134. *...описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что — «великий, языческий Пан умер».*— Известие об Июльской революции застало Г. Гейне на острове Гельголанде. Герцен говорит о страницах из второй книги «Людвига Бёрне», где Гейне восторженно приветствует июльские события во Франции. См. H. Heine. *Sämtliche Werke, Herausgegeben von Ernst Elster, Siebenter Band, S. 56—62.* У Гейне: «Pan ist tot» (S. 59).

Nein! Es sind keine leere Träume!— Строка из стихотворения Гёте «Надежда» («Hoffnung»), цитированная не совсем точно. У Гёте: «Nein es sind nicht leere Träume».

Дворянство ему давало бал...— 21 октября 1831 г. (см. «Прибавление» к № 85 «Московских ведомостей» от 24 октября 1831 г.).

...Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»...— «Записки» Д. В. Давыдова, из которых Герцен приводит выдержки, опубликованы за границей спустя два года после выхода первого отдельного издания «Былого и дум» (см. «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою непропущенные», Londres—Bruxelles, 1863, изданные князем П. Долгоруковым). Цитаты из «Записок» у Герцена обнаруживают большое сходство с текстом «Записок», изданных П. Долгоруковым. Можно предполагать, что Герцен пользовался тем же рукописным источником, что и П. Долгоруков.

Стр. 134—135. *«Государь сказал однажды А. П. Ермолову: «Во время польской войны ∞ выпущенными из госпиталя солдатами».*— См. указанное издание «Записок», стр. 106. Разночтения незначительны.

Стр. 135. *«Вы знаете ∞ душа была в пятках».*— Цитата у Герцена точно совпадает с соответствующим местом «Записок» в указанном издании П. Долгорукова (стр. 59).

«Во время бунта на Сенной ∞ результаты».— См. соответствующее место в «Записках», изданных П. Долгоруковым, стр. 59. В целях сокращения цитаты Герцен в некоторых случаях пересказывает содержание своими словами, опуская целые куски текста.

В 1832 году пропал поляк...— Как указал далее Герцен, этот студент «пропал» за несколько месяцев до ареста лиц, привлеченных по так называемому делу Сунгурова (началось в мае 1831 г.), следовательно, указанный поляк был арестован не в 1832, а в 1831 г. Материалы архива Московского университета позволяют сделать предположение, что пропавший поляк — Гаспар Стефанович Шанявский (р. ок. 1808), — по окончании Минской губернской гимназии в 1827 г. был принят казеннокоштным студентом на медицинское отделение Московского университета. В июне 1831 г., перед окончанием университета, Шанявский был арестован, а затем сослан в Сибирь. Герцен мог узнать об

исчезновении Шанивского до окончания учебного года, а об аресте других студентов через несколько месяцев, т. е. после приезда из села Васильевского, где он провел лето (Архив МГУ, Правление, 1827, 3-й стол, д. № 277, Дела Медицинского факультета, 1828, д. № 19, л. 11, 1831, д. № 7, л. 3, д. № 43, лл. 12, 18, 49, 54).

Стр. 136. *А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили?* — О судьбе членов кружка братьев Критских см.: Мих. Лемке. Тайное общество братьев Критских. «Былое», 1906, № 6, стр. 41—57, а также Л. И. Насонкина. К вопросу о революционном движении студенчества Московского университета. «Вестник Московского университета», 1954, № 4, стр. 153—164.

...схвачено ночью несколько человек студентств, — называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других... — Герцен называет фамилии студентов, арестованных в числе других лиц по делу кружка Н. П. Сунгурова. Ю. П. Кольрейф и П. А. Антонович были арестованы 20 июня 1831 г. Я. И. Костенецкий, находившийся в отъезде (в подмосковном имении помещика Рахманова, близ г. Дмитрова), был арестован несколько позже.

Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет... — Упомянутые Герценом студенты были сосланы рядовыми в военные части.

Нас было пятеро сначала... — А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, А. Н. Савич.

Вадим, по наследству, ненавидел ∞ самовластье... — Отец Вадима Пассека, Василий Васильевич Пассек, был человеком передовых для своего времени убеждений. При аресте в 1794 г. у него были обнаружены рукописные списки «Путешествия из Петербурга в Москву», а также ряд его собственных вольнолюбивых, антимонархических стихотворений, написанных под влиянием А. Н. Радищева.

Стр. 138. *...другие руки и задержали его в Сибири.* — Имеется в виду опекун Вас. В. Пассека, П. Б. Пассек, присвоивший его наследство.

Стр. 139. *В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию.* — Вас. В. Пассек получил разрешение на возвращение из Сибири в конце 1824 г. Семья Пассек прибыла в центральную Россию в 1825 г.

В это время Николай праздновал свою коронацию... — Коронование Николая I в Москве состоялось 22 августа 1826 г.

Две старших сестры... — О. В. и З. В. Пассек.

Стр. 140. *...трое ∞ окончили курс в университете...* — Д. В. Пассек, В. В. Пассек, П. В. Пассек.

Старшие... — Е. В. и Л. В. Пассек.

...один во флоте, другой в инженерах... — Во флоте Л. В. Пассек, Д. В. Пассек служил в это время инженером путей сообщения.

...помню я старушку-мать... — Е. И. Пассек.

Один... — Д. В. Пассек.

Стр. 141. *Вадим умер в феврале 1843 г. ...* — Вадим Пассек умер в октябре 1842 г. См. об этом запись А. И. Герцена в дневнике от 26 октября 1842 г., т. II наст. изд., стр. 235.

Товарищ попечителя... — А. Н. Панин.

Стр. 142. *...это эпюлеты Полежаева...* — Полежаев был произведен в офицеры лишь перед самой смертью.

...это прощание Кольрейфа... — Кольрейфа возвратили из ссылки незадолго до его смерти.

Стр. 143. *Женищина эта была ∞ Е. Черткова.* — В последние два года жизни Вадима Пассека Е. Г. Черткова находилась в дружеских отношениях с семьей Пассек. См.: Т. Пассек. Из дальних лет, т. II, СПб., 1879, стр. 346.

...уважал его за его исторические изыскания о Москве.— Имеются в виду: «Описание царства Московского» (Прибавление к «Московским губернским ведомостям», 1841, № 7—15), «О состоянии Москвы и Московской губернии в царствование Петра Великого» (там же, 1841, № 28) и др.

Стр. 144. *«Как знал он жизнь, как мало жил!»*— Надпись на надгробном памятнике Д. В. Веневитинова является заключительной строкой из его элегии «Поэт и друг».

Старший брат Вадима...— Е. В. Пассек.

Стр. 145. *Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции.*— Огарев и Сатин с лета 1833 г. находились под секретным полицейским надзором за связь с сунгуровцами. В декабре 1833 г. полицейские заметили Огарева с Соколовским, певших «Марсельезу» у подъезда Малого театра. Оболенский состоял под надзором полиции еще с 1832 г.

Стр. 146. *...вероятно, моего имени в письме не было.*— Лесовский вызывал к себе А. Топорнина, И. Оболенского, Н. Огарева, И. Кольрейфа, Н. Станкевича, Я. Неверова, Н. Сатина, Н. Кетчера и Я. Почеку за переписку с Костенецким. Имя Герцена в письме не упоминалось (МОИГА, ф. 16, оп. 31, св. 16, д. 49, 1833 г.).

Стр. 147. *...Бестужеву дал крест за смерть.*— Известие о награждении георгиевским крестом за храбрость, проявленную в боях на Кавказе, не застало А. А. Бестужева-Марлинского в живых.

Глава VII

Впервые опубликована в ПЗ, 1856 г., кн. II, стр. 152—166. Перепечатана в БИД I, стр. 194—214, с изменениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 149. *Я писал астрономическую диссертацию...*— «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника». См. т. I наст. изд., стр. 36—51.

...птицы, состоящей при Минерве.— Минерва изображалась обычно с совой (символ мудрости) на плече или же у ног.

Стр. 150.— *Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы кандидат.*— Выпускные экзамены происходили 22 июня 1833 г. Для получения степени кандидата необходимо было набрать по восьми дисциплинам минимум 28 баллов (при высшей оценке — «4» и низшей — «0»). Герцен набрал 29 баллов: по ботанике, чистой математике, сельскому хозяйству и минералогии, зоологии, химии — «4», по физике, прикладной математике, астрономии — «3».

«Экзамен кончился ∞ попытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера».— Герцен цитирует с незначительными изменениями выдержки из своего письма к Н. А. Захарьиной от 26 июня 1833 г.

«Сегодня акт ∞ не хотел быть вторым при получении медали».— Нескольким измененный Герценом текст приписки к его письму Н. А. Захарьиной от 5 или 6 июля 1833 г.

Стр. 153. *Он ∞ продал, помнится, рукопись «Хевери» ∞ решился дать праздник...*— В. Соколовский издавал тогда не драматическую поэму «Хеверь», а роман «Одна и две, или Любовь поэта». В цензурный комитет отдельные части этого романа относили Огарев, Сатин и Соколов (с 10 октября по 18 декабря 1833 г.). После этого в Москву приехал Соколовский и жил у Сатина до 22 января 1834 г. Таким образом, «праздник», о котором рассказывает далее Герцен, состоялся не в середине года (Л XXII, стр. 196), а в конце декабря 1833 г. или в январе (до 22) 1834 г.

Стр. 156. ...*Николай Михайловичу Кузьме*...— Слуге Н. М. Сатина.
Стр. 159—160. «*Ты пишешь ∞ сильно чувствовать. ∞ 1833*».— В приведенном отрывке Герцен в значительной степени смягчил юношески-восторженный, романтически приподнятый стиль оригинала.

Стр. 159. ...*Да ты поэт, поэт истинный!*— Цитата из письма Герцена к Огареву от 7 или 8 августа 1833 г.

Стр. 160. «*Я не могу еще взять ∞ философия откровения*».— Из письма Н. П. Огарева от 7 июня 1833 г. Расхождений с оригиналом незначительны. См. ЛН, т. 61, стр. 713.

Стр. 161. ...*беранжеровскую застольную революцию*...— В песнях Беранже 20-х годов в замаскированной шутивно-иронической форме в виде тостов за дружеским столом высказывались республиканские симпатии, сочетавшиеся с своеобразной реабилитацией плоти и утверждением жизненных наслаждений. Отсюда, очевидно, и происходит выражение Герцена.

... *несторовской летописи*...— Культ летописца Нестора был распространен среди славянофилов.

... *судить по кодексу Наполеона*...— Сен-симонистов судили в 1832 г. по статье 291 Уголовного кодекса (введен в действие в 1811 г.), обвиняя в оскорблении общественной морали и нравов. Герцен имеет в виду филистерский, лицемерный характер буржуазного Уголовного кодекса, а также «Гражданского кодекса», изданного в 1804 г. и переименованного в 1807 г. в «Кодекс Наполеона».

...*по орлеанской религии*...— Ирония Герцена. Период Июльской (орлеанской) монархии отличался крайней распущенностью нравов правящей финансовой аристократии. Вместе с тем июльские власти обвиняли сен-симонистов, пропагандировавших «новую религию» и равенство полов, в безнравственности и проповеди «общности жен».

Стр. 162. ...*завешенную икону после революции 1830 года*...— В период Июльской монархии из зала суда удалялись распятия Христа, а иконы завешивались зеленым покрывалом.

Стр. 164. ...*принялся за «Парашу Сибирячку»*...— Герцен говорит о переходе Н. А. Полевого в лагерь реакции после закрытия в 1834 г. «Московского телеграфа». «Параша Сибирячка» — одна из пьес, написанных Полевым в этот период.

П Р И Б А В Л Е Н И Е

А. Полежаев

Впервые опубликовано в составе приложения «А. Полежаев.— Сунгуровское дело» в *Тис*, 1854, стр. 187—192. Перепечатано в *Бид* I, стр. 215—219, с изменениями и сокращениями (см. «Варианты»).

Стр. 165. *Осенью 1826 года Николай ∞ праздновал в Москве свою коронацию*...— См. примечание к стр. 139.

... «*разить врагов отечества*», как Робеспьер после своего *Fête-Dieu*.— Во время якобинской диктатуры был введен 18 флореаля (7 мая) 1794 г. так называемый культ Верховного существа. Этот культ был объявлен новой «гражданской религией». В честь Верховного существа устраивалось празднество 20 прериаля (8 июня) 1794 г., о котором и говорит Герцен. Установление культа Верховного существа сопровождалось усилением террора против внутренних врагов.

... *ректор*...— А. А. Прокопович-Антонский.

Князь Ливен...— Пост министра народного просвещения в то время занимал не К. А. Ливен, а А. С. Шишков.

Стр. 167. *Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.*— 28 июля 1826 г. Полежаев был направлен унтер-офицером в Бутырский полк.

Прошли года три ∞ он бежал...— Побег из Бутырского полка Полежаев совершил в июне 1827 г.

Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй...— За побег из Бутырского полка Полежаев был разжалован в рядовые «с лишением личного дворянства и без выслуги». Осенью 1837 г. за самовольную отлучку из полка Полежаев был зверски наказан розгами.

Без утешений...— Неточная цитата из стихотворения Полежаева «Провидение».

Стр. 168. *Полежаева отправили на Кавказ...*— Полежаев был отправлен на Кавказ в 1829 г. рядовым Московского пехотного полка.

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве.— В 1833 г. Московский полк, в котором служил Полежаев, был возвращен с Кавказа и расположился в г. Коврове, Владимирской губ.

...издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели.— Герцен имеет в виду издание: «Арфа. Стихотворения Александра Полежаева», М., в типографии В. Кирилова, 1838.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вторая часть «Былого и дум», как и первая, написана в 1853 г. (эта дата указана Герценом в предисловии к третьей части), но напечатана двумя годами раньше первой — отдельной книгой, озаглавленной «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера» и изданной в Лондоне в 1854 г. (2-е изд.— 1858 г.). К основному тексту здесь дано приложение: «А. Полежаев.— Сунгуровское дело». Во втором издании *TuS* добавлено второе приложение: «Цеханович». При подготовке второй части для отдельного издания «Былого и дум» 1861 г. Герцен внес в нее изменения и дополнения: рассказ о Цехановиче он включил в гл. XIII, а всю вторую часть дополнил главой XVIII («Начало владимирской жизни»), перенеся в нее, в сокращенном виде, текст из гл. IV («Владимир») третьей части в журнальной публикации.

В начале 1855 г. появился немецкий перевод «Тюрьмы и ссылки»: «Aus den Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängniß und in Sibirien». Hamburg. 1855.

В октябре 1855 г. вышло в свет двухтомное английское издание, охватывающее вторую и четвертую части «Былого и дум»: «My Exile. By Alexander Herzen. In two volumes». London. 1855.

17 октября 1855 г. Герцен писал к М. К. Рейхель: «Богатое издание моих „Записок“ вышло на английск(ом) (их продают по фунту!)<...> Ошибки есть и, главное, в заглавии: Гофман и Кампе и здешний для заманки поставили „My Exile in Siberia“. Я протестовал, но что же это будет знать». О полемике, разгоревшейся вокруг этого заглавия, см. подробнее в комментарии к «Mr Alexander Herzen — to the editor of „The Globe“ и „My Exile in Siberia“» (т. XII наст. изд.).

Здесь отметим только, что в ноябре 1855 г. Герцен писал издателю «The Morning Advertiser»: «...Немедленно после появления английского издания я протестовал против добавления к заглавию слов „в Сибири“. Вследствие моего протеста гг. Херст и Блекет изменили заглавие книги, заявив об этом на столбцах вашей газеты». В том экземпляре английского издания, которым мы располагаем, слова «in Siberia» отсутствуют; очевидно, этот экземпляр относится к части тиража, в которой издатели заменили титульный лист.

В предисловии к английскому изданию Герцен отмечает, что успех «Тюрьмы и ссылки» дал ему «решимость напечатать еще один том». В этот второй том английского издания вошла публикация отрывков из

«Былого и дум» в первой книжке «Полярной звезды»¹. Вскоре эта часть появилась в немецком переводе («Aus den Memoiren eines Russen. Neue Folge. Petersburg und Nowgorod». Hamburg. 1855).

Немецкое издание по своему составу точно воспроизводит «Тюрьму и ссылку» и публикацию первой книжки «Полярной звезды»; в английском издании распределение материала по томам несколько иное. Первый том кончается главой «Alexander Witberg»; следующие главы «Тюрьмы и ссылки» перенесены в начало второго тома английского издания, причем последние из этих глав — «Начало владимирской жизни» («The First month of my sojourn at Wladimir») — соединена с первым разделом публикации первой книжки «Полярной звезды», озаглавленным «Конец VII главы (1839 г.)». Первая фраза этого фрагмента (без многоточия, имеющегося в тексте «Полярной звезды») непосредственно примыкает к фразе, завершавшей последнюю главу «Тюрьмы и ссылки». Приложение к «Тюрьме и ссылке» («А. Полежаев. — Сунгуровское дело») дано (без заглавия) в конце второго тома.

Английское издание открывается двумя предисловиями — авторским и издательским. Некоторые сведения, сообщаемые в последнем, в частности, сведения о произведениях Герцена, написанных в России, позволяют предположить, что издатели были информированы осведомленным лицом, быть может, и самим Герценом.

Приводим перевод предисловия издателей, до сих пор неучтенного в нашей литературе о Герцене.

Вступление

Автор нижеследующих воспоминаний с 1839 г. занял одно из самых видных мест в литературе своей страны. С 1848 г. имя его приобрело также известность во французской и немецкой литературах. Г-жа Пульская в предисловии к русской повести, озаглавленной «Герой нашего времени», которую она перевела на английский язык, говорит о г-не Герцене как «о выдающемся русском эмигранте, стремящемся сочетать немецкую философию, французскую политическую теорию и английский практический здравый смысл со своеобразием своей русской натуры».

Когда г-н Герцен писал в России, под надзором царя, он печатал свои произведения под псевдонимом «Искандер» (турецкая форма его имени — Александр), так как царь не разрешает политическим осужденным (к их числу г-н Герцен, как вы увидите из настоящей книги, принадлежал уже на 21 году жизни) выступать на литературном поприще ни под их настоящим именем, ни в их настоящем звании².

Во всех своих произведениях, напечатанных в России, г-н Герцен стремился пробудить русских людей от апатического отношения к их общественным интересам. Эта апатия — основная причина того, что они терпели деспотическое правление и что у них до сих пор сохранилось крепостное право. Не решаясь открыто касаться политических тем, г-н Герцен выражал свои взгляды в замаскированной форме: иногда в философских трактатах, как «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «Об историческом развитии чести» и т. д., иногда в виде рассказов и повестей, как «Кто виноват?», «Записки врача», «Сорока-

¹ Опубликованное в той же книжке «Полярной звезды» «Между третьей и четвертой частью» в английском, как и в немецкое, издание не вошло.

² Так, Бестужев, знаменитый заговорщик 1825, вынужден был печатать свои повести под псевдонимом «Марлинский». Одно из изданий его произведений вышло с портретом автора в солдатском мундире, поскольку он был разжалован в солдаты; начальник тайной полиции был отставлен от своей должности за то, что допустил появление этого издания.

всеровка», «Записки одного молодого человека» и т. д. До г-на Герцена ни один из русских писателей не трактовал философские вопросы со столь живой непринужденностью, свидетельствующей о том, что автор в совершенстве владеет своим предметом.

«Все ясно понятое можно объяснить без труда; и слова для выражения приходят тогда легко». *Буало*.

Не следует, однако, думать, что философские или беллетристические произведения г-на Герцена явились для русского общества чтением в легком и занимательном роде. Напротив того, каждое его высказывание дает материал для размышлений; в каждой строчке читатель чувствует, что мысль автора выражена только наполовину, что другую половину ему предоставлено угадать. Талант г-на Герцена полностью соответствует серьезной и трудной задаче, которую он себе поставил, и успех, которым он пользовался у своих соотечественников, отнюдь не похож на обычную любовь к выдающемуся писателю; его писательская деятельность рассматривалась в России скорее как служение народу, нежели в качестве художественного творчества.

Царь не давал г-ну Герцену покоя и преследовал его почти непрерывно с 1834 по 1846 г.¹ В 1847 г. г-ну Герцену удалось, наконец, получить заграничный паспорт, и он стал свидетелем революционной драмы, разыгравшейся во Франции и в Италии в 1848 г. Впечатления от этого зрелища отразились в книге, озаглавленной «Письма из Франции и Италии». Раздумья, вызванные этой революцией, составляют содержание другого произведения, озаглавленного «С того берега», также напечатанного в Германии; оно взволновало там умы. Не из желания завоевать себе имя в литературе Западной Европы стал г-н Герцен писать по-немецки и по-французски, но потому, что с февраля 1848 г. царь запретил печатать в России все, что когда-либо выйдет из-под его пера. Немецкая печать подвергалась все большим ограничениям, и г-н Герцен напечатал по-французски два произведения: «О развитии революционных идей в России» и «Русский народ и социализм»².

Но едва первое из этих замечательных произведений начало распространяться в Париже, как продажа произведений г-на Герцена была запрещена в этой столице, как прежде в Петербурге; лишь после того как завязалась нынешняя война, упомянутые книги появились снова в окне книгопродавца г-на Франка.

В России, в Германии, во Франции — всюду кляп во рту; упорствуя в своем желании разоблачить низость царя и вырвать русский народ из

¹ Например, мать г-на Герцена владела значительным денежным вкладом в Московском банке. После отъезда г-на Герцена Николай запретил правлению банка выплачивать ей эти деньги. Только после длительной переписки, путем угроз, банкирскому дому Ротшильда удалось их вернуть. В отместку правительство Николая захватило десять тысяч франков, высланные из России г-ну Герцену его братом. Все это делалось, чтобы побудить г-на Герцена вернуться в Россию после 1848 г.

² Об этом произведении с величайшей похвалой отзывался знаменитый французский историк Мишле в своих «Демократических легендах Севера». Он говорит там о г-не Герцене: «Автор пишет на нашем языке с героической мощью, раскрывающей его псевдоним, обнаруживающей великого патриота. Я с изумлением читал и десять раз перечитывал эту книгу. Мне чудились в ней древние герои Севера, начертавшие беспощадным мечом приговор нашему жалкому миру... Увы! Не только Россия осуждена, осуждены Франция и Европа. „Мы бежим из России, — говорит он, — но все — Россия, Европа — это тюрьма“. Но пока в Европе есть такие люди, ничто еще не потеряно». «Демократические легенды Севера», стр. 125.

его оцененения, г-н Герцен обосновался в Англии и установил в Лондоне — 36 Реджентсквер — *первый русский вольный типографский станок*. Не прошло и двух лет со времени основания этой книгопечатни, как тысячи экземпляров произведений г-на Герцена проникли в Россию путем контрабанды и благодаря великодушному содействию польских демократов. Кроме нескольких памфлетов, — самый замечательный из них «Призыв к русским солдатам в Польше», перепечатанный в «Daily News» от 21 апреля 1854 г., — и небольшой брошюры на тему о крепостном праве в России, озаглавленной «Крещеная собственность», г-н Герцен успел напечатать в Лондоне, на русском языке, три книги: «Прерванные рассказы» (отзыв о них появился в «Revue des deux Mondes» от 15 июля 1854), книгу, перевод которой мы здесь предлагаем (разбор ее также помещен в «Revue des deux Mondes» в номере от 15 сентября 1854) и русское издание упомянутых уже «Писем из Франции и Италии».

Мы сожалеем, что г-н Герцен не достиг ранее гостеприимной английской земли, поскольку здесь он получил возможность воздвигнуть свою батарею против возмутительного русского деспотизма и содействовать таким образом всеобщим интересам человечества.

Печатается по тексту *Бид* I со следующими исправлениями:

Стр. 224, строка 7: на самом строжне реки *вместо:* на самом стержне реки

Стр. 264, строка 2: по вотским деревням *вместо:* по вятским деревням.

Рассказ об аресте и следствии, о том, как началось «практическое соприкосновение с жизнью», о «длинной ночи ссылки и тюрьмы» — определяет основное содержание этой части.

Герцен рисует жестокость и продажность бюрократического аппарата, произвол полиции, «разврат» суда и их жертвы, эксплуатацию государственных крестьян, «варварское и безжалостное» устройство военной службы, ужас телесных наказаний, пыток, роль духовенства («духовных квартальных») как слуги самодержавия и крепостничества. Создавая обобщенные сатирические характеристики, Герцен вместе с тем изображает живых, конкретных представителей чиновничьего мира (вятского губернатора Тюфяева и других), сосущих народную кровь «тысячами ртов, жадных и нечистых». Эти наблюдения даются Герценом под углом зрения тех политических задач, которые перед ним встали в середине 50-х годов. Так, в требовании гласности, «совершенно другой организации всей машины», введения «народных начал третейского суда» и др. (глава XV) содержатся элементы будущей политической программы «Колокола».

Рассказ об аресте Огарева дает Герцену повод коснуться отношения различных представителей московского общества к революционным стремлениям юного поколения и направленным против последнего репрессиям царизма. Характеризуя М. Ф. Орлова, Герцен использует и свой политический опыт 40-х годов, сопоставляя московского «льва в клетке» с Ледрю-Ролленом и другими представителями французской демократической эмиграции. Портрет московского либерала В. (В. П. Зубкова) перерастает в политический памфлет на либералов 30-х годов, надких на «смелые мнения и резкие суждения», но трусливых на деле.

Большое внимание уделено характерам, порожденным «удушливой пустотой и немотой русской жизни» того времени, такому, например, «произведению русского надлома», как пермский врач Чеботарев, а в особенности людям, сумевшим так или иначе противостоять господствовавшему гнету (А. Л. Витберг, «мученик польского дела» Цеханович).

Пребывание Герцена в Крутицких казармах нашло также отражение в начале повести «Легенда» (т. I наст. изд., стр. 81—106); тот же период затронут в автобиографическом наброске «Часов в восемь навещал меня...» (т. I наст. изд., стр. 251—256). О М. Ф. Орлове см. дневниковую запись от 26 марта 1842 г. (т. II наст. изд., стр. 201—203).

Некоторые места из главы XV «Былого и дум» перекликаются с заметками Герцена «Вотяки и черемисы» и «Русские крестьяне Вятской губернии». О Цехановиче см. также «Вторую встречу» (т. I наст. изд., стр. 123—130). О жизни Герцена в Перми и Вятке см. также в третьей и четвертой частях «Былого и дум» и в его письмах из ссылки к Н. А. Захарьиной.

Глава VIII

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 1—14, как гл. I. Перепечатана в *Бид* I, стр. 223—234, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 171. *...слушая наши смелые рассказы...*— На следствии 1834 г. Герцен рассказывал следующее: «С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов со стороны господ (...) и находя, что сие состояние вредит развитию промышленности» (д. № 142, л. 379).

Стр. 172. *Это стоит корнелевского «n'il mourût»*. Эти слова произносит Гораций-отец — персонаж трагедии Корнеля «Гораций» (акт III, сцена 6).

...забрал бумаги и увез Н. П.— Н. П. Огарев был арестован 9 июля 1834 г. 12 июля Огарев был освобожден на поруки отца, а 31 июля был арестован вторично.

...познакомились мы с В. ...— В. — В. П. Зубков. См. В. П. Козьмин. Московский либерал из «Былого и дум». «Известия Академии наук СССР, серия истории и философии», т. VII, № 1, М., 1950, стр. 85—87. Знакомство Герцена с В. П. Зубковым подтверждает находившийся в делах III отделения список лиц, которым Герцен летом 1834 г. намеревался подарить издаваемую им книгу «Состояние народного просвещения в некоторых странах Германии». (См. заметку «Утраченные произведения Герцена 1830-х годов» в т. I наст. изд., стр. 535). В этом списке (в нем 29 лиц) значится и Зубков (ЦГИАМ, ф. 109, оп. 214, д. № 84, л. 122).

Стр. 173. *...сильно занимался зоологией...*— В. П. Зубков с 1825 г. был членом Московского общества испытателей природы (в 1835—1838 гг. — первым секретарем общества), в журнале которого («Бюллетень Московского общества испытателей природы») поместил три заметки о новых видах жуков.

Стр. 175. *...его брата...*— Имеется в виду А. Ф. Орлов.

Стр. 177. *...усиливавшегося сделатья ученым, теоретиком.*— 2 сентября 1832 г. М. Ф. Орлов был избран почетным членом Московского общества испытателей природы. Став членом совета общества, он безуспешно добивался изменения устава общества в целях его демократизации, предлагал открыть в зале общества публичные чтения курсов естественных наук и пр. В ноябре 1836 г. на заседании общества Орлов сделал доклад «Некоторые философские мысли о природе».

...умер от ран на Кавказе.— В действительности Н. Н. Раевский-сын умер в 1843 г. в имении Красненское Воронежской губернии.

Стр. 178. *...пир 24 июня...*— См. начало XII главы и примечание к стр. 203.

...ровно через шесть лет.— Герцен был арестован в 1834 г., а М. Ф. Орлов умер в 1842 г.; описываемые события произошли, повидимому, не через 6, а через 8 лет.

...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале.— Монумент, воздвигнутый в 1821 г. по проекту Торвальдсена, посвящен памяти швейцарцев, павших во время защиты Тюильри (Париж) в 1792 г.

...овер-полицмейстер...— Л. М. Цынский.

Стр. 179. Это было девятнадцатого июля 1834.— Герцен описывает встречу с Н. А. Захарьиной, происшедшую 20 июля 1834 г.

Глава IX

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 15—23, как гл. II. Перепечатана в *Бид* I, стр. 235—242.

Стр. 180. ...вы поедете со мной.— Герцен был арестован ночью 21 июля 1834 г.

Стр. 182. Добросовестный...— Выборное лицо (род старшины), избравшееся для разбора споров. Здесь идет речь о роли понятого.

Глава X

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 24—38, как гл. III. Перепечатана в *Бид* I, стр. 243—255, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 188. Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад.— На основании списков чиновников Московской полиции и материалов архива Московского университета удалось установить, что этот неизвестный чиновник, указавший Герцену на «единственный путь спасения».— Студеникин Дмитрий Игнатьевич, учившийся в 1820—1823 гг. на нравственно-политическом факультете Московского университета. В 1834—1836 гг. он служил секретарем в Московской управе благочиния.

...старый священник...— Г. В. Соколов.

Стр. 189. Тем и кончился первый допрос.— Первый допрос Герцена состоялся 24 июля 1834 г. Ему было задано 15 вопросов, на которые он дал письменные ответы (см. д. № 142, лл. 210—214 и 367—382).

...сестра нового овер-полицмейстера.— М. Д. Ховрина, сестра И. Д. Лукина.

Стр. 191. Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкина что служба не остается без вознаграждения.— Герцен имеет в виду эпизод из «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (том I, глава X).

Следственная комиссия, составленная генерал-губернатором, не пошла к государю...— Эта следственная комиссия работала в период с 24 июля по 7 августа 1834 г. (МОГИА, ф. 16, оп. 31, св. 23, д. № 80 (1834 г.), лл. 26, 35—38 и ЦГИАМ, ф. 109, оп. 1, 1-я экспедиция, д. № 239, т. I, лл. 30—32).

...другой князь Голицын...— А. Ф. Голицын.

Стр. 192. Петр III уничтожил застенки и тайную канцелярию.— «Канцелярия тайных розыскных дел» была упразднена указом Петра III от 21 февраля 1762 г.

Екатерина II уничтожила пытку.— Указом Екатерины II от 10 февраля 1763 г. применение пыток ограничивалось. Секретным предписанием от 8 ноября 1774 г. пытка запрещалась.

Александр I еще раз ее уничтожил.— Указом от 27 сентября 1801 г.

Стр. 193. *...отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!*— Слова Селифана Герпен цитирует не совсем точно. См. «Мертвые души» Гоголя (том I, гл. III).

Стр. 194. *Перед 22 августа, днем коронации...*— См. примечание к стр. 139.

Глава XI

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 39—51, как гл. IV. Перепечатана в *Бид* I, стр. 256—267, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 195. *...Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы.*— Упразднение Крутицкого монастыря и передача его зданий под казармы относятся к концу XVIII века.

Стр. 198. *...знаменитой актрисы...*— Е. С. Семеновая.

...комендант...— К. Г. Стааль.

Стр. 201. *...эmissарями.*— Имеются в виду уполномоченные польского правительства, образованного во время восстания 1830—1831 гг.

Глава XII

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 52—70, как гл. V. Перепечатана в *Бид* I, стр. 268—288, с сокращениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 203. *Голицын sen.*— С. М. Голицын.

Голицын jun.— А. Ф. Голицын.

...давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года.— «Праздник» устраивал Е. П. Машковцев. «24 прошедшего месяца,— показал он на следствии 28 июля 1834 г.,— узнавши, что я удостоен степени действительного студента, я пригласил к себе некоторых из своих товарищей на завтрак. Они привезли еще некоторых знакомых мне, но коих я не приглашал... Из бывших у меня гостей кроме Уткина — Сорокин, Киндяков, Убини, Масленников, Аркадий Машковцев, Оболенский, Иванов, Скаретка, Перемышлевский и еще теперь не припомню, принимал ли кто участие — утвердительно писать не могу» (д. № 142, лл. 317—318). Это подтвердили И. Оболенский и Н. Убини (там же, лл. 301, 325).

Стр. 203—204. *Русский император...*— В несколько ином варианте песня приведена в статье М. К. Лемке. См. «Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей» (по неизданным источникам), «Мир божий», 1906, № 2, отд. первый, стр. 121—122. Из материалов следствия по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», видно, что Соколовский не был сочинителем этой песни, а узнал ее по выходе из кадетского корпуса, летом 1826 г. А. В. Уткин на следствии, сознавшись в сочинении пародии на гимн «Боже, царя храни», показал, что песню «Русский император» он узнал от А. И. Полежаева. Можно предположить, что Полежаев и был автором песни.

Стр. 204. *Вечером Скаряга в друг вспомнил...*— Спровоцированная Скареткой пирушка состоялась не в тот же вечер, а 8 июля 1834 г.

Через две недели арестовали нас...— Лица, упоминаемые Герценом, были арестованы в разные дни. О датах ареста Герцена и Огарева см. в примечаниях к стр. 172 и 180. Соколовский был арестован 19 или 20 июля в Петербурге. Рассказ Герцена об аресте Сатина см. на стр. 212—213.

Стр. 206. *«Все конституционные хартии ∼ чтоб не было рабов».*— Герцен цитирует по памяти, неточно, свое письмо к Н. П. Огареву от 31 августа 1833 г.

Стр. 207. *...многотомное издание записок герцога Сен-Симона.*— «Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon», tt. 1—21, P., 1829—1830.

Ведь это он писал о Петре I ∼ вы мне показывали?— Речь идет о статье А. И. Герцена «Двадцать осмое января». См. том I наст. изд., стр. 29—35.

...том истории французской революции Тьера...— Имеется в виду «Histoire de la Révolution française», par M. A. Thiers, 10 vls., P., 1823—1827.

...речь Кювье «Sur les révolutions du globe terrestre».— См. примечание к стр. 112.

Стр. 208. *...между нами четверьмя...*— Имеются в виду А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин, П. А. Оболенский.

Стр. 209. *Опять история слесарши Пошлепкиной и ее мужа в «Ревизоре».*— См. «Ревизор» П. В. Гоголя, действие IV, явление XI.

Стр. 210. *...собрали всех двадцатого марта ∼ для слушания приговора.*— Приговор был объявлен 31 марта 1835 г.

Стр. 213. *В начале зимы его перевезли в Лефортовский госпиталь...*— 16 декабря 1834 г. пристав Пресненской части рапортовал Цынскому, что Сатин отправлен в военный госпиталь 15 декабря.

Стр. 214. *Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком.*— Л. К. Ибаев получил образование в Морской первой артиллерийской бригаде, затем служил офицером в Белгородском уланском полку и, выйдя в отставку, приехал в Москву «для приискания должности и места». Вращаясь в кругу друзей Герцена, Огарева и Соколовского, Ибаев также решил попробовать свои силы на литературно-научном поприще и написал статью «по части хозяйственной о лесоводстве». При аресте в 1834 г. статья попала в руки следователей, и ныне ее местонахождение неизвестно. Вместе с Соколовским и Уткиным Ибаев был в 1835 г. заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда в 1838 г. был отправлен на службу в Пермь. В 1841 г. в Перми он выпустил небольшую книгу «Анатомический нож, или Взгляд на внутреннего человека», на которую в «Отечественных записках» (1842 г., т. XX, отд. VI, стр. 70—71) был дан резко отрицательный отзыв за ее мистический характер. Именно в то время Герцен сотрудничал в «Отечественных записках» и не мог не знать об этой рецензии. Это, повидимому, и дало основание Герцену назвать Ибаева мистиком.

Стр. 218. *...увиделись ∼ 9 апреля 1835 г. ...*— О свидании 9 апреля Герцен неоднократно пишет в письмах к Н. А. Захарьиной: от 10 апреля 1835 г., 21 мая 1836 г., 1 ноября 1836 г. Это событие Герцен описал во «Второй встрече» (см. т. I наст. изд., стр. 123).

...Зачем же воспоминание об этом дне! ∼ Все прошло!— Герцен вспоминает похороны Н. А. Герцен в 1852 г.

Глава XIII

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 71—85, как гл. VI, за исключением отрывка: «...На другой день ∼ призреть?» (стр. 231, строка 32—стр. 233, строка 34), который был впервые опубликован в «Колоколе»,

л. 85 от 15 ноября 1860 г. с заголовком в оглавлении «Отрывок из „Былого и дум“». В тексте этот отрывок помещен без заголовка, непосредственно после корреспонденции «Положение евреев в России» со следующими вступительными словами: «Поместив эту чрезвычайно дельную статью, я прошу позволение в дополнение к ней присовокупить небольшой отрывок из прибавленной главы к „Тюрьме и ссылке“». Здесь же Герцен в примечании указывает: «Г. г. Трюбнер и К^о намерены скоро издать первые томы (1812—1846) „Былого и думы“, с дополнениями».

Перепечатана в *Бид* I, стр. 289—310, с сокращениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 219. *Per me si va nella citta dolente*...— Из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь III).

...предложил жандарму...— Имеется в виду Е. Васильев.

Стр. 220. ...городничий...— Л. Т. Измайлов.

...жду товарища министра...— А. Г. Строганова.

Стр. 222—223. «Девять исправников переменялись ∞ куда потом везде хороши».— В «Записках актера Щепкина» имеется отрывок, по содержанию очень близкий рассказу Щепкина в «Былом и думах», но отличающийся от него некоторыми деталями (см.: М. С. Щепкин. Записки. Письма. М., «Искусство», 1952, стр. 124). Устный рассказ Щепкина Герцен в свое время записал в дневнике (19 марта 1844 г., см. т. II наст. изд., стр. 343). Глава VIII «Записок» Щепкина, содержащая этот рассказ, писалась во второй половине 50-х годов и впервые была опубликована в 1864 г.,

Стр. 224. *Мой камердинер*...— Петр Федорович.

...«*Quid timeas? Caesarem vehis!*» — Согласно преданию, эти слова произнес Цезарь, желая подбодрить кормчего, испугавшегося бури и пытавшегося свернуть судно с ранее намеченного курса.

Стр. 225. ...к губернатору.— К Г. К. Селастеннику.

Стр. 227. ...другой сосланный, назначенный в Вятку...— И. А. Оболенский.

...явился полицейстер...— Ф. И. Вайгель.

Стр. 228. *Янтарь в устах его дымился*.— Из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Стр. 230. ...*en pendant* галереи полководцев 1812 года.— Речь идет о построенной в 1826 г. в Зимнем дворце (С.-Петербург) галерее портретов полководцев — участников Отечественной войны 1812 г.

Стр. 231. *Пермский жандарм*...— Ф. Бурдин.

Глава XIV

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 86—111, как гл. VII. Перепечатана в *Бид* I, стр. 311—335, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 234. ...исправника...— С. В. Орлова.

...полицмейстера...— М. И. Катани.

Стр. 236. ...секретарем Канкрин...— К. Я. Тюфяев секретарем Канкрин не служил.

Стр. 239. ...Энкеева комета...— Комета, открытая Понсом и названная именем немецкого астронома Энке, определившего ее орбиту.

Стр. 241. «*La regina en aveva molto!*» — У Пушкина «*perché la grande regina aveva molto...*» («потому что великая царица имела много...» — *итал.*).

...князь Е. Грузинский без притона беглых в Лыскове...— Помещик-деспот Е. В. Грузинский укрывал в своем нижегородском имении беглых крепостных, выдавая их за собственных.

Стр. 243. ...*вернулся алеутом*, как говорит Грибоедов...— Выражение из монолога Репетилова. См. «Горе от ума» (действие IV, явление 4).

Стр. 245. ...*оно велело везде завести комитеты*...— На основании указа Правительствующего Сената и распоряжения министра внутренних дел от 25 января 1835 г. в губерниях образовывались статистические комитеты, на которые был возложен учет государственных имуществ. В Вятке статистический комитет начал работу в мае 1835 г.

Стр. 247—248. ...*capacités, которые хотели вести при Людовике-Филиппе в выборы*.— Герцен имеет в виду проекты избирательной реформы, которые выдвигались во Франции в период 1840—1848 гг. В этих проектах, в частности, содержалось требование о предоставлении избирательного права лицам, имеющим ученую степень.

Стр. 249. *С Конарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских*.— Польский революционер Шимон Конарский стремился к сотрудничеству поляков с русскими в общей борьбе против царизма. Во время заключения Конарского в Виленской тюрьме (1838 г.) имела место попытка его освобождения, предпринятая тайной организацией русских офицеров во главе с Кузьминым-Караваевым. См.: Witold Łukaszewicz. Szymon Konarski, Książka, Warszawa, 1948, str. 5, 6, 202—207, 215.

Стр. 250. ...*его «усердие» точно так же превозмогло бы все*...— Герцен имеет в виду надпись на графском гербе, пожалованном Николаем I П. А. Клейнмихелю: «Усердие все превозмогает».

Глава XV

Впервые опубликована в *Тис*, 1854, стр. 112—142, как гл. VIII. Перепечатана в *Бид* I, стр. 336—370, с изменениями и дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 255. ...*пользуясь отсутствием Александра, бывшего в Вероне или Аахене*...— В 1818 г. в немецком городе Аахене и в 1822 г. в Вероне (Италия) происходили конгрессы реакционного «Священного союза».

Стр. 256. *Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего*.— Имеется в виду статья «Крещеная собственность» (1853).

Стр. 265. *В 1835 году святейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие*.— Описываемые Герценом события произошли в 1829—1830 годах. Непосредственным поводом для них послужило совершение обряда идолопоклоннического жертвоприношения (в Сернурской волости 3 декабря 1828 г.), на котором присутствовало до трех тысяч крещеных и некрещеных черемис (прежнее название народности мари). См. «Столетие Вятской губернии». Сборник материалов, т. II, Вятка, 1881, стр. 535—557.

Его звали Курбановским.— Филарет откомандировал миссионером в Вятскую губернию священника Александра Покровского. Герцен смешивает его с протоиереем Николаем Курбановским, который в числе других представителей местного духовенства, посланных по уездам, был миссионером в Яранском уезде. См. «Столетие Вятской губернии», т. II, стр. 544—553.

Стр. 266. *Апостолу-татарину правительство прислало владимирский крест*...— Девлет Кильдеев был награжден бриллиантовым перстнем. См. «Столетие Вятской губернии», т. II, стр. 548—549.

Стр. 267. ...департамент государственных имуществ воровал ∞ назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям.— В мае 1836 г. по распоряжению Николая I были отправлены чиновники в Московскую, Курскую, Псковскую и Тамбовскую губернии для обревизования государственных имуществ. В Вятской губернии были проведены в 1837 г. две ревизии: одна (начата в конце мая) — коллежским советником Холодовским, другая — генерал-губернатором А. А. Корпиловым по его прибытии в Вятку в августе. См. «Столетие Вятской губернии», т. II, стр. 438—447.

С этого началось введение нового управления государственными крестьянами.— В январе 1837 г. государственные имущества были переданы в ведение временного управления департаментом государственных имуществ во главе с П. Д. Киселевым. В декабре 1837 г. департамент государственных имуществ был упразднен и учреждено министерство государственных имуществ. Министр государственных имуществ П. Д. Киселев провел реформы, в результате которых перестраивалось управление государственными крестьянами (в том числе и местное). Реформы имели целью укрепление феодальных отношений в государственной деревне, повышение налоговой платежеспособности, дальнейшее «обуздание» государственных крестьян в связи со все усиливавшимися среди них стихийными восстаниями.

Стр. 270. ...о знаменитой истории картофельного бунта...— В Вятской губернии картофельные бунты происходили в 1834 и 1842 гг. Судя по рассказу Герцена (упоминание о распространении бунта не только в Вятской, но и в Казанской губернии, о «пушечной картечи и ружейных выстрелах», о поездке графа П. Д. Киселева), в «Былом и думах» речь идет о бунте 1842 г., который по своему размаху был более значительным. См. «Столетие Вятской губернии», т. II, стр. 517—532.

...по флигельману...— Согласно уставу, учрежденному Павлом I, флигельман — унтер-офицер, стоявший перед фронтом подразделения, определял ружейные приемы, которые солдаты обязаны были в точности повторять.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии...— Бунт охватил Казанскую, Пермскую и Вятскую губернии. В Вятской губернии крестьянские волнения были в нескольких волостях Нолинского, Слободского, Вятского и Глазовского уездов. См. «Столетие Вятской губернии», т. II, стр. 523.

Стр. 271. ...Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда.— Министр государственных имуществ П. Д. Киселев в 1842 г. совершал поездку по северо-восточным губерниям.

...Павел Дмитриевич...— П. Д. Киселев.

Стр. 272. ...библейские рассказы о избиениях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся...— См. Библию (первая книга царств, главы 5, 15, вторая книга царств, глава 24, третья книга царств, главы 11, 14, 16, а также другие главы).

...колчevesкий полицмейстер...— Т. е. хромым (от колчить — хромать). Вятский полицмейстер был хром (см. настоящий том, стр. 257).

Стр. 273. ...старостою моего отца.— Г. С. Найденовым.

Глава XVI

Впервые опубликована в *ТиС*, 1854, стр. 143—161, как гл. IX. Перепечатана в *Бид* I, стр. 371—390, с сокращениями и дополнениями (см. «Варианты»). Пять последних абзацев главы в *ТиС* выделены в гл. X (ошибочно обозначено: XII) с заголовком «Переписка» (стр. 162—163).

Стр. 278. ...*Александр издал манифест ~ храм во имя Спасителя.*— Имеется в виду манифест от 25 декабря 1812 г. «О построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя в ознаменовании благодарности к промыслу Божию за спасение России от врагов».

Стр. 283. ...*московский генерал-губернатор...*— Д. В. Голицын.

...*падение мистического министерства...*— См. примечание к стр. 58.

...*насиловственно отнятого у монастырей Екатериной...*— Согласно манифесту Екатерины II, изданному в феврале 1764 г., церковные имения передавались государству. В конце царствования Екаторина II раздавала секуляризованные церковные земли своим фаворитам.

Стр. 284. ...*Лазин сослан в Вологду.*— Лазин был сослан в 1822 г. в г. Сент-Илий, Симбирской губ. В 1823 г. ему было разрешено поселиться в г. Симбирске.

Стр. 288. ...*религиозная экзальтация писем...*— От Н. А. Захарьиной.

...*чувство раскаяния...*— Намек на роман с П. П. Медведовой (см. часть третья, глава XXI).

«*В идее потерянного рая ~ история человечества!*» — Неточная цитата из письма Н. П. Огарева от 7 июня 1833 г. См. ЛН, т. 61, стр. 714.

...*написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы.*— Герцен говорит о драматических опытах «Из римских сцен» и «Вильям Пен», созданных в 1838—1839 гг. (См. т. I наст. изд., стр. 183—250).

...*всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погдин писал им.*— Нерифмованным пятистопным ямбом написана трагедия М. Погодина «Марфа, посадница новгородская».

Стр. 289. «*Вели, пожалуйста, переписать ~ теперь мне все мешает мысль, что это стихи.*»— Эта записка В. Г. Белинского не сохранилась.

Стр. 289. В 1841 Белинский поместил в «*Отечественных записках*» длинный разговор о литературе.— Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Русская литература в 1841 году», напечатанная в «Отечественных записках» за 1842 г., № 1.

...*юноша...*— А. Е. Скворцов.

Глава XVII

Впервые опубликована в *ТиС*, 1854, стр. 164—178, как гл. XI (ошибочно обозначено: XIII). Перепечатана в *Бид* I, стр. 391—404, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 291. ...*городничему...*— П. Д. Давыдову.

Стр. 293. ...*пример Петровского ему понравился...*— См. главу XIV (часть вторая), стр. 240.

...*наследник пришел.*— Наследник Александр Николаевич прибыл в Вятку утром 18 мая 1837 г.

Стр. 294. ...*Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать...*— О своем разговоре с Жуковским Герцен пишет Н. А. Захарьиной в письмах от 18 мая 1837 г. и 15 января 1838 г.

Стр. 296. ...*новый губернатор.*— А. А. Корнилов.

...*книгу Токвиля о демократии в Америке...*— Имеется в виду «*De la démocratie en Amérique*», par A. de Tocqueville, tt. 1—2, P., 1835.

Глава XVIII

Впервые опубликована в *ТиС*, 1854, стр. 179—183, как гл. XII (ошибочно обозначено: XIV). Перепечатана в *Бид* I, стр. 405—414, с сокращениями и дополнениями (см. «Варианты»). В *Бид* I в текст гл. XVIII была введена, за исключением первых двух абзацев, глава «Владимир»,

впервые опубликованная в ПЗ, 1857, кн. III («Губернатор Курута о жизни?...», стр. 303, строка 30 — стр. 308, строка 3).

Стр. 303. ...гостинице о вкусом вместо бордо.— См. повесть «Тарангас» В. А. Соллогуба (глава V).

...поручил мне с одним учителем гимназии заведовать «Губернскими ведомостями».— Герцен был редактором «Прибавлений к „Владимирским губернским ведомостям“». См. об этом в т. I наст. изд., стр. 529—530. Учитель, о котором говорит Герцен,— Д. В. Небаба, был его соредактором.

Стр. 304. ...в Вятке поставил на ноги неофициальную часть «Ведомостей» о статейку...— «Вятские губернские ведомости» начали выходить в январе 1838 г. В это время Герцен уже находился во Владимире. О работах Герцена, напечатанных в «Вятских губернских ведомостях», см. в т. I наст. изд., стр. 527—529.

«Губернские ведомости» были введены в 1837 году.— «Губернские ведомости» начали издаваться в 1838 г. в 42 губерниях России.

Блудов, известный о как сочинитель «Доклада следственной комиссии» после 14 декабря...— Д. Н. Блудов издал последний том «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. В 1826 г. он был назначен Николаем I делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов. В своем докладе Блудов в тенденциозном виде представил события 14 декабря 1825 г.

...выслужившиеся «арзамасские гуси»...— Бывшие члены литературного общества «Арзамас» (1815—1818). Впоследствии ярые реакционеры Д. Н. Блудов, Д. А. Кавелин, С. С. Уваров состояли членами «Арзамаса».

...к И. И. Дмитриеву, в его дом на Садовой...— Дом И. И. Дмитриева находился на Спиридоновке (ныне ул. Алексея Толстого). В 1893 г. он был снесен. См. также стр. 53.

Стр. 305. ...а м е н и л земских заседателей становыми приставами.— На основании Положения о земской полиции, утвержденного в 1837 г., выборные должности земских заседателей упразднились, вместо них был введен институт становых приставов. Становой пристав — полицейская должность; назначался губернатором и ведал станом (частью уезда).

Стр. 307. Инспектор врачебной управы...— М. И. Алякринский.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Третья часть «Былого и дум», как и первые две, была в основном закончена в 1853 г., на что Герцен указал в предисловии к ней. Появилась она в печати вслед за первой частью — в ПЗ, 1857 г., кн. III, в составе семи глав, с заголовком «Былое и думы. (Из III части „Записок Искандера“)» и с предисловием, помещенным в виде сноски к заглавию; предисловие см. в разделе «Предисловия, переводы, отрывки». В первоначальном рукописном варианте третья часть была гораздо обширнее — она включала в себя и главы XXV—XXXIII, впоследствии выделенные в часть четвертую. В БИД II из семи глав публикации ПЗ вошло шесть — глава IV была напечатана в первом томе в составе второй части. В виде приложения к третьей части Герцен в отдельном издании «Былого и дум» добавил свои письма к будущей жене, Н. А. Захарьиной, датированные 1832—1835 гг.

Печатается по тексту БИД II со следующими исправлениями:

Стр. 312, строки 12—13: родственные семьи вместо: родственные связи (по ПЗ)

Стр. 324, строки 29—30: где изуверство, развитое страхом, шло рядом с обманом (пропуск, восстановлено по ПЗ)

Стр. 336, строка 1: так матерински вместо: так мастерски(по перечню опечаток в ПЗ)

Стр. 339, строка 26: месяц стлал вместо: месяц слал

Стр. 392, строка 6: 1835 вместо: 1834

Стр. 397, строка 1: Братьям на Руси вместо: (Братьям на Руси)

Третья часть, как писал Герцен, «не похожа на прежние», «интимнее прежних». Она посвящается «внутренней» стороне автобиографии, истории любви Герцена и Н. А. Захарьиной, жизни во Владимире, этому «блестящему эпилогу» юности. Герцен переносит повествование в прошлое, изображая детские и девические годы Н. А. Захарьиной, становление ее характера и духовное развитие в доме княгини Хованской. О работе над воссозданием образа Наталии Александровны см. в письме Герцена к И. С. Тургеневу от 25 декабря 1856 г. Рядом с Н. А. Захарьиной стоит образ ее подруги, горничной Саши Вырлиной, «раздавленной» проститутизмом.

В своих рассуждениях и раздумьях Герцен освещает под углом зрения социальных и эстетических проблем положение женщины-матери в помещичье-буржуазном обществе.

В третьей части воспроизводятся некоторые эпизоды жизни Герцена в Перми и Вятке (роман с П. П. Медведевой); она дополняет первую и особенно вторую часть, дает новые штрихи для характеристики образов, уже известных по предшествующим частям (Витберга, Кетчера, а также самого Герцена до его ареста). О владимирской жизни см. также в «Отрывках из дневника 1839 г.» (т. I наст. изд., стр. 332—334). «Маленький роман» с П. П. Медведевой, о котором рассказывается в третьей части, отразился в романтической форме в неоконченной повести «Елена» (т. I наст. изд., стр. 139—169).

Стр. 309. *Не ждите от меня длинных повествований ∞ заповедных тайн своих.*— Эпиграф взят Герценом из последней главы второй части «Былого и дум» в *Тис.* В эпиграфе в несколько измененном и сокращенном виде приведены три заключительных абзаца этой главы.

Глава XIX

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 69—77, как гл. I. Перепечатана в *Бид* II, стр. 5—15 с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 312. *...выдала замуж их сестер.*— Подразумеваются М. А. Яковлева (в замужестве Хованская) и Е. А. Яковлева (в замужестве Голохвостова).

Стр. 314. *...две дочери...*— Н. Ф. и Е. Ф. Хованские.

Стр. 316. *...последней дочери ее...*— Имеется в виду Н. Ф. Хованская (в замужестве Насакина).

Стр. 317. *...«компаньонка».*— М. С. Макашина.

Стр. 318. *...старая француженка...*— M-me Matthey.

Глава XX

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 78—92, как гл. II. Перепечатана в *Бид* II, стр. 16—35, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 319. *Ребенок...*— Н. А. Захарьина.

Стр. 321. *«Мне все казалось ~ скорей домой»*.— В письме от 15 марта 1838 г. Герцен просил Н. А. Захарьину: «...напиши о твоём ребячестве, о первой встрече нашей...» Н. А. обещала рассказать об этом «в особых письмах» (22 марта 1838 г.). В письме от 31 марта она сообщала Герцену о выполнении его просьбы: «Как приедешь, отдам тебе тетрадку...» Возможно, отрывок, цитируемый Герценом, взят из этой неизвестной нам «тетрадки» писем, тем более что в письме от 27 марта 1838 г. она как бы комментирует приведенное Герценом место: «Воспоминания мои теперь остановились на самой мрачной эпохе моей жизни,— смерть *нап(еньки)* уже все прошедшее, но тяжело и прошедшее».

«...Мое ребячество ~ удерживая слезы».— Отрывок из письма Н. А. Захарьиной к Герцену от 5 декабря 1837 г., слегка отредактированный Герценом и с пропусками в тексте.

Вот гайна: дней моих весною...— Цитата из поэмы И. Козлова «Чернец» (часть IV).

Стр. 322. *«Кругом ~ в самое себя...»*— Это письмо Н. А. Захарьиной неизвестно.

«Я не помню ~ не знаем друг друга».— См. письмо Н. А. Захарьиной от 1 декабря 1837 г. Герцен приводит несколько видоизмененный текст. Слов: «Я люблю мою мать... но мы не знаем друг друга» — в оригинале нет.

Стр. 323. *...сын какой-то вдовы-попадья...*— Речь идет о П. С. Ключарева и Т. И. Ключаревой.

Стр. 324. *...Сашей...*— Вырлиной.

Стр. 326. *...сохранились несколько писем Саши...*— Оригиналы цитируемых Герценом писем Саши Вырлиной неизвестны. В Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранятся шесть писем Саши Вырлиной, адресованных Н. А. Герцен и относящихся к 1838—1839 гг.

Стр. 328. *...русскую девушку...*— Э. М. Аксберг.

Стр. 329. *...«деву чужбины» Шиллера...*— См. стихотворение Шиллера «Дева чужбины» («Das Mädchen aus der Fremde»).

Стр. 330. *Это было в тюрьме.*— Речь идет о свидании 9 апреля 1835 г. См. примечание к стр. 218.

...«не в отеческом законе»...— Выражение из поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин».

Стр. 331. *...молодая девушка...*— Л. В. Пассек.

Стр. 332. *Кузина, помнишь Грандисона?*— Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава седьмая, строфа XLI).

Глава XXI

Впервые опубликована в *ИЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 93—103, как гл. III. Перепечатана в *Бид* II, стр. 36—59, с значительными дополнениями (см. «Варианты»).

В отделе рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится автограф двух отрывков, озаглавленный: «Отрывки из напечатанных глав, пропущенные в I и II томе». Первый из них, к которому относится пометка Герцена — «(стр. 45. Часть II)» — входит в текст главы XXI: «...Прошли недели две ~ хорошей погодой» (стр. 339, строка 22 — стр. 341, строка 16). На стр. 45 *Бид* II — две строки точек, указывающие на пропуск. Этот отрывок впервые был полностью опубликован в тексте гл. XXI «Былого и дум» в *Л* XII, стр. 437—438. Другой помечен Герценом: «К стр. 245 II части» (см. т. IX наст. изд., стр. 96—99)...

Стр. 333. *...мое первое письмо...*— Письмо к Н. А. Захарьиной от 29 апреля 1835 г. из Перми.

...«Твой брат».— Этих слов в тексте указанного выше письма нет.

Стр. 337. *P.*— П. П. Медведева.

Стр. 344. *«Я сделаю тебе странный вопрос ∞ Я не верю».*— Отрывок из письма к Н. А. Захарьиной от 14 октября 1835 г. Герцен устранил в нем высказанные выражения, написанные, как он сам отметил, под влиянием «школы Гюго и новых французских романистов». (См. примечание Герцена на стр. 346).

Стр. 345. *«Ты что-то смущен ∞ ни больше, ни меньше».*— Неточная цитата из письма Н. А. Захарьиной от 3 декабря 1835 г.

...«туман исчез ∞ светло и ясно».— Из письма Н. А. Захарьиной от 2 января 1836 г.

«Может, ты сидишь теперь ∞ пусть придут ко мне».— Из письма Н. А. Захарьиной от 3 сентября 1836 г. Текст слегка отредактирован Герценом.

«...Будем детьми ∞ был в комнате».— Несколько измененный Герценом отрывок из письма Н. А. Захарьиной к нему от 6 мая 1837 г.

...портрет...— Речь идет о портрете А. И. Герцена, написанном А. Л. Витбергом в конце сентября — начале октября 1836 г. (См. т. I наст. изд., стр. 272). Портрет был заказан А. И. Герценом ко дню рождения Н. А. Захарьиной и вручен ей его отцом 22 октября 1836 г. См. письма Герцена к Н. А. Захарьиной от 29 сентября и 10 октября 1836 г. О получении портрета Н. А. Захарьина сообщает в письме от 22 октября 1836 г.

...о браслете...— В своем письме к Н. А. Захарьиной от 3 марта 1837 г. Герцен сообщает, что получил от нее браслет.

«...Глядя на твои письма ∞ сотрет черты».— Герцен соединил вместе два отрывка из писем Н. А. Захарьиной, относящихся к 28 и 29 марта 1837 г. Значительной редакции подвергся первый отрывок. Второй, начинающийся со слов: «Как грустно...», приведен почти точно.

Стр. 346. *...Паулина...*— Тромпетер.

Стр. 347. *...по делу филаретов...*— «Филареты» — участники полского тайного студенческого общества при Виленском университете в первой четверти XIX в. В 1822—1823 гг. молодежь, принадлежавшая к обществу, была арестована. Многие были посажены в тюрьмы, сосланы, отданы в солдаты.

Стр. 348. *...«Das Mädchen aus der Fremde»...*— См. комментарий к стр. 329.

Стр. 350. *Повесть вышла плоха.*— Имеется в виду неоконченная повесть «Елена», которую Герцен писал в 1836—1838 гг. См. том I наст. изд., стр. 139—169.

Глава XXII

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1857 г., кн. III, 110—120, как гл. V. Перепечатана в *БД* II, стр. 60—74, с незначительными изменениями (см. «Варианты»).

Стр. 351. *...двоюродный брат...*— С. Л. Львов-Львицкий.

Стр. 352. *«...Представь себе ∞ вынесли покойника».*— Цитата из письма Н. А. Захарьиной от 6 июля 1837 г.

...а тут эти дети ∞ в их среде».— Цитата (с пропусками в тексте и некоторыми изменениями) из письма Н. А. Захарьиной от 22 июля 1837 г.

Стр. 352—353. *«У нас сидят ∞ и без того холодно».*— Несколько измененная цитата из письма Н. А. Захарьиной от 18 июня 1837 г.

Стр. 353. *«Не знаю ∞ стало жаль их».*— См. письмо Н. А. Захарьиной от 23 января 1837 г. Помимо стилистической правки и некоторых пропусков, Герцен, повидимому, вводит в текст пересказанную собственными словами фразу из письма Н. А. Захарьиной от 26 августа 1836 г.: «Всегдашний предмет разговора или ты, или маменька, или Филарет».

«У нас была одна дама ∞ узорчатой фатой».— Несколько измененный отрывок из письма Н. А. Захарьиной к Герцену от 16 февраля 1837 г.

...С.— В оригинале письма Наталии Александровны — Свечина.

...З.— А. И. Снаксарев.

Стр. 353—354. *«Что я вытерпела ∞ в доспехах любви».*— Отрывок из письма Н. А. Захарьиной от 26 октября 1837 г. с пропусками в тексте, слегка отредактированный Герценом.

Стр. 354. *«Даже ∞ Д. П. (Голохвастов) доволен им».*— Повидимому, имеется в виду следующее место из письма Н. А. Захарьиной от 11 июня 1837 г.: «Уж даже и его превосх. Дим. Пав. Гол. отзывается о нем очень с хорошей стороны».

...душа ее, живущая одним горем...— Намек на разрыв между Э. М. Аксберг и Н. М. Сатиним.

«Вчера ∞ едва ли ей доступно».— Отрывок из письма Н. А. Захарьиной от 25 октября 1837 г. с незначительными изменениями.

«Желая очистить ∞ открою ему все».— Вольный пересказ отрывка из письма Н. А. Захарьиной от 28 октября 1837 г.

«Вот платье ∞ им сюрприз».— Почти дословно цитируется начало письма Н. А. Захарьиной от 30 октября 1837 г.

«Теперь происходит совещание раны откроются».— Слегка отредактированное с пропусками в тексте письмо Н. А. Захарьиной от 30 октября 1837 г.

Стр. 355. ...офицер...— А. О. Миницкий.

Стр. 358. ...к брату...— А. А. Яковлеву («Химику»).

Стр. 359. *Пушай себе поплачет...*— Не совсем точная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание».

Стр. 360. ...всего более Мара...— Марата.

...с примесью чего-то патфайндерского...— Имеется в виду герой романа Ф. Купера «Следопыт» («The Pathfinder»), отличавшийся честностью и прямотой.

Глава XXIII

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 121—139, как гл. VI. Перепечатана в *Бид* II, стр. 75—100, с незначительными изменениями (см. «Варианты»). Последние абзацы главы — «...Мои желания ∞ опиумом» (стр. 378, строка 19 — стр. 379, строка 5) — впервые опубликованы в *ПЗ*, 1855 г., кн. I, стр. 78—79, как «Конец VII главы (1839 г.)», в составе публикации «Былое и думы. (Отрывки из третьего тома „Записок“ Искандера)», сопровождающей подстрочным примечанием (см. в разделе «Предисловия. переводы, отрывки»).

Стр. 361. *Третье марта...*— Дата первого свидания А. И. Герцена и Н. А. Захарьиной после разлуки.

...девятое мая 1838 года.— Дата венчания А. И. Герцена и Н. А. Захарьиной.

Стр. 364. ...«Боже мой ∞ это не сон?» — Эта записка неизвестна.

Стр. 365. *Один из друзей...*— Н. И. Астраков.

Стр. 367. *Чаадаев ∞ посвятивший ей свое знаменитое письмо о России.*— «Философическое письмо» Чаадаева посвящено С. Д. Пановой.

Стр. 370. *...старого семейного чиновника...*— Имеется в виду К. П. Смирнов.

Стр. 371. *...священника.*— Имеется в виду протоиерей Иоанн Остроумов.

Глава XXIV

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 140—148, как гл. VII. Перепечатана в *Бид* II, стр. 101—120, со значительными дополнениями (см. «Варианты»).

Стр. 380. *13 июня 1839 года.*— День рождения первого сына Герцена — Александра. См. об этом в отрывках из дневника 1839 г., том I наст. изд., стр. 333—334, а также в письмах Герцена к А. Л. Витбергу от 14 июня 1839 г., Ю. Ф. Куруте от 19 июня 1839 г.

Стр. 382. *В римских элегиях, в «Ткачихе»...*— Речь идет о цикле стихов Гёте «Римские элегии» («Elegien <römische>»), а также стихотворении «Пряха» («Die Spinnerin»), по памяти названном Герценом «Ткачиха».

...в Гретхен и ее отчаянной молитве...— См. «Фауст» Гёте (ч. I, сцена 18).

Стр. 383. *...как Лаура в «Каменном госте» Пушкина ∞ кричит «ясно»...*— См. «Каменный гость» А. С. Пушкина (сцена II).

Стр. 385. *Прасковья Андреевна...*— Эрн.

Стр. 386. *...в Фан-Дейковой мадонне в римской галерее Корсини.*— Во французском тексте (см. стр. 409—416 и комментарий на стр. 481—483) Герценом, вероятно, ошибочно указана Мадонна Ван-Эйка (стр. 415 и 483).

Стр. 387. *Was hat man dir, du armes Kind, getan?*— См. стихотворение Гёте «Mignon» («Kennst du das Land»). Этим стихотворением открывается первая глава третьей книги произведения Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Стр. 389. *15 августа 1832.*— Дата неверна. Записка писана 22 октября 1833 г.

Стр. 389—390. *Любезнейшая Паталья Александровна! ∞ преданный вам А. Г.*— В приводимом тексте есть небольшие неточности и пропуски.

Стр. 390. *Напрасно ∞ одна из трех!*— Начало письма, приведенное с некоторыми сокращениями. Post scriptum приведен далее Герценом почти точно.

Natalie! ∞ Весь ваш А. Г.— Почти точная цитата.

Е. И.— Е. И. Герцен.

Эмилия Михайловна...— Аксберг.

Стр. 390—391. *Сейчас написал я к полковнику ∞ твоего брата.*— Сокращенный и отредактированный автором текст письма. Полковник, о котором здесь идет речь,— И. С. Семенов. См. о нем в главе XI (часть вторая), стр. 198.

Стр. 391—392. *Никогда не возьму ∞ это поздно.*— Значительно сокращенный, с пропусками, текст письма.

Стр. 392. *У тебя ∞ твой брат Александр.*— В тексте соединены выдержки из двух писем Герцена к Н. А. Захарьиной. Первый абзац взят из письма от 8 февраля 1835 г., остальная часть — из письма, относящегося к ноябрю 1834 г. В обоих случаях Герцен сокращает и несколько видоизменяет текст.

Стр. 393. *Каких чудес ∼ благодетельные люди.*— Воспроизведено с небольшими изменениями начало письма.

Наташа ∼ она не так бы выразилась.— Письмо приведено с сокращениями и некоторыми изменениями.

Стр. 393—394. *По клочкам ∼ он щадил других?*— Приведена большая часть письма с пропусками в тексте и некоторыми изменениями.

Стр. 394. *За несколько часов ∼ все это писано при жандармах.*— В тексте имеются пропуски.

ПРЕДИСЛОВИЯ, ПЕРЕВОДЫ, ОТРЫВКИ

Братьям на Руси

«Братьям на Руси» — самый ранний из известных нам текстов, связанных с «Былым и думами», — было написано как предисловие к мемуарам. Затем Герцен отказался от своего намерения, и этот текст при его жизни не был напечатан. «Братьям на Руси» впервые опубликовано в Л VII, стр. 154—156. Печатается по рукописи ЦГАЛИ («пражская коллекция»).

Стр. 397. *Я не еду из Лондона.*— Герцен сообщает о своем решении постоянно поселиться в Лондоне в письме к М. К. Рейхель от 26 октября 1852 г.

...если б смерть не переехала мне дорогу.— Имеется в виду смерть Н. А. Герцен.

Мы расстались с вами ∼ 21 января 1847 г.— Герцен с семьей выехал за границу 19 января 1847 г.

Стр. 398. *...зимой или весной 1838 года ∼ воспоминания из моей первой юности.*— Имеется в виду ранняя редакция «Записок одного молодого человека» — автобиографическая повесть «О себе».

...я сам долею сжег рукопись перед второю ссылкой...— См. об этом в томе I наст. изд., стр. 502—504.

...il veder dinanzi era tolto. — См. «Божественную комедию» («Ад», песнь XX). У Данте: «Perche il veder dinanzi era lor tolto».

К первой части

⟨Предисловие⟩

Печатается по ИЗ, 1856 г., кн. II, стр. 43—44, где было впервые опубликовано.

⟨Все несчастье борьбы...⟩

Отрывок относится к первой главе «Былого и дум» (см. сноску на стр. 25). Герцен написал о своем сводном брате Егоре Ивановиче несколько страниц, не включенных им в «Былое и думы». Из этой рукописи в «пражской коллекции» сохранился отрывок, впервые опубликованный в ЛН, т. 61, 1953 г., стр. 118.

Печатается по рукописи (ЦГАЛИ).

⟨Из III главы⟩

Печатается по черновому автографу (ЦГАЛИ), изобилующему исправлениями и вычерками. На единственной сохранившейся странице авторская пагинация: 8, [5], 6, 60. Повидимому, отрывок представляет

собой перевод соответствующего русского текста в III главе «Былого и дум» (стр. 60—61 наст. тома). Однако он имеет значительные расхождения с русским оригиналом и поэтому сопровождается переводом на русский язык.

В «пражской коллекции» сохранился ряд отрывков авторского перевода «Былого и дум» на французский язык, которые приводятся в соответствующих томах настоящего издания. Еще один отрывок из перевода (гл. XXIV) был напечатан Герценом в газете «Le Courrier de l'Europe» — см. выше, стр. 407—414.

Ко второй части

Введение

〈к первому изданию «Тюрьмы и ссылки»〉

Печатается по тексту *TuC*, 1854, стр. III—IV, где впервые опубликовано; было перепечатано без изменений в *TuC*, 1858, стр. V—VI.

〈Предисловие к английскому изданию〉

Английский текст предисловия воспроизводится по изданию «*My exile*», 1855, London.

Ко второму изданию «Тюрьмы и ссылки»

Печатается по тексту *TuC*, 1858, стр. III—IV.

К третьей части

〈Предисловие〉

Печатается по тексту *ИЗ*, 1857 г., кн. III, стр. 69—70, где было впервые опубликовано.

〈Авторский перевод из XXIV главы〉

Впервые напечатано в издававшейся на французском языке лондонской газете «*Le Courrier de l'Europe, écho du Continent*» от 3 января 1857 г., под заглавием: «*Fragment du volume III des „Mémoires d'un Russe“ par Alexandre Herzen*» («Отрывок из III тома „Записок русского“ Александра Герцена»), со следующим предисловием от редакции:

«Публикуемый ниже отрывок из „Записок русского“, так же как и все сочинение, частью которого он является, никогда не печатался на французском языке. Мы счастливы, что можем дать некоторое предварительное представление нашим читателям о произведении, которое, будучи опубликовано на трех языках — русском, немецком, английском, — не только было увенчано тройным успехом, но которое еще до издания на французском языке уже известно и вызывает восхищение во Франции. „*Revue des Deux Mondes*“, „*La Presse*“ уже много раз беседовали со своими читателями об этом замечательном произведении, создать которое мог только такой человек, как Александр Герцен, вынужденный вследствие деспотии царя, а также других деспотий, искать спасения и

свободы в бесчисленных разъездах по югу и западу Европы; связанный со всеми народами, хорошо зная все языки, свидетель и судья нравов, законов, самых разнообразных переворотов, он сумел поставить свой огромный опыт в познании людей и явлений на службу уму, необыкновенно сильному и оригинальному. Французские читатели, надеемся мы, вскоре смогут ознакомиться с мемуарами Александра Герцена не только по цитатам из литературно-критических статей. Три первых тома уже переведены на французский язык и вскоре будут опубликованы. Ознакомившись с печатаемым нами сегодня отрывком — отрывком, переведенным самим автором, — наши читатели так же, как это бывало с нами каждый раз по прочтении чего-нибудь написанного Герценом по-французски, будут удивлены и очарованы, видя, какой оригинальный характер принимает французский язык под этим русским пером; и, отдавая себе отчет в том, насколько автор в своем стиле является одновременно и русским и французом, они, без сомнения, подумают, какой удачей для французской литературы было бы предоставлять почаще права гражданства таким писателям. Что же касается Герцена, то он не только как писатель имеет право гражданства в России, Германии, Англии, Франции, он как мыслитель имеет право еще более возвышенное, право гражданства в той обители, куда любовь к свободе и справедливости предоставляет доступ даже нищим духом, но куда сам гений не мог бы вступить, если б только гений мог существовать без любви к справедливости и гуманности.

Мы просим извинения у наших читателей за то, что несколькими своими строками задержали их наслаждение, и оставляем их наедине с автором, с этими страницами, полными жизни, ума, нежности и той благотворной иронии, которая высмеивает только зло и которая вместо того, чтобы раздражать, пробуждает и просвещает самые великодушные чувства, свойственные человеческой природе.

Перевод, выполненный Герценом, довольно близок к русскому подлиннику, однако в нем имеется ряд смысловых и стилистических отклонений (см. их перечень ниже). Автограф неизвестен. В «пражской коллекции» (ЦГАЛИ) среди вырезок, собиравшихся Герценом, сохранилась вырезка из «Le Courrier de l'Europe» с текстом перевода, по которой он нами и печатается. На полях вырезки рукой Герцена, корректурным значком, сделана одна поправка — *после*: amour «любовь» *сброшено*: de la mère «матери» (страница 410, строка 5).

В текст газеты «Le Courrier de l'Europe» нами внесены следующие исправления:

Стр. 411, строка 5: Fileuse *вместо*: Filleule

Стр. 411, строка 6: a exprimé de quelle solennité *вместо*: a exprimé et de quelle solennité

Приводим в русском переводе перечень основных смысловых и стилистических отклонений французского перевода от русского текста:

Стр. 380

²⁸ *После*: не любит. // Думать о завтрашнем дне! — Но кто сказал, что будет какое-нибудь завтра? — А если оно и будет, то, может быть, не для нас!

Стр. 381

³⁻⁴ *Вместо*: упоений ∞ встревоженная // чувства нового упоения, полного страха, надежды, беспокойства и страстного ожидания. Это начало семьи — ибо без ребенка нет семьи. Испуганная

¹¹ *После*: с какой любовью // с какой нежностью

¹⁴ *После*: случаев. // Это даже часто бывает.

²³ *Перед*: французский // добрый

²⁵ *Вместо:* прибавил вполслуха:— беременна // она, видите ли — извините меня,— но она, видите ли... она беременна...

²⁷ *Вместо:* считается чем-то неприличным // оскорбляет нравы. Между тем это весьма странно

³³⁻³⁴ *Вместо:* Жан Деруан ∞ femmes // Два года тому назад я прочел в одной книге, написанной социалистом

Стр. 382

³⁷ *Вместо:* молочной улыбке // о его губках в молоке, ее молоке

Стр. 383

¹⁻² *Вместо:* «Да чувствуют ∞ вообще?» // и его подобно убить! О! Конечно есть несчастные женщины, но, в общем, женщины — падшие — не обладают этими чувствами. Женщины падшие — какие же?

³ *Перед:* этих летучих мышей // этих ящерц

⁷ *После:* поклонников // предлагая свое окоченевшее тело прохожему, чтобы не умереть с голоду.

¹⁷⁻²⁰ *Вместо:* беззаботное ∞ «ясно» // без какой-либо заботы о завтрашнем дне

²⁹ *Вместо:* Что с вами ∞ с участием. // Приблизясь к ней, я спросил ее с интересом, как она здесь оказалась

Стр. 384

²⁻³ *Слова:* Я и теперь ∞ совсем нет — отсутствуют.

¹³⁻¹⁴ *После:* удивляются ему. // Я никогда не видела подобного ребенка.

²⁰ *После:* вместе умирать // чем покинуть его на людей, которые его не любят

²⁵ *Вместо:* приходится умирать с голоду // У нас нет одежды, нет денег

²⁶⁻²⁸ *Вместо:* да малютку ∞ мил! // О, в этом мало приятного, поймите... но... на кого оставить малютку?..

³² *Слова:* с печальной улыбкой — отсутствуют.

³³ *После:* так добры // ко мне и к мальчику

Стр. 385

⁹⁻¹¹ *Вместо:* бедного ∞ не бывал дома // несчастного Жерар-де-Нерваля. В последнее время, перед своим самоубийством, он очень часто отлучался из дому на два или три дня

¹²⁻¹³ *Вместо:* в самых черных ∞ Нике // в харчевнях, пользующихся самой дурной славой

²¹⁻²² *Вместо:* Его подозревали ∞ достоверность! // Тогда добрые люди перестали сомневаться в умопомешательстве переводчика «Фауста».

²⁷⁻²⁹ *Вместо:* по просьбе ∞ беспомощность // старая и добрая дама и

³³ *Вместо:* Прасковья Андреевна // старая дама

³⁶ *После:* неожиданна // как будто мы целыми месяцами не говорили об этом моменте!

Стр. 386

¹⁰ *Слова:* через Лыбедь — отсутствуют.

¹³⁻¹⁵ *Вместо:* Прасковья Андреевна ∞ руки // старая дама, сама вся в слезах, принесла мне его на подушке. Я хотел взять его: но руки мои так сильно дрожали, что старая дама не хотела мне его дать

²¹ *Слова:* о вынесенной борьбе — отсутствуют.

²² *Вместо:* Потом ∞ вывести // Я покинул комнату

²⁶⁻²⁹ *Вместо:* Это измученно-восторженное ∞ Корсини. // Я видел еще, в другом месте, юные черты, выражающие одновременно это страдание и это счастье: юные черты, где смерть и радость, нежная и сладкая, витали вместе. Это было в Риме, в галерее князя К... Я их сразу же узнал, разглядывая мадонну ван-Эйка; и в трепете я остановился — и не мог оторваться от этой картины.

¹ *Вместо:* мешает христианскому чину // пугает божественный порядок Троицы

¹⁷ *Вместо:* Миньона // Миньона Гёте

²⁷⁻²⁸ *Вместо:* Реям ~ пола // Церерам, Дианам

³³ *Вместо:* златовласая // кокетливая

⁷ *После:* нас жаль // Гретхен не сможет поведать ей о своем грехе.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А. А. — 221

Абенсераги, старинный полулегендарный арабский род, последние представители которого, согласно сказаниям, трагически погибли в Испании в XV в. — 120

Августа дочери — см. Юлия

Авдей, кучер И. А. Яковлева — 81

Австрийский император (с 1806 г.) — Франц I Иосиф Карл (1768—1835) — 257

А. Г. — см. Герцен А. И.

Агатон — см. «Цветок на гроб моего Агатона» Н. М. Карамзина

Аксберг Эмилия Михайловна (Emilie), гувернантка и подруга Н. А. Захарьиной — 328, 329, 354, 390, 393, 476, 478, 479

Александр I (1777—1825), император — 18, 19, 21, 56—58, 62, 67, 81, 88, 99, 126, 138, 192, 235, 240, 241, 243, 254, 255, 278—280, 282—284, 287, 304, 317, 448, 450, 452, 457, 467, 473

Александр II («наследник») (1818—1881), император — 249, 270, 291, 293 — 295, 330

Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I — 62, 108, 134

Алексей, крепостной повар И. А. Яковлева — 44, 45

Аленицын Петр Яковлевич, правитель канцелярии вятского губернатора во время ссылки А. И. Герцена — 234, 235, 244, 246

Алибо (Alibaud) Луи (1810—1836), казнен за покушение на жизнь Луи-Филиппа — 59

Алина, княжна, действ. лицо в поэме «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (см.)

Альмавива, граф и графиня, действ. лица в комедиях Бомарше (см.)

Алякринский Митрофан Иванович (1794—1872), доктор медицины, инспектор врачебной управы во Владимире во время ссылки А. И. Герцена — 307, 474

«Американец» — см. Толстой Ф. И. «Анахарсисово путешествие» («Путешествие младшего Анахарсиса по Греции»), сочинение Ж.-Ж. Бартеlemi (см.)

Анна Якимовна, приживалка в доме М. А. Хованской — 102

Антиной (год рожд. неизв. — ум. 130), фаворит римского императора Адриана, славился красотой, послужившей образцом для многих произведений античной пластики — 62

Антон, дирижёр, обслуживавший И. А. Яковлева — 96

Антонович (Войшин) Платон Александрович (1812—1883), товарищ А. И. Герцена по университету, участник Сунгуровского дела. В 1833 г. послан рядовым на Кавказ, в 1839 г. произведен в офицеры, впоследствии крупный чиновник — 136, 147, 426, 454, 459

Анфантен (Енфантен, Enfantin), Бартеlemi Проспер (1796—1864), франц. социалист-утопист, один из ближайших последователей Сен-Симона — 161

Апраксин Петр Иванович, граф (1784—1852), жандармский гене-

- рал-майор в Казани в 1835 г. — 224, 225
- Апраксин Степан Степанович (1757—1827), моск. сановник
- Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — 20, 21, 57, 58, 135, 236, 241, 250, 255, 284, 317, 450
- Арапетов Иван Павлович (1811—1887), студент Моск. ун-та, участник «маловской истории», впоследствии либеральствующий чиновник — 121, 424
- Арапов Пимен Николаевич (1796—1861), крупный чиновник, драматург-переводчик, историк русского театра — 99
- Аркадий, официант кн. М. А. Хованской — 363—365
- Арним Беттина (Элизабет), рожд. Брентано (1785—1859), нем. писательница — 83, 453
- «Переписка Gёте с ребенком» («Goethes Briefwechsel mit einem Kinde») — 83, 453
- Арсеньев Константин Иванович (1789—1865), географ, историк и статистик, член Петербургской Академии наук; в 1828—1835 гг. — преподаватель будущего императора Александра II — 294, 473
- Астраков Николай Иванович (1809—1842), преподаватель математики, друг юности А. И. Герцена — 365—368, 479
- Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892), писательница, жена Н. И. Астракова. Друг А. И. Герцена, осуществляла связь Герцена с друзьями в России — 367, 368
- Афродита (миф.) — 387
- Ахиллес, Пелеев сын, действ. лицо в «Илиаде» Гомера (см.) — 66, 451
- Ахилл (миф.) — 332
- Б., дочери — 48
- Байи (Бальи, Bailly) Жан Сильвен (1736—1793), астроном, деятель франц. революции конца XVIII в. — 173
- Байков Илья, кучер Александра I — 57
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 57, 450
- «Дон Жуан» — 57, 450
- Бакай Яков Игнатьевич, лакей в доме И. А. Яковлева — 42—44, 54, 133, 448
- Бальзак Оноре де (1799—1850) — 327
- Бальи — см. Байи
- Бартелеми (Barthélemy) Жан Жак, аббат (1716—1795), франц. писатель и археолог — 440, 451
- «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» («Voyage du jeune Anacharsis en Grèce») — 68, 451
- Бахметев Алексей Николаевич (1774—1841), генерал, в 1816—1820 гг. наместник в Бессарабии, впоследствии губернатор в ряде губерний; товарищ И. А. Яковлева — 33—35, 98, 105, 449, 454
- Бахметев Николай Николаевич (ок. 1770 — ок. 1830), генерал, брат предыдущего, в 1798—1803 гг. был оренбургским губернатором; товарищ И. А. Яковлева — 88, 98
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 10, 123, 288, 289, 442, 443, 473
- «Русская литература в 1841 году» — 289, 473
- Бенигсон — см. «Бородинская годовщина» В. А. Жуковского
- Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844) — 37, 59, 107, 241
- Беранже Пьер Жан (1780—1857) — 53, 161, 449, 461
- «Жалоба одной из этих девиц на современные дела» — («Complainte d'une de ces demoiselles à l'occasion des affaires du temps») — 53, 449
- Бернадот (Bernadotte) Жан Батист Жюль (1763—1844), маршал Франции, король Швеции и Норвегии в 1818—1844 гг. под именем Карла XIV Иоанна — 22
- Бертье (Berthier) Александр (1753—1815), маршал Франции — 19
- Бестужев Александр Александрович (литерат. псевдоним — Марлинский) (1797—1837), декабрист, писатель, из Якутской ссылки был послан в 1829 г. рядовым

- на Кавказ. Убит в стычке с горцами — 147, 228, 460, 463
- Бибилов Дмитрий Гаврилович (1792 — 1870), госуд. деятель, в 1837—1852 гг. генерал-губернатор юго-западного края, в 1852—1855 гг. — министр внутренних дел — 426, 429
- «Библиотека для чтения», ежемесячный журнал, изд. в Петербурге (1834—1864). Редакторы в первые два года О. И. Сенковский и Н. И. Греч, а в 1836—1848 гг. один Сенковский — 38, 306
- Библия — 88, 452, 457, 472
- Бирон Эрнст Иоганн, герцог (1690—1772) — 80, 124, 317
- Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864), реакционный государственный деятель, с 1832 г. — министр внутренних дел, в 1837—1839 гг. — министр юстиции — 251, 272, 293, 304, 305, 474
- Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном — 53
- Боголепов Василий Васильевич, законоучитель Герцена в детстве — 53, 55, 449
- Болман, фармацевт в вятской аптеке во время ссылки Герцена — 346, 347
- Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) — 87, 449
- «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» («Le Barbier de Séville, ou La précaution inutile») — 449; Альмавива, граф — 36; Фигаро — 36
- «Безумный день, или Женитьба Фигаро» («Свадьба Фигаро») («La folle journée, ou Le mariage de Figaro») — 47, 48, 449; Альмавива, графиня — 48; Керубино (Херубим) — 48
- Бонапарт — см. Наполеон I Бонапарт
- Бонапарт — см. Наполеон III
- Бонапарт Жером (Иероним, «Ерёма») (1784—1860), брат Наполеона I, в 1807—1813 гг. — король созданного для него королевства Вестфалии — 29, 449
- Бонарроты — см. Микеланджело Борджа (Борджиа). Лукреция (1480—1519), дочь папы Александра VI (Родриго Борджа), известна своими политическими интригами и безнравственным поведением — 133
- Броневский Семён Богданович (1786—1858), генерал-лейтенант; в 1834—1837 гг. — генерал-губернатор Восточной Сибири, впоследствии сенатор — 255
- Брут, действ. лицо в стихотв. «Современная песня» Д. В. Давыдова (см.)
- Брянчанинов Дмитрий Петрович, московский полицмейстер в 1834 г. — 192
- Буйс, владелец магазина на Кузнецком мосту — 95
- Булатов Иван Михайлович, крепостной дядька, воспитывавший Н. П. Огарева в детские годы — 80, 452
- Бурдин Федот, жандарм, сопровождал А. И. Герцена из Перми в Вятку — 231, 232, 470
- Бурьени (Bourienne) Луи Антуан Фовеле де (1769—1834), франц. полит. деятель, в течение нескольких лет секретарь Наполеона I — 104
- Бушо (Bouchot), учитель А. И. Герцена в детские годы — 53, 56, 64, 65, 79
- Вагнер, действ. лицо в «Фаусте» В. Гёте (см.)
- Валленштейн, действ. лицо в одноименной драматической трилогии Ф. Шиллера (см.)
- Вайгель Федор Иванович, городничий в Перми в 1835 г. — 227, 231, 470
- Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — 386, 479
- «Мадонна» — 386, 479
- Васильев Елистрат, жандарм в Крутицких казармах, сопровождал А. И. Герцена из Москвы в Пермь — 20, 219—226, 330, 394, 429, 470
- Вауверман (Вуверман, Wouwerman) Филипс (1619—1668), голландский художник — 201
- Веллингтон Артур Уэлсли, герцог (1769—1852), англ. полководец и госуд. деятель — 53, 449

- Вельяминов Иван Александрович (1771—1837), генерал, участник войн с Наполеоном, в 1827—1833 гг. губернатор Западной Сибири — 253
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — 141, 460 — «Поэт и друг» — 144, 460
- Вера Артамоновна, няня А. И. Герцена — 15—17, 22—24, 25, 32—34, 47, 75, 93, 116, 311
- Веринна, действ. лицо в драме «Заговор Фiesco в Генуе» Ф. Шиллера (см.)
- Вернер Абраам Готлиб (1750—1817), нем. геолог — 128
- Верниковский Иван Антонович, ориенталист, в 1822 г. был причастен к делу тайного студенческого общества в Вильно, позднее преподаватель Казанского ун-та, в 1836 г. был сослан в Вятку — 347
- Вертер, герой романа «Страдания молодого Вертера» В. Гёте (см.)
- Видок (Vidocq) Франсуа Эжен (1775—1857), франц. авантюрист, имя стало нарицательным для обозначения беспринципного мошенника — 336
- Вильгельм Телль, действ. лицо в одноименной драме Ф. Шиллера (см.)
- Винценгероде Фердинанд Федорович (1770—1818), генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. — 20
- Витберг Александр Лаврентьевич (1787—1855), архитектор и художник, друг А. И. Герцена в период вятской ссылки — 81, 82, 277—288, 341—344, 348, 349, 430, 452, 456, 463, 465, 475, 477, 479
- Витберг Евдокия (Авдотья) Викторовна, рожд. Пузыревская (ум. 1851), вторая жена А. Л. Витберга — 344
- «Владимирские губернские ведомости», еженедельная газета, начала выходить с января 1838 г. А. И. Герцен редактировал «неофициальную часть» («Прибавления») с № 10 и до отъезда из Владимира в 1840 г. — 303, 474
- Волков Александр Александрович (1778—1833), генерал, начальник корпуса жандармов Московского округа — 146
- Волков Иван Федорович, учитель гимназии, преподавал математику Герцену и Огареву — 109, 455
- Волконский Петр Михайлович, князь (1776—1852), генерал-фельдмаршал, начальник Главного штаба с 1814 г., министр императорского двора с 1826 г. — 131, 135
- Волович Михаил, польский революционный деятель, казнен в 1833 г. — 428
- Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — 53, 87, 112, 162, 284, 312
- Воронцов Семен Романович, граф (1744—1832), дипломат и государ. деятель, посол в Лондоне в 1784—1806 гг. — 29
- Вауверман — см. Вауверман
- Вырлина Саша, горничная в доме кн. М. А. Хованской — 324—327, 329, 363, 475, 476
- «Вятские губернские ведомости», еженедельная газета, начала выходить с января 1838 г. — 304, 474
- Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), мать А. И. Герцена — 20—22, 30, 32, 33, 47, 48, 54, 89, 330, 350, 446, 453, 464
- Гааз Федор Петрович (1780—1853), старший врач московских тюремных больниц, известный своей филантропической деятельностью — 211, 212
- Гагарин, князь — 182
- Гаетана, действ. лицо в романе «Изувеченный» Сантина (см.)
- Гаетана, прозвище, данное А. И. Герценом Л. В. Пассек (см.)
- Гайю (Нау) Ренэ Жюст (1743—1822), франц. минералог — 128
- Гальба (Галба) Сервий Сульпиций (5 до н. э. — 69 н. э.), римский император — 63
- «Гамлет» — «Трагедия о Гамлете, принце Датском» В. Шекспира (см.)
- Гамлет, герой одноименной трагедии В. Шекспира (см.)
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 126

- Гебель Франц Ксаверий (1787—1843), композитор, пианист и дирижер, преподавал музыку Е. И. Герцену — 288
- «Потерянный рай» — 288
- Гейм Иван Андреевич (1758—1821), проф. истории, статистики, географии (с 1784 г.) и ректор Моск. ун-та в 1808—1818 гг. — 120
- Гейман Родион Григорьевич (1802—1865), проф. химии Моск. ун-та с 1833 г.; А. И. Герцен слушал у него курсы опытной и аналитической химии — 119, 150
- Гейне Генрих (1797—1856) — 11, 134, 407, 458
- «Людвиг Бёрне» («Ludwig Börne») — 11, 134, 458
- Гелиогабал Марк Аврелий Антонин (III в. н. э.), римский император — 63, 422
- Гемпден Джон (1594—1643), деятель англ. буржуазной революции XVII в. — 173, 187
- Геркулес (миф.) — 280
- Гермафродит (миф.) — 62
- Героиня в «Нулине» (Наталья Павловна) — см. поэму «Граф Нулин» А. С. Пушкина
- Герст и Блякет — см. Херст и Блекет
- Герцен Александр Александрович (1839—1906), сын А. И. Герцена — 84, 104, 386, 397, 398, 414
- Герцен Александр Иванович (Искандер, А. Г.) (1812—1870)
- «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» — 149, 460
- «Appel à la pudeur» — 448
- «Вильям Пен» — 288, 289, 439, 473
- «Вотяки и черемисы» — 466
- «Встречи» — 442
- «Вторая встреча» — 441, 466, 469
- «Германский путешественник» — см. «Первая встреча»
- «Двадцать осьмое января» — 207, 469
- ««День был душный...»» — 441, 448
- «Дилетантизм в науке» — 463
- «Доктор Крупов» — 448, 463
- «Долг прежде всего» — 448
- «Елена» — 350, 475, 477
- «Записки врача» — см. «Доктор Крупов»
- «Записки одного молодого человека» — 10, 11, 51, 398, 439, 442, 444, 446, 448, 449, 464
- «Из римских сцен» — 288, 289, 473
- «I maestri» — 442
- «Капризы и раздумье» — 439, 444
- «К нашим» — 62, 451
- «Крещеная собственность» — 444, 465, 471
- «Кто виноват?» — 115, 444, 463
- «Легенда» — 466
- «Лиций и Вильям Пен» — 439
- ««Не долго продолжалось его одиночество...»» — 441
- «Несколько замечаний об историческом развитии чести» — 463
- «О развитии революционных идей в России» — 443, 464
- «О себе» — 441, 442, 448, 480
- «Первая встреча» — 442
- «Письма к товарищам: Пермь, Вятка и Владимир» — 442
- «Письма из Франции и Италии» — 443 — 445, 464, 465
- «Письма об изучении природы» — 115, 463
- «Прерванные рассказы» — 465
- «Русские крестьяне Вятской губернии» — 466
- «Русский народ и социализм» — 464
- «Симпатия» — 442
- «Сорока-воровка» — 463, 464
- «Состояние народного просвещения в некоторых странах Германии» — 466
- «Станция Едрово» — 439
- «С того берега» — 443—445, 464
- ««Часов в восемь навестил меня...»» — 466
- «Это было 22 октября 1817» — 442
- Герцен Егор Иванович (1803—1882), брат А. И. Герцена — 25, 89, 350, 359—361, 390, 400, 433, 449, 453, 464, 479, 480
- Герцен Наталья Александровна, рожд. Захарьина (1817—1852), жена А. И. Герцена — 7, 9, 10, 48, 74—76, 112, 150, 179, 217, 218, 288, 290, 319—333, 338, 344—346, 348—358, 362—370, 372, 374—381, 385, 386, 389—394, 397, 398, 409, 414, 431, 433, 439, 441, 443, 446, 452, 456, 460, 467, 469, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480

Герцен Наталья Александровна (1844—1936), старшая дочь А. И. Герцена—397, 398, 433

Герцен Ольга Александровна, в замужестве Моно (1850—1953), дочь А. И. Герцена—397, 398, 433

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832)—115, 126, 382, 410, 411, 457, 458, 479, 483

— «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера»; Миньона—387, 415, 479

— «Миньона» («Mignon») —387, 415, 479

— «Надежда» («Hoffnung») —134, 458

— «Страдания молодого Вертера» —48, 69; Вертер —69

— «Пряха» («Die Spinnerin») —382, 411, 479

— «Римские элегии» («Elegien <römische>») —411, 479

— «Фауст» —385, 413, 479; Вагнер —115; Гретхен —382, 411, 479, 483

Гизо Франсуа (1787—1874), франц. бурж. историк —359

Гильтебрандт (Гильдебрандт) Федор Андреевич (1773—1845), проф. хирургии в Моск. ун-те в 1804—1839 гг.—120

Глинка Сергей Николаевич (1776—1847), писатель и журналист, участник Отечественной войны 1812 г.—125, 126, 457

Гмелин Самуил Готлиб (1744—1774), нем. натуралист и путешественник, член Петербургской Академии наук —24

— «Путешествие по России для исследования трех царств естества» —24

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик —66, 451

— «Илиада» (перевод) —66, 451; Ахиллес —66

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) —252, 467, 469

— «Мертвые души» —193, 468; «дама приятная во всех отношениях» —122; Копейкин, капитан—191, 467; Селифан—193, 468

— «Ревизор» —209, 469; Пошлепкина —209, 469

Гоголевская дама — «дама приятная во всех отношениях» —действ.

лицо в романе «Мертвые души» Н. В. Гоголя (см.)

Голицын Александр Николаевич, князь (1773—1844), министр духовных дел и народного просвещения (1816—1824) —58, 130, 283, 284, 287, 450

Голицын Александр Федорович («junior») князь (1796—1864), камергер, состоял при Николае I по III отделению, в 1834 г. член второй следственной комиссии по делу Герцена, Огарева и др. —191, 203—209, 217, 428, 467, 468

Голицын Дмитрий Васильевич, князь (1771—1844), моск. генерал-губернатор (1820—1843), владелец имения Вязёмы —72, 124, 127, 132, 173—175, 178, 180, 190, 191, 193, 194, 219, 233, 283, 285, 473

Голицын Сергей Михайлович («senior»), князь (1774—1859), попечитель Моск. учебного округа (1830—1835), в 1834 г. председатель второй следственной комиссии по делу Герцена, Огарева и др. —107, 117, 118, 121, 128, 191, 203—208, 210, 213, 215—217, 330, 428, 455, 468

Головинский Андрей Егорович, незаконный сын А. В. Толстого. деда декабриста В. П. Ивашева, с которым вместе воспитывался —61, 421, 450

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), двоюродный брат А. И. Герцена, помощник попечителя Моск. учебного округа с 1831 г., попечитель в 1847—1849 гг. —27, 354—356, 433, 443, 449, 478

Голохвастов Николай Павлович (1800—1846), двоюродный брат А. И. Герцена —157, 452

Голохвастов Павел Иванович (ум. 1812), дядя А. И. Герцена, помещик, офицер в отставке —16—22, 157

Голохвастова Елизавета Алексеевна (1763—1822), рожд. Яковлева, тетка А. И. Герцена —25, 27, 312, 475

Голохвастовы, семья Е. А. Голохвастовой —99

- Гомер
— «Илиада» — 22, 66, 451; Ахиллес, Пелеев сын — 66
— «Одиссея» — 22
- Гонзаго (Гонзага) Пьетро Готтардо (1751—1831) — итал. художник и театральный декоратор, работал в России — 87
- Гораций Флакк (65—8 до н. э.) — 239
- «Горе от ума» — см. Грибоедов А. С.
- Горский Григорий, староста в подмосковном имении Яковлевых Васильевское — 70, 72, 76
- Гофман и Кампе (Hoffmann und Campe), издательская и книготорговая фирма, основанная в Гамбурге в начале XIX в., издавала книги А. И. Герцена — 405, 406, 408, 462
- Гош (Hoch) Лазар (1768—1797), генерал, деятель франц. буржуазной революции конца XVIII в. — 151
- Грандисон, см. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
- Гренвилл (Grenville) Уильям Уиндхэм, лорд (1759—1834), министр иностранных дел Англии в 1791—1801 гг. — 29
- Гретхен, действ. лицо в «Фаусте» В. Гёте (см.)
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 243, 423, 451, 456, 470
— «Горе от ума» — 66, 110, 243, 423, 451, 456, 470; Софья Павловна — 66; Скалозуб — 328; Репетилов — 470; Тугоуховская — 456
- Грузинский Георгий Александрович (Егор Вахтангеевич), князь (162—1852), крупный помещик, известный жестокостью и самодурством — 241, 470
- «Губернские ведомости», название газет, выходивших в губернских центрах России с 1838 г., см.: «Владимирские губернские ведомости» и «Вятские губернские ведомости» — 304 — 306, 474
- Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859) — 123—125, 424, 456, 457
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — 327, 346, 477
— «Собор Парижской богоматери»; Квазимодо — 307
- Давид (библ.) — 131, 457
- Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — 134, 135, 451, 458
— «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные» — 134, 135, 458
— «Современная песня» — 69, 451; Брут — 69, 451; Фабриций — 69, 451
- Давыдов Петр Дмитриевич, городничий г. Орлова Вятской губ. в 1837 г. — 291, 293, 294, 473
- Далес (Dalès), франц. актер, дававший А. И. Герцену уроки декламации — 49, 50
- Данило, кучер И. А. Яковлева — 97
- Данте Алигьери (1265—1321) — 398, 470, 480
— «Божественная комедия» — 470, 480; «Ад» — 219, 398, 470, 480
- Дантон Жорж Жак (1759—1794) — 151
- Дарья, кормилица А. И. Герцена — 16, 20
- Дарья, горничная П. П. Медведевой — 340, 341
- Двигубский Иван Алексеевич (1771—1839), естествоиспытатель, проф. (с 1807 г.) и ректор (1826—1833) Моск. ун-та; А. И. Герцен слушал у него курсы анатомии и физиологии растений и истории ботаники — 117, 119—121
- Девьер, графская семья, родственная Яковлевым — 26, 420
- Девлет-Кильдеев, исправник Уржумского уезда Вятской губ. — 266, 471
- Де-Кандоль (De Candolle) Огюстен Пирам (1778—1841), швейцарский ботаник — 112, 456
— «Растительная орнанография» («Organographie végétale») — 112, 456
- Доку, ошибка Герцена, см. Эскус Виктор
- Демулен Люсиль, рожд. Дюплесси (1771—1794), жена Камилла Демулена — 59, 151, 450
- Денисов Федор Алексеевич (ум. 1830), проф. технологии Моск. ун-та с 1818 г. — 129
- Дипре, владелец вино-табачного магазина в Москве — 153

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 88, 453

— «К Степану Васильевичу Перфильеву на смерть князя Александра Ивановича Мещерского» — 453

Деруан (Derooin) Жанна, франц. публицистка — 381, 483

— «Альманах для женщин» («Almanach des femmes») — 381, 482

Дефо Даниель (1660 или 1661—1731)

— «Робинзон Крузо» — 360

Диана (миф.) — 332

Дибич Иван Иванович, граф (1785—1831), фельдмаршал, в 1831 г. главнокомандующий армией, посланной Николаем I для подавления польского восстания — 134, 167

Дидро Дени (1713—1784) — 87, 284

Дильтей Филипп Генрих (ум. 1781), первый проф. права Моск. ун-та (с 1756 г.) — 121

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт и баснописец — 100, 127, 304

Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович, граф (1790—1863), участник Отечественной войны 1812 г., член Союза Благоденствия, в 1817 г., заболев душевной болезнью, уединился в своем имении — 242

Долгорукий Яков Федорович, князь (1659—1720), госуд. деятель и дипломат, ближайший сотрудник Петра I — 330

Долгоруков (Долгорукий) Михаил Михайлович, князь (1794—1841), отставной капитан. был сослан в 1831 г. в Вятку, затем в Пермь и далее в Верхотурье — 241, 242

«Дон Жуан» — см. Байрон

Драшусов Александр Николаевич (1816—1890), студент Моск. ун-та (с 1831 г.), впоследствии видный астроном, преподаватель Моск. ун-та (1840—1855) — 150

Дульдинея, действ. лицо в романе «Дон Кихот» М. Сервантеса (см.)

«Думы» К. Ф. Рыльева (см.)

Дюпон де Лэр (Дюпон де-Лёр, Dupont de l'Eure) Жак Шарль (1767—1855), франц. бурж. поли-

тич. деятель, министр юстиции в 1830 г. — 134

Дюрам (Lambton Earl of Durham) Джон Джордж, граф (1792—1840), англ. политич. деятель, посол в России в 1835—1837 гг. — 124

Дюссо. владелец ресторана — 289

Е. И. — см. Герцен Е. И.

Евангелие — 55, 189, 288, 324, 346

«Евгений Онегин» — см. Пушкин А. С.
«Египетские ночи» — см. Пушкин А. С.

Екатерина II (1729—1796), императрица — 61, 98, 123, 133, 192, 206, 283, 289, 401, 402, 450, 451, 455, 458, 463, 473

Елена, горничная в доме кн. М. А. Хованской — 326

Елизавета Алексеевна (1779—1826), императрица, жена Александра I — 62

Елизавета Петровна (1709—1761), императрица — 67, 265, 450

Енохин Иван Васильевич (1791—1863), д-р медицины и хирургии, лейб-медик — 293, 294

Енфанте — см. Анфантен

Епифанов Василий, земский чиновник в селе Васильевское, Московской губ. в период детства и юности А. И. Герцена — 70, 75

Ерёма царь — см. Бонапарт Жером

Еремей, кучер Н. П. Огарева — 157

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), полководец и дипломат, герой Отечественной войны 1812 г., в 1816—1827 гг. главнокомандующий на Кавказе — 134, 176

Жан-Жак — см. Руссо

Жерар-де-Нерваль (Gérard de Nerval), настоящая фамилия Лабруни (1808—1855), франц. поэт — 385, 413, 483

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюеван) (1804—1876) — 59, 360 — «Консуэло» (Consuelo); Консуэло — 432

— «Орас» («Horace») — 360; Лавринье — 360

- Жорж (Georges), настоящее имя Маргерит Жозефин Веммер (1787—1867), франц. драматическая актриса — 49
- Жоффруа Сент-Илер (Geoffroy Saint-Hilaire) Этьен (1772—1844), франц. зоолог и анатом — 113
- Жуи (Jouy) Виктор Жозеф Этьен (1764—1846), франц. писатель и полит. деятель — 58
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 287, 294, 304, 457, 473
- «Бородинская годовщина» — 127, 457; Бенигсон — 127; Ланжерон — 127, 457
- «Журнал Министерства внутренних дел», изд. в Петербурге, с 1829 г. — 266
- З. — см. Снаксарев А. И.
- Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель, в 1831—1842 гг. возглавлял дирекцию московских государственных театров — 58, 228
- Закревский Арсений Андреевич (1786—1865), госуд. деятель, близкий к Александру I и Николаю I. В 1828—1831 гг. министр внутренних дел, в 1848—1859 гг. московский генерал-губернатор — 429
- Замятнин Александр Гаврилович (ум. 1868), жандармский штаб-офицер в Вятке в 1836—1838 гг. — 128, 129, 457
- Замятнина Прасковья Андреевна, рожд. кн. Волконская (ум. 1873), жена А. Г. Замятнина — 128, 129, 457
- Записки герцога Сен-Симона («Подлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства») — см. Сен-Симон Луи
- «Записки» Дениса Давыдова — см. Давыдов Д. В.
- «Записки» — «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» — см. Челлини Б.
- Захарьина Ксения (Аксинья) Ивановна, мать Н. А. Захарьиной — 319, 321, 322, 476
- Захарьина Наталья Александровна — см. Герцен П. А.
- Захарьины, дети А. А. Яковлева и К. И. Захарьиной, братья и сестры Н. А. Герцена: Петр, Павел, Наталья, Екатерина (в зам. Селина), Софья (в зам. Семичева), Анна (в зам. Орлова) — 109, 319
- Златовратский Петр Иванович, дьякон во Владимире, участвовавший в венчании А. И. Герцена — 374
- Зонненберг Карл Иванович (ум. после 1862), губернатор Н. П. Огарева, позднее жил в доме И. А. Яковлева — 77—81, 84, 86, 93—95, 104, 302, 334—336, 350, 422
- Зубков Василий Петрович (1799—1862), советник Московской палаты гражданского (в 1824 г.) и уголовного суда (1829—1837), впоследствии обер-прокурор сената — 171—175, 465, 466
- Иakov (библ.) — 82, 330, 452
- Ибаев Лев Константинович (род. ок. 1804), отставной поручик, арестованный в 1834 г. одновременно с А. И. Герценом. Был сослан в Пермь, освобожден в 1842 г. — 213, 214, 469
- Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584), царь — 224, 280
- Ивашев Василий Петрович (1797—1840), декабрист, до ареста ротмистр — 59—61, 450
- Ивашев Петр Никифорович (ум. 1838), генерал-майор, симбирский помещик, отец декабриста В. П. Ивашева — 59, 61, 421, 450
- Ивашев, незаконный сын П. Н. Ивашева — см. Головинский А. Е.
- Ивашева Камилла Петровна, рожд. Ле-Дантю (1808—1839), жена декабриста В. П. Ивашева — 59—61, 421, 450
- Ивашевы, семья П. Н. Ивашева — 59, 60, 61, 450
- Ивашевы, сестры декабриста В. П. Ивашева — Ел. П. Языкова (см.) и Ек. П. Хованская (1811—1855) — 60, 421
- Изида (миф.) — 387
- Измайлов Лавр Тимофеевич, полковник, городничий г. Покрова,

- Владимирской губ. — 219—222, 470
- Измайлов Лев Дмитриевич (ок. 1764—1834), генерал, крупный помещик Рязанской губ., известный истязаниями своих крепостных — 241, 242
- «Изувеченный», произведение Сантина (см.)
- Изяславичи, древнерусский княжеский род — 88
- Иисус Христос (библ.) — 39, 131, 280, 371 415, 447, 50, 461
- «Иллиада» — см. Гомер; перевод «Илиады» — см. Гнедич Н. И.
- Иловайский IV Иван Дмитриевич (1767 — после 1827), генерал — 15, 20, 441
- Импровизатор, действ. лицо в «Египетских почтах» А. С. Пушкина (см.)
- Иоани Грозный — см. Иван IV
- Иоани Предтеча (Креститель) (библ.) — 181
- Иов (библ.) — 98
- Иокиш, немец-гувернер в детстве А. И. Герцена — 51, 52
- Иосиф II (1741—1790), в 1765—80 гг. император «Священной Римской империи германской нации»; в 1780—1790 гг. король Венгрии — 81, 317
- Иохим, мастер-каретник — 81
- Искандер — см. Герцен А. И.
- «История Государства Российского», соч. Н. М. Карамзина (см.)
- «История французской революции», соч. М. А. Тьера (см.)
- Кабрит Андрей Федорович, пермский вице-губернатор в 1835 г. — 226
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк и юрист, либеральный публицист, с 1844 г. проф. Моск. ун-та — 123
- Калло (Callot) Жак (ок. 1592—1635), франц. художник, гравёр и офортист — 201
- Кало Карл Иванович (ум. 1842), камердинер И. А. Яковлева — 15, 24, 25, 28, 32, 46, 47
- «Калужские вечера» — два сборника сочинений различных писателей, изданы в 1825 г. А. А. Писаревым (см.)
- «Каменный гость» — см. Пушкин А. С.
- Каменский Павел Павлович (1812—1870), студент Моск. ун-та, участник «маловской истории» — 121, 456
- Канкрин Егор Францевич (1774—1845), генерал-интендант, реакционный госуд. деятель, в 1823—1844 г. министр финансов — 236, 269, 470
- Кант Иммануил (1724—1804) — 113
- Капитан Копейкин, действ. лицо «Повести о капитане Копейкине», см. «Мертвые души» Н. В. Гоголя
- Капцевич Петр Михайлович (1772—1840), генерал, участник войн с Наполеоном, в 1822—1828 гг. — генерал-губернатор Западной Сибири — 255, 256
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 83, 88, 113, 304, 423, 474
- «История Государства Российского» — 88, 113, 304, 474
- «Цветок на гроб моего Агатона»; Агатон — 83
- Карель (Cargel) Арман (1800—1836), франц. публицист, один из основателей газеты «National» — 134, 173
- Карл X (1757 — 1836), граф д'Артуа до вступления на престол, франц. король в 1824—1830 гг. — 133, 453
- Карл Моор, действ. лицо в драме «Разбойники» Ф. Шиллера (см.)
- Карье (Carrier) Жан Батист (1756—1794), комиссар франц. Конвента в Нанте в 1793—1794 гг. — 236, 429
- Касты (Casti) Джованни Баттиста (1724 — 1803), итал. поэт и сатирик, в 1778 г. посетил Россию — 87
- Катави Михаил Иванович («колчевский»), полицмейстер в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — 234, 257, 272, 470, 472
- Катехизис Филарета, «Начатки учения христианского или краткая священная история и краткий катехизис» — см. Филарет
- Кауниц-Ритберг Венцель Антон (1711—1794), австрийский госуд. деятель и дипломат — 317
- Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк и критик.

проф. Моск. ун-та с 1810 г. и ректор — с 1837 г. — 123, 126

Кашенцов Андрей Степанович, камердинер Л. А. и И. А. Яковлевых, впоследствии проживал в подмосковном имении Яковлевых Покровское—39, 40

Квазимодо, действ. лицо в романе «Собор Парижской богородицы» В. Гюго (см.)

Кенсона, граф, франц. эмигрант-монархист, состоял на русской военной службе — 23

Кетчер Николай Христофорович (ок. 1806—1886), врач и поэт-переводчик. Друг юности А. И. Герцена, участник его кружков в 1830-х и 1840-х гг.—137, 146, 153—155, 158, 359, 360, 362—369, 425, 433, 439, 460, 475

«Кинжал», стихотв. А. С. Пушкина (см.)

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), публицист, философ-идеалист, один из основателей славянофильства — 145

Кирилл и Мефодий, братья (IX в.), византийские монахи, славянские просветители — 266

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), министр государственных имуществ (1837—1856) и посол в Париже (1856—1862) — 270, 271, 472

Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), реакционный госуд. деятель, близкий к Николаю I, в 1842—1855 гг. министр путей сообщения — 37, 236, 241, 250, 429, 471

Ключарев Григорий Иванович, московский чиновник, вел денежные дела И. А. Яковлева, а после отъезда А. И. Герцена за границу — дела последнего — 92, 453

Ключарев Павел Сергеевич, дьякон, давал уроки Н. А. Захарьиной в доме кн. М. А. Хованской — 323, 324, 326, 329, 354, 476

Ключарева Татьяна Ивановна, попадья, приживалка кн. М. А. Хованской, мать П. С. Ключарева — 323, 324, 476

Княжна — см. Мещерская А. Б.

Княжнин Яков Борисович (1742—1791), поэт и драматург — 121

Ковалевский Осип Михайлович (1800—1878), один из основоположников русского монголоведения, проф. и ректор Казанского ун-та — 347

«Кодекс Наполеона» — Гражданский кодекс Франции, выработанный при участии Наполеона I и утвержденный в 1804 г.—161, 461

Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт и переводчик — 321, 366, 476

— «Чернец» — 321, 476; Чернец — 321

— «Безумная» — 366

Кок (Коск) Шарль Поль де (1794—1871), франц. буржуазный писатель — 152

Кокошкин Сергей Александрович (1785—1861), флигель-адъютант Николая I, был черниговским, полтавским и харьковским генерал-губернатором — 429

Кольрейф Юлий Павлович (Колрейф Юлиус) (1813—1844), студент Моск. ун-та, участник Сунгуровского дела, был послан рядовым в Оренбургский корпус, в 1842 г. вернулся в Москву — 136, 142, 147, 426, 454, 459, 460

Комаровский Евграф Федорович, граф (1769—1843), генерал, в 1816—1828 гг. командир корпуса внутренней стражи — 57

Конарский Шимон (1808—1839), польский революционный деятель, участник восстания 1830—1831 гг. — 249, 471

Констан Бенжамен (1767—1830), франц. буржуазный политический деятель, публицист и писатель — 134, 161

Константин Павлович («цесаревич») (1779—1834), великий князь — 57, 63, 79, 294, 422

Консуло, героиня одноименного романа Жорж Санд (см.)

Консуло, прозвище Н. А. Огаревой (см.)

Корнель Пьер (1606—1684) — 172, 466

— «Гораций» («Норасе») — 172, 466

Корнилов Александр Алексеевич (1801—1856), вятский губернатор в 1837—1838 гг. — 267, 296, 297, 299, 304, 431, 472, 473

- Корнилова Софья Дмитриевна, жена А. А. Корнилова — 296
- Корсаков А. А., драматург и переводчик начала XIX в. — 457
- «Марфа и Угар, или Лакейская война, комедия в одном действии, переделанная с французского из сочинений Дюбуа» — 457; Марфа — 128; Угар — 128
- Корсини, старинная флорентийская герцогская фамилия. Во дворце Корсини в Риме находится большое собрание произведений итальянской живописи — 386, 414, 479, 483
- Корф Николай Алексеевич, барон, офицер, которым в юности увлекалась Т. П. Пассек — 69
- Корчевская кузина — см. Пассек Т. П.
- Костенецкий Яков Иванович (1811—1885), студент Моск. ун-та, участник Сунгуровского дела. Был послан рядовым на Кавказ, в 1839 г. произведен в офицеры. С 1842 г. поселился в деревне — 107, 136, 147, 426, 454, 459, 460
- Костенька, см. Наталья Константиновна
- Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796), поэт и переводчик — 120
- Костюшко Тадеуш (Фаддей) (1746—1817), руководитель польского национально-освободительного движения 1794 г. — 134, 229
- Котельницкий Василий Михайлович (1770—1844), проф. (1810—1835) и декан медицинского факультета Моск. ун-та — 120
- Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих Фердинанд (1761—1819), нем. реакционный писатель — 47
- Кочубей Мария, см. поэму «Полтава» А. С. Пушкина
- Косут Лайош (1802—1894) — главный организатор борьбы венгерского народа во время революции 1848—1849 гг. — 126
- Крейц Циприан Антонович (1777—1850), генерал, принимал участие в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. — 228
- Критский Василий Иванович (1810—1831), студент Моск. ун-та, участник тайного общества, арестован в 1827 г. и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер — 107, 136, 426, 454, 455, 459
- Критский Михаил Иванович (1809—1836), студент Моск. ун-та, участник тайного общества, арестован в 1827 г. и заключен в тюрьму Соловецкого монастыря; в 1834 г. послан рядовым на Кавказ, где был убит — 107, 136, 426, 454, 455, 459
- Критский Петр Иванович (1806 — после 1855), чиновник, участник тайного общества, арестован в 1827 г., шесть лет провел в ссылке, затем был переведен в солдаты. В 1855 г. вернулся в Москву — 107, 136, 426, 454, 455, 459
- Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — 88
- «К сивухе», стихотв. А. И. Полежаева (см.)
- Кузьма, слуга Н. М. Сатина — 156, 460
- Кулаков Григорий Иванович, советник губернского правления в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — 259
- Купер Фенимор (1789—1851) — 478
- «Следопыт» («Pathfinder») — 478; Следопыт (Патфайндер) — 360
- «Последний из Могижан» — 360
- Курбановский Николай, вятский протоиерей, посланный миссионером в Яранский уезд — 265, 266, 471
- Курс Пуансо — «Начала статистики» — см. Пуансо Л.
- Курута Иван Эммануилович (1780—1853), владимирский губернатор в 1838—1842 гг., впоследствии сенатор — 274, 275, 303, 370, 373, 375
- Курута Юлия Федоровна, рожд. Капель (ум. 1874), жена И. Э. Курута — 375, 376, 479
- Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — 18
- Кучин Алексей Петрович (ок. 1808 — после 1839), уланский офицер, брат Т. П. Пассек — 34, 35, 67, 68, 449, 451
- Кучин Петр Иванович, помещик, отец Т. П. Пассек — 67, 68, 451

- Кучина Елизавета Михайловна, рожд. Тупшева, вторая жена П. И. Кучина (мачеха Т. П. Пассек) — 67, 68, 451
- Кучина Наталья Петровна, рожд. Яковлева (ум. 1822), мать Т. П. Пассек и двоюродная сестра А. И. Герцена — 66, 451
- Кушников Сергей Сергеевич (1765—1839), сенатор, член комиссии по постройке храма по проекту Витберга, позднее следователь по его делу. В 1803 г. губернатор Петербурга — 26, 283, 285
- Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832) — 112, 207, 456, 469
- «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара» («Discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal») — 112, 207, 456, 469
- Лабзин Александр Федорович (1766—1825), писатель-мистик, с 1799 г. конференц-секретарь, а с 1818 г. — вице-президент Петербургской Академии художеств — 57, 58, 284, 473
- Лазарев Николай Емельянович, в 1837 г. исправник в г. Яранске, Вятской губ.; в 1846 г. — чиновник особых поручений при министре внутренних дел Перовском — 298—300
- Лакордер (Lacordaire) Жан Батист Анри (1802—1861), франц. католический проповедник, сторонник республики в 1848 г. — 130
- Лаланд Жозеф Жером Франсэ (1732—1807), франц. астроном и математик — 113
- Ламарк Максимилиан, граф (1770—1832), франц. военный и полит. деятель, с 1828 г. член палаты депутатов, осуждал политику Луи-Филиппа — 134, 173
- Ланжерон — см. «Бородинская годовщина» В. А. Жуковского
- Ланкло Нинон (1620—1705), франц. куртизанка, хозяйка литературного салона — 387, 416
- Ларавинье, действ. лицо в романе «Орас» Ж. Санд (см.)
- Ларина, действ. лицо в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (см.)
- Ларошфуко (De la Rochefoucauld) Франсуа де, герцог (1613—1680), франц. писатель-моралист — 100
- Лас-Каз (Las Cases) Огюст Эмануэль, граф (1766—1842), приближенный и биограф Наполеона — «Воспоминания об острове св. Елены» («Mémorial de Sainte-Hélène») — 104
- Лаура, персонаж в драме «Каменный гость» А. С. Пушкина (см.)
- Лафайет (La Fayette) Мари Жозеф Поль, маркиз (1757—1834) деятель франц. буржуазной революции конца XVIII в. Во время Июльской революции 1830 г. занимал либерально-монархические позиции — 134, 161
- Лафонтен (Lafontaine) Август (1758—1831), нем. писатель, автор sentimentальных романов — 47
- Лахтин Алексей Козьмич (1808—1838), университетский товарищ А. И. Герцена, член его кружка. В 1835 г. был обвинен в причастности к делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» и сослан в Саратовскую губ. — 213, 215, 217
- Лахтина, жена А. К. Лахтина — 215, 217
- Лашкевич, генерал — 145
- Лебра (Lebras) Огюст (1811—1832), франц. поэт и драматург, покончил самоубийством совместно со своим другом поэтом В. Эскусом — 151
- Лев, епископ Катанский (VIII в.) — 99
- Левашева Екатерина Гавриловна, рожд. Решетова (ум. 1839), хозяйка салона в Москве, друг многих русских писателей — 366, 367
- Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст (1808—1874), франц. полит. деятель, мелкобуржуазный республиканец, министр внутр. дел во Временном правительстве 1848 г.; после поражения июньского восстания 1848 г. был выведен из правительства, в 1849 г. бежал в Англию — 129, 176, 465

- Леопольд II (1747—1792), с 1790 г. император «Священной Римской империи германской нации» — 317
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 123, 426, 478 — «Завещание» — 359, 478
- Леру (Leroux) Пьер (1797—1871), франц. мелкобуржуазный социалист-утопист — 288
- Лесовский Степан Иванович (1782—1839), в 1833—1834 гг. начальник корпуса жандармов Московского округа — 105, 146, 460
- Лессепс Жан Батист Бартеlemi, барон (1766—1834), франц. дипломат, назначенный Наполеоном I в 1812 г. обер-полицмейстером Москвы — 20
- Лешинский Станислав (1677—1766), польский король в 1704—1709 гг., впоследствии жил во Франции, где славился роскошью своего дома — 111
- Ливен Карл Андреевич, князь (1767—1844), министр народного просвещения в 1828—1833 гг. — 165, 166, 461
- Липранди Иван Петрович (1790—1880), полицейский агент и провокатор — 204
- Лист Ференц (Франц) (1811—1886) — 125, 126, 457
- Лобанов, купец — 285
- Ловецкий Алексей Леонтьевич (1787—1840), врач, натуралист, с 1826 г. проф. Моск. отд. Медико-хирургической академии и с 1834 г. Моск. ун-та; А. И. Герцен слушал у него курсы сельского хозяйства и минералогии — 127, 128
- Ловлас, действ. лицо в романе «Кларисса Гарлоу» Ричардсона (см.)
- Лодер Христиан Иванович (1753—1832), врач-анатом, лейб-медик, в 1818—1831 гг. преподавал в Моск. ун-те — 120
- Лопухин, владелец имения в Московской губ. — 72
- Лопухина Анна Петровна, в замуж. Гагарина, княгиня (1777—1805), фаворитка Павла I — 62
- Луве де Кувре (Louveteau de Couvray) Жан Батист (1760—1797), франц. писатель и полит. деятель, автор серии романов о Фоблазе — 87
- Лужин Иван Дмитриевич, моск. обер-полицмейстер в 1845—1854 гг., впоследствии губернатор в разных губерниях — 189, 467
- Луи-Филипп Орлеанский (1773—1850), франц. король в 1830—1848 гг. — 133, 247—248, 458
- Лука, евангелист (библ.) — 230
- Львов Алексей Федорович (1798—1870), композитор, написал несколько опер, не пользовавшихся успехом. В молодости служил в III отделении адъютантом Бенкендорфа — 286
- Львов-Львицкий (Левицкий) Сергей Львович («племянник») (1819—1898), сын Л. А. Яковлева, двоюродный брат А. И. Герцена, чиновник, впоследствии известный фотограф — 316, 477
- Людовик XIV (1638—1715), франц. король с 1643 г. — 207
- Людовик XVI (1754—1793), франц. король с 1774 г. — 64, 79, 151
- Людовик XVIII (1755—1824), франц. король с 1814 г. — 23
- Людовик-Наполеон — см. Наполеон III
- Людовик-Филипп — см. Луи-Филипп
- М. (маменька) — см. Гаг Л. И.
- Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), реакционный чиновник, мистик, попечитель Казанского учебного округа и ун-та в 1820—1826 гг. — 283
- «Мадонна», картина А. Ван-Дейка (см.)
- Мазепа — см. поэму «Полтава» А. С. Пушкина
- Макашина Марья Степановна, компаньонка кн. М. А. Хованской — 317—320, 323, 325, 355, 357, 358, 475
- Макбет леди, действ. лицо в трагедии «Макбет» В. Шекспира (см.)
- Максимович Михаил Александрович (1804—1873), ботаник, историк и фольклорист. В 1833 г. проф. естественных наук Моск. ун-та. Герцен слушал у него курсы ботаники, а также общался

- с ним на почве научных и литературных интересов — 153
- Малов Михаил Яковлевич (1790—1849), проф. права в Моск. ун-те в 1828—1831 гг.—417, 418, 424, 456
- Мамонов — см. Дмитриев-Мамонов М. А.
- Манюэль (Manuel) Жак Антуан (1775—1827), представитель либеральной оппозиции во Франции в период реставрации Бурбонов—134
- Марат (Mara, Marat) Жан Поль (1743—1793)—360, 478
- Мариво (Marivaux) Пьер Карле де Шамблен (1688—1763), франц. комедиограф и романист—99
- Мария (Мадонна, Богородица) (библ.)—387, 388
- Мария Антуанетта (1755—1793), франц. королева, жена Людовика XVI—23, 448
- Мария Николаевна (1819—1876), великая княгиня, дочь Николая I—57
- Мария Федоровна (1759—1828), императрица, жена Павла I—62, 67
- Марлинский, псевдоним А. А. Бестужева (см.)
- Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799), франц. писатель—99
- Марс, настоящее имя Анна Буте (1779—1847), франц. драматическая актриса—49
- Марсо (Marceau) Франсуа Северен (1769—1796), генерал, деятель франц. буржуазной революции конца XVIII в.—151
- Марфа, действ. лицо в комедии «Марфа и Угар, или Лакейская война» А. А. Корсакова (см.)
- Масальский Петр Григорьевич (ум. 1839), близкий друг Сперанского (см.)—87
- Матвей Савельевич (ок. 1821—1843), камердинер А. И. Герцена с декабря 1835 г.—301, 302, 341, 349, 361, 365, 366, 369, 374—377, 386
- Матерн Филипп, владеец ресторана в Москве—153
- Матфий, евангелист (библ.)—230
- Машковцев Егор Петрович (1812—1855), товарищ А. И. Герцена по Моск. ун-ту, арестованный в 1834 г. по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни». В 1835 г. приехал в Вятку, где Герцен встречался с ним и его семьей—203, 468
- Машковцев, из семьи вятских купцов—258
- Медведев Петр Алексеевич (ум. 1836), ассессор губернской строительной комиссии в Вятке, муж П. П. Медведевой—337—342
- Медведева Прасковья Петровна (ум. 1860), вятская приятельница А. И. Герцена—288, 336—346, 348—350, 432, 473, 475, 477
- Мелхиседек (Сокольников) (1773—1853), архимандрит Симонова монастыря в Москве—143, 460
- Мемнон (миф.)—128
- Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), поэт, критик и переводчик, проф. русской словесности в Моск. ун-те с 1807 г.—120
- Мёрос, действ. лицо баллады «Порука» Ф. Шиллера (см.)
- Матью (Метью, Mathew), Теобальд (1798—1873), ирландский католический священник, основал в 1833 г. общество трезвости—37, 449
- Мещерская Анна Борисовна («княжна») (1738—1827), сестра Н. Б. Яковлевой, бабушки А. И. Герцена. В ее доме воспитывались И. А. Яковлев—16, 30, 101, 311—315, 317, 448
- Мещерский Александр Иванович, князь (1730—1779), сановник, родственник бабушки А. И. Герцена, Н. Б. Яковлевой, рожд. Мещерской—88
- Мещерский, князь, попечитель московской больницы — 193, 427
- Микеланджело Буонарроти (1475—1564)—280, 387, 415
- «Страшный суд»—280, 387, 415
- Миллер Федор Иванович, полицмейстер Пречистенской части, арестовавший А. И. Герцена в 1834 г.—180—184, 188
- Милорадович Михаил Андреевич, граф (1771—1825), генерал, участник походов Суворова и войн с Наполеоном, с 1818 г. петербургский генерал-губернатор—22, 57, 254, 255, 282

- Минерва (миф.)—149, 460
- Миних (Мюних, Münnich) Бурхардт Кристоф (Христофор Антонович) (1683—1767), генерал-фельдмаршал, на русской службе с 1721 г. В 1742 г. был послан в Пелым, вернулся в Петербург в 1762 г.—248
- Миницкий Александр Осипович, офицер, в начале 1838 г. сватался к Н. А. Захарьиной —355, 478
- «Миньона», стихотв. В. Гёте (см.)
- Миньона, действ. лицо в романе «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» В. Гёте (см.)
- Миньона, прозвище, данное А. И. Герценом и его друзьями молодой артистке из цирковой труппы Прейса —157, 158
- Мирович Василий Яковлевич (1740—1764), подпоручик, казненный за попытку произвести дворцовый переворот в пользу Иоанна VI Антоновича, заключенного в Шлиссельбургской крепости—61, 401, 402, 450
- «Мироздание», поэма В. И. Соколовского (см.)
- Митчерлич (Mitscherlich) Эйльхард (1794—1863), нем. химик — 128
- Михаил Павлович (1798—1849), великий князь—214
- Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал, военный историк—18, 448
- «Описание Отечественной войны 1812 года»—18, 448
- Мицкевич Адам (1798—1855)—347
- Моген (Mauguin) Франсуа (1785—1854), франц. политический деятель, член палаты депутатов с 1827 г., находился в оппозиции к Луи-Филиппу—173
- Мордвинов Александр Николаевич (1792—1869), директор канцелярии III отделения, непосредственный помощник Бенкендорфа—204
- Мордвинов Николай Семенович, граф (1754—1845), госуд. и общественный деятель, экономист — 255
- Мортье (Mortier) Эдуар Адольф, герцог Тревизский (1768—1835), франц. маршал, губернатор Москвы во время захвата ее Наполеоном — 17—20
- «Московские ведомости», газета, основанная в 1756 г. Моск. ун-том—30, 93, 97, 306, 450, 452, 457, 458
- «Московский телеграф», двухнедельный научный и литературно-критический журнал, изд. в 1825—1834 гг. Редактор Н. А. Полевой—163, 461
- Муравьев Михаил Николаевич («Вешатель») (1796—1866), реакционный госуд. деятель, в молодости примыкал к Союзу Благодетельства, в декабре 1825 г. перешел на сторону правительства. Участвовал в подавлении польских восстаний в 1830—1831 и 1863 гг.—229, 230, 429
- Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809—1881), в 1847—1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири —256
- Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826)—165
- «Мысли герцога де ла Рошфуко»—«Нравственные рассуждения де ла Рошфуко», перев. с франц. Д. И. Пименова (см.)
- Мюних — см. Миних
- Мягков Гавриил Иванович, преподаватель военных наук в Моск. ун-те — 123, 456
- Найденов Гаврила Семенович, староста в имении И. А. Яковлева во Владимирской губ.—273—276, 303, 472
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821)—15, 18, 19, 29, 53, 71, 106, 113, 133, 151, 161, 278, 280, 281, 295, 328, 399, 461
- Наполеон III Бонапарт (Людовик-Наполеон) (1808—1873)—303
- Нарбон (Нарбонн-Лара, Narbonne-Lara), Луи де, граф (1755—1813), франц. политич. деятель и дипломат, в 1810—1812 гг. адъютант Наполеона I—19
- Насакина Наталья Федоровна—см. Хованская Н. Ф.
- Насакины — семья Насакина Василия Абрамовича (ок. 1779—1843),

- полковника, первым браком был женат на Н. Ф. Хованской, после ее смерти поддерживал дружеские отношения с Н. М. А. Хованской—354, 433
- Наталья Константиновна («Костенька»), няня А. И. Герцена, впоследствии няня Н. А. Захарьиной в доме кн. М. А. Хованской—17, 320, 363—365, 367
- Неаполитанский король — Фердинанд II (1810—1859)—63
- Небаба Дмитрий Васильевич (ок. 1806—1839), учитель математики во владимирской гимназии. Совместно с Герценом в 1838—1839 гг. редактировал «Прибавления» к «Владимирским губернским ведомостям»—303, 306, 307, 474
- Ней (Neu) Мишель (1769—1815), франц. маршал, сподвижник Наполеона I—19
- Неккер (Necker) Жак (1732—1804), франц. полит. деятель, стоял во главе финансового ведомства при Людовике XVI—92
- «Несторовская летопись» («Повесть временных лет»), памятник древнерусской литературы начала XII в., приписывается Нестору—161, 461
- Нике Поль, содержатель известного кабачка в Париже—385
- Никита Андреевич, камердинер И. А. Яковлева—71, 86, 91, 93, 96, 97, 103, 180
- Николай I (1796—1855), император—56—63, 79, 107, 108, 118, 123, 124, 129—131, 134, 135, 139, 144, 147, 148, 161, 165—168, 175, 191, 193—195, 204, 205, 210, 214, 215, 229, 230, 233, 235, 241, 254, 277, 280, 284—287, 293, 294, 304, 330, 401, 421, 450, 451, 454, 455, 456, 459, 463, 464, 471, 472, 474
- Николай Хлыновский, святой православной церкви—291
- Новосильцев Владимир Дмитриевич (1800—1825), флигель-адъютант Александра I—59, 450
- «Нулин» — «Граф Нулин» А. С. Пушкина (см.)
- О., князь—79
- Оболенская, княгиня, мать Андрея Оболенского—117
- Оболенский Андрей Александрович, князь (1814—после 1851), товарищ Герцена по Моск. ун-ту, участник «маловской истории»—117, 121, 424
- Оболенский Андрей Петрович, князь (1769—1852), попечитель Моск. учебного округа в 1817—1825 гг.—119, 456
- Оболенский Евгений Петрович, князь (1796—1865), декабрист—60
- Оболенский Иван Афанасьевич (1805—1849), товарищ Герцена по Моск. ун-ту, арестованный вместе с ним в 1834 г.—146, 208, 213, 215, 217, 227, 394, 428, 460, 468, 469, 470
- Огарев Николай Платонович («Ник») (1813—1877)—7, 12, 13, 77—85, 93, 109, 115, 136, 137, 145, 146, 153, 156—161, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 187, 204, 207, 208, 213, 215, 217, 288, 332, 363, 378, 391—393, 422, 423, 425, 427, 432, 433, 438, 440, 441, 446—448, 452—454, 459, 460, 461, 465, 466, 468, 469, 473
- «Искандеру»—12, 447
- «Старый дом»—85, 453
- «Юмор»—13, 74, 78, 79, 105, 422, 448, 452, 454
- Огарев Платон Богданович (ум. 1838), помещик, отец Н. П. Огарева—78, 82, 137, 157, 158, 215, 452, 466
- Огарева (ум. 1825), бабушка Н. П. Огарева—78
- Огарева Елизавета Ивановна, рожд. Баскакова (1784—1815), мать Н. П. Огарева—78
- Огарева Наталья Алексеевна, рожд. Тучкова («Консуло») (1829—1913), вторая жена Н. П. Огарева—432
- «Ода на свободу», см. стихотв.
- «Вольность» А. С. Пушкина
- «О демократии в Америке», книга А. Токвиля (см.)
- «Одиссея» — см. Гомер
- «О женской красоте и прелести» — «О сущности красоты и прелести», перев. с франц. Д. И. Пименова (см.)
- Озирис (миф.) — 128
- Окен Лоренц (1779—1851), нем. натурфилософ и естествоиспытатель, идеалист — 113

- Ольговичи, князья в Древней Руси XII—XIII вв., потомки Олега Святославича — 88
- «Описание Отечественной войны 1812 года», сочинение А. И. Михайловского-Данилевского (см.)
- «Описание 1812 года», книга Ж. Фена (см.)
- Оранский Николай Диомидович, секретарь канцелярии Моск. губернатора, был секретарем обеих следственных комиссий по делу Герцена, Огарева и др. в 1834 г. — 191, 206, 210, 213 — 215
- «Орас», роман Ж. Санд (см.)
- Орлов Алексей Григорьевич, граф (1737—1807), госуд. деятель, участник дворцового переворота 1762 г., приведшего к власти Екатерину II — 283
- Орлов Алексей Федорович, граф (1786—1861), реакционный госуд. и военный деятель, дипломат. В 1825 г. активно участвовал в подавлении восстания декабристов; с 1844 г. шеф жандармов и начальник III отделения — 175, 243, 244, 269, 466
- Орлов Михаил Федорович (1788—1842), декабрист, до ареста генерал-майор, участник походов 1805—1807 гг. и Отечественной войны 1812 г. — 92, 171, 175—178, 427, 453, 465—467
- «О государственном кредите» — 453
- Орлов Сергей Васильевич, исправник в Вятке во время ссылки Герцена — 234, 470
- Орлов, студент Моск. ун-та, участник «маловской истории» — 121, 424
- Орлова Екатерина Николаевна, рожд. Раевская (1797—1885), жена М. Ф. Орлова — 177
- Орлова-Чесменская Анна Алексеевна, графиня (1785—1848), владелица многомиллионного состояния, близкая ко двору Александра I и Николая I — 92, 283, 453
- Остроумов Иоанн, священник, венчавший Герцена во Владимире — 370, 371, 373—375, 479
- «Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, изд. в Петербурге в 1839—1884 гг.; в 1840—1845 гг. фактический руководитель В. Т. Белинский — 10, 289, 306, 446, 469, 473
- Офелия, действ. лицо в трагедии «Гамлет» В. Шекспира (см.)
- Офрен (Aufresne), настоящая фамилия Риваль Жан (1720—1806), франц. актер, с 1785 г. поселившийся в России — 49
- Павел I (1754—1801), император — 29, 30, 61, 62, 98, 138, 189, 267, 268, 401, 402, 472
- Павел, апостол (библ.) — 288
- Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), проф. физики, минералогии и сельского хозяйства. Преподавал в Моск. ун-те с 1820 г.; А. И. Герцен слушал у него курс физики — 122
- Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель и журналист — 243, 244, 429
- Паллас Петр Симон (1741—1811), естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук с 1767 г., возглавлял ряд экспедиций в Сибирь, Поволжье, на Урал и Сев. Кавказ — 24
- Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865), англ. реакционный госуд. деятель, в 1852—1855 гг. министр внутренних дел, премьер-министр в 1855—1865 гг. — 399
- Панаев Владимир Иванович (1792—1859), поэт, автор сентиментальных идиллий — 99
- Панин Александр Никитич, граф (1791—1850), чиновник особых поручений, прикомандированный в 1830—1833 гг. к попечителю Моск. учебного округа С. М. Голицыну; в 1834 г. товарищ попечителя Харьковского ун-та — 121, 122, 141, 459
- «Параша Сибирячка», драма Н. А. Полевого (см.)
- Парфений (Васильев-Чертков Павел Васильевич) (1782—1853), в 1821—1850 гг. владимирский архиепископ — 370—376
- Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), историк и этнограф, уни-

- верситетский товарищ и член кружка А. И. Герцена — 105, 136—138, 140—144, 158, 159, 161, 171, 172, 424, 425, 459
- «Описание царства Московского» — 143, 460
- «О состоянии Москвы и Московской губернии в царствование Петра Великого» — 143, 460
- Пассек Василий Васильевич (1772—1831), отец В. В. и Д. В. Пассеков. В молодости был сослан в Сибирь, откуда вернулся в 1825 г. — 136, 138—140, 459
- Пассек Диомид Васильевич (1807—1845), генерал-майор, в 1829 г. окончил Моск. ун-т, в 1832 г. Ин-т инженеров путей сообщения и через несколько лет — военную академию. В 1841 г. был назначен в Кавказскую армию, где убит в стычке с горцами — 140, 144, 459
- Пассек Евгений Васильевич (1804—1842), старший из братьев Пассеков, окончил юридическое отделение Петербургского ун-та, служил в министерстве внутренних дел — 140, 144, 459, 460
- Пассек Екатерина Ивановна, рожд. Вилефельд, вторая жена Василия Васильевича Пассека, мать В. В. и Д. В. Пассеков — 138, 140, 144, 171, 172, 459
- Пассек Зинаида Васильевна, вторая сестра Вад. Вас. Пассека — 138—140, 459
- Пассек Леонид Васильевич, второй по старшинству из братьев Пассеков, морской офицер — 140, 459
- Пассек Людмила Васильевна («Гаетана»), третья сестра Вад. Вас. Пассека — 331, 332, 476
- Пассек Ольга Васильевна, старшая сестра Вад. Вас. Пассека — 138—140, 459
- Пассек Петр Богданович (1736—1804), сановник, дядя и опекун Вас. Вас. Пассека — 138, 459
- Пассек Помпей Васильевич (р. 1817), брат Вад. Вас. Пассека, в 1839 г. кончил Моск. ун-т кандидатом математического отделения — 140, 459
- Пассек Татьяна Петровна, рожд. Кучина («корчевская кузина», «корчевская племянница») (1810—1889), писательница, родственница и друг детства и юности А. И. Герцена, жена Вад. Вас. Пассека — 56, 65—70, 141—143, 318, 327, 328, 330, 451, 460
- Патфайндер (Слодопыт), герой романа «Слодопыт» Ф. Купера (см.)
- Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790—1873), хирург, проф. и ректор Вильнюсского ун-та (1826—1830), противник польского революционно-освободительного движения — 204
- Пенн (Пен) Уильям (1644—1718), англ. полит. деятель, принадлежал к секте квакеров, основатель колонии Пенсильвания в США — 288
- Перевошиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880), астроном и математик, академик, проф. (с 1826) и ректор (1848—1851) Моск. ун-та. А. И. Герцен слушал у него курс сферической астрономии — 149
- Перекусихина Мария Саввишна (1739—1824), камер-юнгфера и наперсница Екатерины II — 37
- Перовский Лев Алексеевич (1792—1856), госуд. деятель, в 1841—1852 гг. министр внутренних дел — 300
- Пестель Иван Борисович (1765—1843), генерал-губернатор Восточной Сибири в 1806—1819 гг., отец П. И. Пестеля — 254—256, 430
- Пестель Павел Иванович (1793—1826) — 61, 117, 130, 165, 254, 401, 430
- Петр I (1672—1725), император — 80, 106, 111, 124, 125, 133, 207, 252, 286, 469
- Петр III (1728—1762), император — 133, 138, 192, 283, 467
- Петр Федорович, камердинер А. И. Герцена со студенческих лет до сентября 1837 г. — 116, 155, 156, 158, 224, 244, 470
- Петр, слуга П. П. Медведевой — 343

- Петрашевский (Бутаевич) Михаил Васильевич (1821—1866) — 144
- Петровская Клеопатра Степановна, жительница г. Перми, сестра А. С. Петровского, находилась в близких отношениях с губернатором Тюфяевым — 240
- Петровский Александр Степанович, чиновник в г. Перми, подвергшийся гонениям со стороны губернатора Тюфяева — 240, 293, 343, 473
- Пий VII (1742—1823), папа римский с 1800 г. — 62, 451
- Пий IX (1792—1878), папа римский с 1846 г. — 164, 388, 416
- Пико дела Мирандола (Пик дела Мирандола, Pico della Mirandola) Джованни (1463—1494), итал. философ, ученый и политик — 126
- Пименов Дмитрий Иванович, литератор — 99—101, 453
- «Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко» (перевод книги «Les pensées, maximes et réflexions morales de François VI, duc de la Rochefoucauld») — 100, 453
- «О сущности красоты и прелести» (перевод с франц.) — 100, 453
- Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — 123
- Писарев Александр Александрович (1780—1848), писатель, попечитель Моск. учебного округа в 1825—1830 гг. — 107, 125 — «Калужские вечера» — 107
- Платон, крепостной И. А. Яковлева — 16, 17
- Плаутин Сергей Федорович (1798—1881), муж сестры Н. П. Огарева Анны Платоновны, помещик, полковник в отставке (с 1850 г.) — 158
- Плутарх (ок. 46—126) — 73, 100, 453
- «Сравнительные жизнеописания» — 100, 453
- Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, публицист, писатель — 288, 473
- «Марфа, посадница новгородская» — 288, 473
- Поза, маркиз, действ. лицо в драме «Дон Карлос» Ф. Шиллера (см.)
- Покровский Александр, священник, посланный митрополитом Филаретом в Вятскую губ. миссионером — 265, 266, 471
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867), журналист, брат Н. А. Полевого и его сотрудник в «Московском телеграфе» — 163
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журналист и историк — 149, 153, 163, 164, 304, 447, 461
- «Параша Сибирячка» — 164, 461
- Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт — 107, 142, 147, 153, 165—168, 426, 438, 447, 448, 454, 456, 459, 461, 462, 463, 468
- «К сивухе» — 168
- «Провидение» — 167, 462
- «Сашка» — 165, 166
- Поль Петр Иванович, жандармский полковник в Казани в 1835 г. — 224
- Полье Варвара Петровна, рожд. Шаховская, графиня (1796—1870), богатая помещица — 239
- «Полярная звезда», литературные и общественно-политические сборники, издававшиеся Герценом в Лондоне в 1855—1869 гг., с 1856 г. совместно с Огаревым — 9, 62, 421, 433, 438, 439, 451, 463
- Помпадур маркиза де, настоящее имя Жанна Антуанетта Пуассон (1721—1764), фаворитка франц. короля Людовика XV — 37
- Понятовский Станислав Август (1732—1798), польский король в 1764—1795 гг. — 248
- Поппеева Сабина (ум. 65 г. н. э.), вторая жена римского императора Нерона — 62
- «Послание к Лукуллу» — «На выздоровление Лукулла», стихотв. А. С. Пушкина (см.)
- Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791) — госуд. деятель, генерал-фельдмаршал — 26, 247

- «Потерянный рай», оратория композитора Ф. К. Гебеля (см.)
- Пошлепкина, действ. лицо в комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя (см.)
- Прейс, братья, нем. цирковые артисты и антрепренеры, гастролировавшие неоднократно в России — 157
- «Пресса» («La Presse»), франц. ежедневная газета, основанная Жирарденом; выходила в Париже в 1836—1866 гг. — 408, 481
- Прово Елизавета Ивановна (ум. ок. 1822 г.), воспитательница А. И. Герцена, жена садовника-француза в имении П. А. Яковлева — 23, 24, 32, 34, 64
- Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762 — 1848), проф. естественных наук (с 1790) и ректор (1818—1826) Моск. ун-та — 165, 461
- Прометей (миф.) — 82, 125
- Промифей, см. стихотв. «На выздоровление Лукулла» А. С. Пушкина
- Пронька, «дурак», крепостной села Васильевского — 72, 448
- Протопопов Иван Евдокимович, домашний учитель А. И. Герцена с 1826 г. — 63—66, 70
- Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865) — 163, 443
- Пуансо (Poisot) Луи (1777—1859), франц. математик и механик — 123
- «Начала статики» («Éléments de statique») — 123
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 61, 401, 402, 429, 450
- Пушкин Александр Сергеевич (1799 — 1837) — 57, 64, 79, 87, 126, 133, 241, 296, 383, 426, 451, 453, 456, 457, 458, 470, 476, 479
- «Бахчисарайский фонтан» — 228, 470
- «Вольность» — 64, 451, 456
- «Граф Нулин» — 274, 330, 476; Наталья Павловна — 274
- «Евгений Онегин» — 67, 83, 133, 332, 424, 451, 458, 476; княжна Алина — 332; Грандисон — 332, 470; Ларина — 332
- «Египетские ночи» — 241, 470; импровизатор — 241
- «Кавказский пленник» — 228
- «Каменный гость» — 383, 479; Лаура — 383
- «К вельможе» — 87, 453
- «Кинжал» — 64, 456
- «На выздоровление Лукулла» — 126, 457, Лукулл — 126; Промифей — 126
- «Наполеон» — 424
- «Полтава»; Мазепа — 176; Мария — 176
- «Путешествие Онегина» — 453
- Пушкин Василий Львович (1767—1830), поэт, дядя А. С. Пушкина — 100
- Рабус Карл Иванович (1800—1857), художник, член Академии художеств — 143
- Радклиф Анна (1764 — 1823), англ. писательница, автор «средневековых» романов — 133
- Раевский Александр Николаевич (1796 — 1863), полковник, друг А. С. Пушкина — 177
- Раевский Николай Николаевич (1771 — 1829), генерал, герой Отечественной войны 1812 г., отец А. Н. и Н. Н. Раевских и Е. П. Орловой — 177
- Раевский Николай Николаевич (1801—1843), генерал, друг Пушкина, в конце 20-х годов и в 1837 — 1841 гг. участвовал в военных действиях на Кавказе — 177, 178, 466
- Расин Жан (1639—1699) — 50, 449
- «Гофолія» — 50, 449; Абнер — 50, 449
- «Федра» — 49, 449; Терамен — 49, 449
- «Растительная орнотграфия», соч. Де-Кандоля (см.)
- Рафаил, один из двух друзей, ведущих переписку в «Философских письмах» Ф. Шиллера (см.)
- Рафаэль (Рафаил, Rafael, Raffaello) Санти (1483 — 1520) — 387, 415
- «Сикстинская мадонна» — 387, 415
- «Ревизор» — см. Гоголь Н. В.

- Регул Марк Атилий (умер ок. 248 до н. э.), римский полководец и политический деятель, консул — 87, 177
- Рейсс (Reuss), Август Христиан, нем. химик, проф. в Тюбингенском ун-те, дядя Ф. Ф. Рейсса — 120, 123
- Рейсс (Рейс, Reuss) Фердинанд Фридрих (Федор Федорович) (1778 — 1852), проф. химии в Моск. ун-те (1804—1832). Герцен слушал у него курс всеобщей химии — 120, 123
- «Репертуар» («Répertoire du théâtre français») — 47, 449
- Рея (миф.) — 387
- Ридигер Федор Васильевич, граф (1783 — 1856), генерал-адъютант, участник подавления польского восстания в 1830 — 1831 гг. и венгерской революции в 1849 г. — 228
- «Римские элегии», цикл стихотворений В. Гёте (см.)
- Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевдоним Жан Поль) (1763—1825), нем. писатель — 202
- Рихтер Михаил Вильгельмович (р. 1799), врач, проф. акушерства в Моск. ун-те (1827 — 1851) — 107, 423
- Ричардсон (Richardson) Самюэл (1689 — 1761), англ. писатель — «Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» («Clarissa Harlowe or The History of a young Lady»); Ловлас — 95, 125, 248
- Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758 — 1794) — 151, 165, 450
- Робинзон Крузо, герой одноименного романа Д. Дефо (см.)
- Розе Густав (1798 — 1873), нем. минералог и географ, сопровождал А. Гумбольдта в путешествии по Сибири и на Урал в 1829 г. — 125
- Розенгейм Михаил, студент Моск. ун-та, участник «маловской истории» — 121, 424
- «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений», — сборники русских пьес XVIII в., выходившие в Петербурге в 1786 — 1794 гг. под редакцией президента Академии наук Е. Ф. Дашковой — 47
- Ростовцев Яков (Иаков) Иванович (1803 — 1860), госуд. деятель, генерал-адъютант, автор доноса на декабристов — 330, 449, 457
- Ростопчин Федор Васильевич, граф (1763—1826), военный губернатор и главнокомандующий в Москве (1812 — 1814) — 16, 18, 94
- Ростопчина Екатерина Петровна, рожд. Протасова, графиня (1775 — 1859), жена Ф. В. Ростопчина — 94
- Рулюковиус Фердинанд, аптекарь в Вятке во время ссылки Герцена; в его доме жила Полина Тромпетер — 346—348
- Рунин Дмитрий Павлович (1778 — 1860), реакционный чиновник, мистик, в 1821 — 1826 гг. попечитель Петербургского учебного округа — 283
- «Русский император», сатирическая песенка, приписывавшаяся В. И. Соколовскому — 203, 204
- Руссо Жан Жак (1712 — 1778) — 151, 288, 327
- Рылеев Кондратий Федорович (1795 — 1826) — 64, 79, 117, 426, 451
- «Войнаровский» — 228, 451
- «Думы» — 64
- Рыхлевский Андрей Иванович (1783—1830), вятский губернатор в 1825 — 1830 гг. — 257, 259
- С. — Свечина, знакомая М. А. Хованской — 353, 478
- С. — Соколов, офицер в Крутицких казармах — 394
- Савич Алексей Николаевич (1810—1883), участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии выдающийся астроном — 136, 459

- Сазонов Николай Иванович (1815 — 1862), участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии эмигрант, публицист — 136, 153, 157, 187, 439, 448, 459
- Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна (псевдоним Евгения Тур), графиня (1815 — 1892), писательница — 83, 452
- Саломка (Соломка) Афанасий Данилович (1786—1872), придворный чиновник, приближенный Александра I, сопровождал его во время путешествий — 240, 241
- Самойлов Николай Александрович, граф (ум. 1842), флигель-адъютант при Александре I — 58
- Санглен (Де-Санглен) Яков Иванович (1776 — 1864), в 1812 — 1816 гг. начальник тайной полиции, приближенный Александра I — 58, 99
- Санти Александр Львович, граф (1769—1838), генерал-лейтенант, в 1811 г. киевский губернатор — 87
- Сентин (Сантин, Saintine), настоящая фамилия — Бонифас Жозеф Ксавье (1798 — 1865), франц. писатель — 331, 478
- «Изувеченный» («Le mutilé») — 331; Гаэтана — 331
- Сардинский король — Карл Альберт (1798—1849)—63
- Сатин Николай Михайлович (1814 — 1873), поэт и переводчик, друг юности Герцена, участник студенческого кружка Герцена — Огарева, сохранивший с ними дружеские отношения и после отъезда Герцена за границу — 11, 136, 146, 153, 154, 156 — 158, 204, 208, 212, 213, 215, 393, 428, 447, 459, 460, 461, 469, 478
- «Сашка», поэма А. И. Полежаева (см.)
- «Свадьба Фигаро» — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», комедия Бомарше (см.)
- Сведенборг (Шведенборг, Swedenborg), Эммануил (1688—1772), шведский теософ, мистик — 288
- Свербеев Дмитрий Николаевич (1799 — 1876), моск. дворянин, в его доме собирались представители как «славянофилов», так и «западников» — 112, 423
- «Свет в лицах» — «Свет зримый в лицах, или величие и многообразность зникдителейых намерений, открывающиеся в природе и во нравах... объясненными физическими и нравственными изображениями, украшенными достойным сих предметов словом, в пользу великого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам...перевел с немецкого языка на российский Иван Хмельницкий» — 24
- «Севильский цирюльник» — «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», комедия Бомарше (см.)
- Сегюр Луи Филипп (1753—1830), франц. дипломат и писатель — 68, 451
- «Краткая всеобщая история, древняя и новая, предпозначенная для юношества» («Abrégé de l'Histoire universelle, ancienne et moderne, à l'usage de la jeunesse»), в 44 томах — 68, 451
- Селастенник Гавриил Корнеевич, пермский губернатор в 1835 г. — 225—227, 229, 429, 470
- Селифан, действ. лицо в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (см.)
- Семенов Иван Семенович (1797 — 1848), жандармский полковник, начальник части, расположенной в Крутицких казармах — 198, 390, 394, 479
- Семенова Екатерина Семеновна, в замужестве кн. Гагарина (1786—1849), трагическая актриса — 198, 468
- Сенатор — см. Яковлев Л. А.
- Сенковский Осип Иванович (псевдоним — Барон Брамбеус), (1800—1858), востоковед, писатель и журналист, редактор журнала «Библиотека для чтения» — 38
- Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан (1767 — 1794), деятель

- франц. бурж. революции конца XVIII в., один из руководителей якобинской революционно-демократической диктатуры — 151
- Сен-Симон Анри Клод (1760—1825) — 161, 206, 207, 351
- Сен-Симон де Рувруа Луи, герцог (1675 — 1755), дед предыдущего, франц. полит. деятель и мемуарист — 207, 469
- «Подлинные воспоминания герцога Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства» (*«Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence etc.»*) — 207, 469
- Сенявин Иван Григорьевич (1801—1851), в 1838—1840 гг. новгородский губернатор, в 1840—1845 гг. московский губернатор, сенатор — 253
- Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616)
- «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; Дульциня — 247
- Сеславин Александр Никитич (1780—1858), офицер, герой-партизан Отечественной войны 1812 г. — 257, 258
- Сикст V (1521 — 1590), римский папа с 1585 г. — 331
- «Сикстинская мадонна», картина Рафаэля (см.)
- Сильвестр (р. в конце XV в. — ум. в 60 — 70-х гг. XVI в.), священник, политический, церковный и литературный деятель, духовник Ивана IV Грозного — 280
- «Сионский вестник», ежемесячный религиозно-мистический журнал, издававшийся А. Ф. Лабзиным в Петербурге в 1806, 1817 и 1818 гг. — 58, 284
- Скалозуб, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
- Скаретка (Скарятка) Иван Павлович, офицер, полицейский провокатор, инициатор дела «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» в 1834 г. — 203, 204, 468
- Скворцов Андрей Ефимович, друг Герцена в период вятской ссылки, учитель вятской гимназии — 289, 473
- Слепушкин, московский лавочник — 91, 92
- Смаллан Елизавета Петровна, рожд. Яковлева, тетка Т. П. Пассек и двоюродная сестра А. И. Герцена — 65, 451
- Смирнов Константин Петрович, чиновник во Владимире, содействовавший свадьбе Герцена — 370, 479
- Снаксарев Афанасий Иванович (1793 — 1851), полковник, помещик, в 1837 г. сватался к Н. А. Захарьиной — 353—355, 478
- Соколов Георгий Васильевич, священник Ржевской церкви близ Пречистенских ворот, подпись его имеется на всех протоколах допросов следственной комиссии 1834 г. — 188, 189, 209, 460, 467
- Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839), поэт, в 1832 г. сблизился со студенческим кружком Герцена — Огарева, в 1834 г. был арестован — 153, 154, 203, 204, 210 — 214, 393, 426, 460, 468, 469
- «Мироздание» — 210
- «Одна и две, или любовь поэта» — 460
- «Хеверь» — 153, 210, 460
- Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882), писатель
- «Тарантас» — 303, 474
- Соломка — см. Саломка А. Д.
- Сорокин Михаил Федорович, художник, был арестован в 1834 г. одновременно с Герценом и выслан в Костромскую губ.; в 1842 г. вернулся в Москву — 213, 215, 468
- Софья Павловна — см. «Горе от ума» А. С. Грибоедова
- Сперанский Михаил Михайлович (1772 — 1839), госуд. и полит. деятель в царствование Александра I. С 1819 г. генерал-губернатор Сибири, в 1821 г. вернулся в Петербург — 253
- Спиридон, повар в доме И. А. Яковлева — 71, 91, 95—98

- Стааль Карл Густавович (1777 — 1853), участник войн с Наполеоном, в 1830—1853 гг. комендант г. Москвы, сенатор—145, 191, 198, 203—205, 210, 213, 468
- «Старый дом», стихотворение Н. П. Огарева (см.)
- Степанов Андрей — см. Кашенцов А. С.
- «Страшный суд», фреска в Сикстинской капелле работы Микеланджело (см.)
- Стрекалов Степан Степанович (1781—1856), генерал-адъютант при Александре I, сенатор—286
- Строганов Александр Григорьевич, граф (1795—1891), в 1834—1836 гг. товарищ министра внутренних дел — 220, 470
- Строганов Сергей Григорьевич, граф (1794—1882), госуд. и военный деятель, в 1835—1847 гг. попечитель Моск. учебного округа — 330
- Студеникин Дмитрий Игнатьевич, чиновник Московской управы благочиния в 1834—1836 гг. — 187—188, 467
- Суворов Александр Васильевич (1730—1800)—242, 257
- Сунгуров Николай Петрович (р. 1805), возглавлял тайное общество в Москве в конце 1820-х гг., был арестован в 1831 г. и приговорен к каторжным работам, умер в Сибири — 105, 144, 147, 148, 427, 447, 454, 458, 459, 460, 462, 463
- Сцевола, прозвище легендарного древнеримского героя VI в. до н.э. Кая Муция — 264
- «Тарантас», повесть В. А. Соллогуба (см.)
- «Телеграф» — см. «Московский телеграф»
- Терновский Петр Матвеевич (1798—1874), проф. богословия в Моск. ун-те с 1827 г.— 55, 107
- Тирье, Франц Николаевич, французский учитель А. И. Герцена в юношеские годы — 99
- «Ткачиха» (правильное название «Пряха»), стихотворение В. Гёте (см.)
- Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805—1859), франц. буржуаз-
- ный историк и полит. деятель — 296, 473
- «О демократии в Америке» («De la démocratie en Amérique») — 296, 473
- Толочанов Константин Дмитриевич (ум. 1821), крепостной Яковлевых — 45, 46
- Толстая Авдотья Максимовна, рожд. Тучаева, графиня (ум. 1861), жена Ф. И. Толстого — 243
- Толстая Сарра Федоровна, графиня (1821—1838), дочь графа Ф. И. Толстого, поэтесса — 243
- Толстой Федор Иванович («Американец»), граф (1782—1846), богатый помещик, авантюрист и дуэлянт, его похождения неоднократно описаны современниками — 242, 243
- Толстой Николай Иванович (1792—1854), сенатор, ревизовавший Сибирь — 248
- Тон Константин Андреевич (1794—1881), архитектор, с 1854 г. ректор Петерб. Академии художеств, автор проекта, по которому был построен храм Христа Спасителя в Москве — 280
- Торвальдсен (Thorvaldsen) Бертель (1770—1844), датский скульптор — 178, 467
- Тохтамыш (ум. ок. 1406), хан Золотой Орды — 294
- Тревизский герцог — см. Мортье Э. А.
- Тредиаковский (Тредьяковский) Василий Кириллович (1703—1769), поэт и теоретик литературы — 120
- Трескин Николай Иванович (1763—1842), иркутский губернатор в 1805—1820 гг.— 255
- Тромпетер Полина (Паулина), в замужестве Скворцова, друг Герцена в период вятской ссылки — 346—348, 477
- Трубецкая, княгиня — 44, 45, 420
- Трубецкая Екатерина Ивановна, рожд. Лаваль (ум. 1854), жена декабриста кн. С. П. Трубецкого — 60
- Трюбнер (Trübner) Николай (1817—1884), англ. библиограф и издатель. Издавал и распространял издания А. И. Герцена — 407, 446, 470

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 123, 444, 475

Тьер (Thiers) Луи Адольф (1797—1877)—207, 469

—«История французской революции» («Histoire de la Révolution française») — 207, 469

Тюфяев Кирилл Яковлевич (1775—после 1840), губернатор в Перми с 1824 г., в Твери—с 1831 г., в Вятке — в 1834—1837 гг.—234—237, 240, 241, 246, 247, 249—251, 270, 272, 289, 291, 293—296, 299, 343, 429, 465, 470

Уваров Сергей Семенович (1786—1855), реакционный госуд. деятель; президент Академии наук в 1818—1855 гг.; министр народного просвещения в 1833—1849 гг. — 123, 126—129, 456, 457, 474

—Император Российский и Бонапарте» («L'Empereur Alexandre et Buonaparte») — 126, 457

—«Слово на смерть Моро» («Eloge funèbre de Moreau») — 126, 457

Угар, действ. лицо в комедии «Марфа и Угар, или Лакейская война» А. А. Корсакова (см.)

Уткин Алексей Васильевич (ок. 1796—1836), художник-разночинец, арестован вместе с Герценом и др. в 1834 г. В 1835 г. заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер — 213, 214, 468, 469

Фабриций, действ. лицо в стихотворении «Современная песня» Д. В. Давыдова (см.)

«Феатр» — см. «Российский феатр...»

Федор Карлович, немец — гувернер А. И. Герцена в детстве — 52, 53

Фен (de Fain) Агата Жан Франсуа (1778—1837), секретарь Наполеона, I — 18, 448

—«Описание 1812 года» («Manuscript de l'an 1812, contenant le précis des événements de cette année, pour servir à l'histoire de l'empereur») — 18, 448

Фигаро, действ. лицо в комедии Бомарше (см.)

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), офицер, герой-

партизан Отечественной войны 1812 г.— 257, 258

Фиеско, действ. лицо в драме «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера (см.)

Фиески (Fieschi) Джузеппе (1790—1836), корсиканец, в 1835 г. произвел покушение на франц. короля Луи-Филиппа — 173

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867), московский митрополит с 1826 г.—62, 105, 130, 131, 265, 283, 285, 353, 457, 458, 471, 478

—«Слово по освящению храма и по принесении господу богу молитвы о предохранении от губительной болезни. Говорено сентября 18 дня 1830 г.» — 131, 457

—«Начатки учения христианского, или краткая священная история и краткий катехизис» — 130, 457

—«Христианский катехизис православной католической восточной греко-русской церкви» — 130, 457

Филимонов, жандарм, приставленный к Герцену во время его заключения в Крутицких казармах — 197—201

Фицхеларов Степан Петрович, с 1827 г. студент медицинского факультета Моск. ун-та — 132, 458

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771—1853), проф. зоологии в Моск. ун-те в 1804—1835 гг.; А. И. Герцен слушал у него курс зоогнозии — 120

Флорестан I (1785—1856), монашеский князь — 304

Фоблас (Фоблас), герой серии романов Луве де Кувре (см.)

Фогт, действ. лицо в драме «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера (см.)

Фотий (1792—1838), архимандрит новгородского Юрьевского монастыря. При Александре I участник дворцовых интриг — 283, 450

Франкёр (Francœur) Луи Бенжамен (1773—1849), франц. математик, автор популярных учебников, переведенных на русский язык — 109, 455

—«Полный курс чистой математики» («Cours complet de mathématiques pures») — 109, 455

Франкёров курс — «Полный курс чистой математики» Франкёра (см.)

Фридрих II Великий (1712—1786), король прусский — 24

«Хеверь», драма в стихах В. И. Соколовского (см.)

Херст и Блекет (Герст и Блякет, Hurst and Blacket), англ. издательство — 399

Херубим (Керубино), действ. лицо в комедии «Женитьба Фигаро» Бомарше (см.)

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), писатель, поэт и драматург — 120

«Химик» — см. Яковлев Алексей Александрович

Хованская Екатерина Федоровна, княгиня (р. 1788), дочь кн. М. А. Хованской — 314, 475

Хованская Мария Алексеевна, рожд. Яковлева («княгиня») (1755—1847), тетка А. И. Герцена. В ее доме воспитывалась Н. А. Захарьина — 27, 101, 150, 311—320, 322—329, 351—358, 363—365, 367, 369, 373, 377, 432, 443, 475

Хованская Наталья Федоровна, княгиня (1792—1821), в замужестве Насакина, дочь кн. М. А. Хованской — 314, 316, 475

Хованский Федор Сергеевич, князь (1753—1822), помещик — 314, 319

Ховрина Александра Николаевна, в замужестве Бахметева (1825—1901), дочь М. Д. Ховриной, позднее писательница, автор религиозных рассказов для детей — 189

Ховрина Мария Дмитриевна, рожд. Лузина (1801—1877), в 30-х и 40-х гг. была близка к литературным кругам — 189, 467

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт философ, теоретик славянофильского движения — 112, 126, 423

Христос — см. Иисус Христос

Цезарь Кай Юлий (100—44 до н. э.) — 224, 470

Цеханович Петр, участник польского освободительного движения 1830-х гг. — 229—231, 407, 428, 429, 462, 465, 466

Цшокке (Zschokke) Иоганн Генрих (1771—1848), нем. писатель — 68

Цынский Лев Михайлович, генерал-майор, в 1834—1845 гг. обер-полицмейстер Москвы — 178, 179, 184, 186—191, 204, 213, 214, 217, 394, 467, 469

Чаадаев Петр Яковлевич (р. между 1793—1796, — ум. 1856) — 58, 367 — «Философические письма» — 367, 479

Чеботарев Василий Степанович (ум. после 1889 г.), врач на одном из заводов близ Перми во время пермской ссылки Герцена — 237—240, 429, 465

Челлини (Cellini) Бенvenuto (1500—1571), итал. скульптор, ювелир и медальер — 40, 405

— «Жизнь Бенvenuto, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции» («La vita di Benvenuto M^o. Giovanni Cellini, Fiorentino scritta per lui medesimo in Firenze») — 404, 405

«Чернец», стихотв. И. И. Козлова (см.)

Чернов Константин Пахомович (ок. 1803—1825), подпоручик, двоюродный брат К. Ф. Рылеева, член Северного общества — 59, 450

Чернышев Захар Григорьевич, граф (1796 — 1862), декабрист, до ареста ротмистр — 143

Черткова Елизавета Григорьевна, рожд. Чернышева (ум. 1858 г.), близкий друг семьи Пасек — 143, 459

«Четьи-Минеи», церковно-религиозные сборники, преимущественно жития святых — 391

Чеченский Александр Николаевич, генерал, участник войн с Наполеоном, товарищ Д. В. Денисова по партизанскому движению 1812 г. — 135

- Чумаков Федор Иванович (1782—1837), проф. математики в Моск. ун-те, декан физико-математического отделения в 1827—1831 гг. — 120, 123
- Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852), поэт-сентименталист — 99
- Шанявский Гаспар Степанович (р. ок. 1808), студент Моск. ун-та, арестованный в 1831 г. — 135—136, 458, 459
- Шведенбург — см. Сведенберг
- Шевалье (Chevalier) Шарль Луи (1804—1859), франц. физик и оптик — 111
- Шекспир Вильям (1564—1616) — «Макбет»; леди Макбет — 133 — «Гамлет»; Гамлет — 433; Офелия — 59
- Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — 161
- Шемяка Димитрий Юрьевич (1420—1453), удельный князь Звенигорода и Галича-Костромского — 344
- Шереметев Николай Петрович, граф (1751—1809), сенатор, общественный деятель — 99, 453
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 73, 79, 83, 84, 149, 152, 327, 329, 347, 425, 451, 452, 476 — «Валленштейн» — 84; Валленштейн — 73 — «Вильгельм Телль»; Вильгельм Телль — 79, 452; Фогт — 79, 452 — «Дева с чужбины» («Das Mädchen aus der Fremde») — 329, 348, 476 — «Дон Карлос»; маркиз Поза — 84 — «Заговор Фиеско в Генуе» («Die Verschwörung des Fiesco zu Genua»); Фиеско — 84; Веррина — 84 — «Порука» («Die Bürgschaft») — 79, 452; Мёрос — 79, 422, 452 — «Разбойники» — 73, 451; Карл Моор — 84 — «Философские письма» («Philosophische Briefe»); Рафаил — 83
- Ширяев Александр Сергеевич (ум. 1841), крупный издатель и книгопродавец — 141, 142
- Шишков Александр Семенович (1754—1841), реакционный госуд. деятель и писатель; министр просвещения в 1824—1828 гг. — 21, 165, 166, 448, 461
- Шишков С. С. — см. Шишков А. С.
- Шкун, крепостной крестьянин и доверенное лицо И. А. Яковлева — 90, 91,
- Шубинский Николай Петрович (1782—1837), жандармский полковник, управляющий делами Моск. округа, был членом обоих следственных комиссий по делу Герцена, Огарева и др. в 1834 г. — 146, 147, 191, 206, 207, 209, 215—216
- Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 222, 223, 470
- Щепкин Павел Степанович (1793—1836), проф. математики Моск. ун-та в 1826—1833 гг., декан физико-математического отделения; Герцен слушал у него курсы высшей алгебры, дифференциального и интегрального исчисления — 128, 149, 457
- Щербатов Алексей Григорьевич, князь (1776—1848), генерал, моск. генерал-губернатор в 1844—1848 гг. — 243
- Экк Иван Иванович (1758—1827), учитель музыки, занимался с А. И. и Е. И. Герцен в юности — 51, 449
- Эмилия — см. Аксберг Э. М.
- Энке (Encke) Иоганн Франц (1791—1865), нем. астроном, его именем названа открытая в 1818 г. комета — 239, 470
- Эренберг Христиан Готфрид (1795—1876), нем. зоолог, участвовал в экспедиции А. Гумбольдта на Урал в 1829 г. — 125
- Эрн Прасковья Андреевна (ум. 1849), мать М. К. Рейхель и Г. К. Эрн, друзей А. И. Герцена — 337, 342, 385, 386, 414, 479, 483
- Эскус (Escousse) Виктор (1813—1832), франц. поэт и драматург, покончил самоубийством совместно со своим другом поэтом О. Лебра — 151
- Эссен Петр Кириллович (1772—1844), генерал, оренбургский, а затем петербургский генерал-

губернатор, друг И. А. Яковлева — 33, 34, 77
Эссен, флигель-адъютант Николая I — 274

Юлия (39 г. до н. э. — 14 н. э.), единственная дочь римского императора Августа Кая Октавиана (63 до н. э. — 14 н. э.), за безнравственное поведение изгнанная отцом из Рима — 62

Юмала (миф. народа мари) — 265
«Юмор», поэма Н. П. Огарева (см.)

Юпитер (миф.) — 126

Юсупов Николай Борисович, князь (1750—1831), сановник и крупнейший помещик, в 1820-х гг. главноуправляющий экспедицией кремлевского дворца — 33, 72, 87, 105, 106

Юшневская Мария Казимировна, рожд. Круликовская (р. ок. 1790), жена А. П. Юшневского. После смерти мужа (1844) продолжала жить в Сибири до 1855 г. — 248

Юшневский Алексей Петрович (1786—1844), генерал-интендант, декабрист, пробыл на каторге до 1839 г., затем на поселении — 248

Ягеллоны, литовско-польская королевская династия в 1386—1572 гг. — 146

Языкова Елизавета Петровна, рожд. Ивашева (1805—1848), сестра декабриста В. П. Ивашева — 60

Яковлев Александр Алексеевич («старший братец») (1762—1825), дядя А. И. Герцена и отец Н. А. Захарьиной, камер-

гер, в 1803 г. занимал недолго пост обер-прокурора синода — 25—28, 49, 71, 109, 112, 312, 314, 319—321, 443, 449

Яковлев Алексей Александрович (1726—1781), дед А. И. Герцена, был женат на кн. Наталье Борисовне Мещерской (1734—1781) — 28, 312

Яковлев Алексей Александрович («Химик») (1795—1868), двоюродный брат А. И. Герцена и брат по отцу Н. А. Герцен (Захарьиной) — 71, 105, 109—115, 319, 320, 358, 377, 456, 478

Яковлев Иван Алексеевич («отец», «папенька») (1767—1846), отец А. И. Герцена — 15—23, 25—35, 39—41, 45—51, 53, 54, 56, 61, 65, 70—73, 86, 88—106, 110—116, 133, 156—158, 175, 178, 180, 181, 208, 273, 285, 286, 311—315, 318—323, 334, 351, 355, 357—360, 369, 376, 377, 400, 401, 423, 443, 453, 477

Яковлев Лев Алексеевич («Сенатор») (1764—1839), дипломат и сенатор, дядя А. И. Герцена — 15, 22—30, 32, 33, 37, 39—41, 44—47, 50, 53, 56, 57, 70, 92, 93, 99, 103, 104, 110, 111, 133, 175, 311, 312, 314, 316, 318, 323, 351, 354—358, 369, 448

Яковлев Петр Алексеевич (1760—1813), член военной коллегии, дядя А. И. Герцена и дед Т. П. Пассек — 21, 28, 45, 65, 312, 448, 449

Яковлева Олимпиада Максимовна (1775—1865), жена Александра Алексеевича Яковлева, мать А. А. Яковлева («Химика») — 109, 111, 113

Abner — действ. лицо в драме «Гофлия» Ж. Расина (см.)

«Almanach des femmes», сочинение Ж. Деруан (см.)

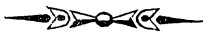
Aphrodite (миф.) — 415

«The Atheneum», англ. ежемесячный журнал литературной критики, философии и искусства.

Вых. в Лондоне с 1828 г. 399, 405, 406

Barnum Phineas Taylor (1810—1891), америк. предприниматель, аферист, создатель широко известного цирка, для которого была характерна надувательская реклама — 400

- Catherine — см. Екатерина II
 Cellini Benvenuto — см. Челлини Бенвенуто
 Cérés (миф.) — 415
 «The Critic», англ. журнал, выходил в 1846—1863 гг. — 399
 Dalès — см. Далес
 «Dernier Jugement», фреска в Си-кстинской капелле работы Микел-анджело (см.)
 Diane (миф.) — 415
 «Élégies romaines» — см. «Рим-ские элегии» В. Гёте
 Emilie — см. Аксберг Э. М.
 «Faust» — см. «Фауст» В. Гёте
 «La Fileuse» — см. «Пряха» В. Гёте
 Gérard de Nerval — см. Жерар-де-Нерваль
 Goethe — см. Гёте В.
 Gretchen, действ. лицо в «Фаусте» В. Гёте (см.)
 Hoffman and Campe -- см. Гофман и Кампе
 Humboldt — см. Гумбольдт А.
 Hurst et Blacket — см. Херст и Блекет
 Isis (миф.) — 415
 Jésus — см. Иисус Христос
 Joseph, официант из ресторана «Яр» — 154
 «Journal de Francfort», монархи-ческая газета, выход. в 1834 г. во Франкфурте-на-Майне на франц. языке — 93
 «Journal de Débats», консерватив-ная газета, выходит в Париже с 1789 г. — 133
 «Journal de St. Pétersbourg», пра-вительственная газета, вы-ход. в Петербурге на франц. языке с 1813 г. — 93
 «Da Mädchen aus der Fremde», романс на слова Ф. Шиллера (см.) — 348
 «La Madone Sixtine», картина Ра-фаэля (см.)
 Marie (Madone, La Vierge) (библ.) — 415, 416
 Matthey m-me (Анна Ивановна), гувернантка в доме кн. М. А. Хо-ванской, давала уроки франц. языка Н. А. Захарьиной — 318, 323, 328—329, 475
 «Mémorial de S-te Hélène», соч. Лас-Каза (см.)
 Michel-Ange — см. Микеланджело
 Mignon — см. Миньона
 Mirowitz — см. Мирович В. Я.
 «Morning Post», англ. ежедневная газета, основана в 1772 г. — 399
 N... — см. Герцен Н. А.
 Natalie — см. Герцен Н. А.
 Nicolas — см. Николай I
 Ninon de Lenclos — см. Ланкло Нинон
 P. (Pauline) — см. Медведева П. П.
 Paul — см. Павел I
 Pestel — см. Пестель П. И.
 «Philosophische Briefe», соч. Ф. Шил-лера (см.)
 Pie IX — см. Пий IX
 Pougatchef — см. Пугачев Е. И.
 «La Presse» — см. «Пресса»
 Prométhée — см. Прометей
 Rafael — см. Рафаэль
 «Revue des Deux Mondes», двух-недельный буржуазный лите-ратурно-художественный и пуб-лицистический журнал, издается в Париже с 1829 г. — 404, 406, 487
 Sand Karl (1795—1820), студент Иенского ун-та, убивший реак-ционного немецкого писателя Копебу — 146
 «Sur les révolutions du globe ter-restre», сочинение Кювье (см.)
 Thérémène, действ. лицо в тра-гедии «Федра» Расина (см.)
 Thirié — см. Тирье
 «Times», англ. ежедневная газета консервативного направления, основана в 1785 г. — 152
 Van Eyck-Jan (ок. 1390—1441), ни-дерландский художник — 415, 479, 483
 «Weekly Times», англ. еженедель-ная газета, выходила в 1847—1885 гг. — 399
 Wellington — см. Веллингтон А. У.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

«Былое и думы», том I, Лондон, 1861. Титульный лист	16
Н. П. Огарев. Портрет работы неизвестного художника. 1830-е годы. Государственный Исторический музей. Москва	80
«Тюрьма и ссылка». Титульный лист второго издания. 1858.	
Н. А. Герцен. Рисунок итальянским карандашом, 1848. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР	320
«Былое и думы», часть III, глава XXI, Страница рукописи (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина	336
А. И. Герцен с сыном Александром. Портрет работы неизвестного художника, 1839 г. Государственный литературный музей. Москва	384

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
60	6 сл.	участи	участии
63	11 сл.	у хал ¹	уехал
83	8 сл.	Bet awill ¹	Bettina will
92	7 сл.	finances	finances
104	2 сл.	Бурьенна	Бурьенна ² ,
135	4 сл.	пропал	<i>пропал</i>
398	14 сл.	dinanziera	dinanzi era

¹ В части тиража.— *Ред.*

² В связи с этим исправлением отпадает комментарий на стр. 453.— *Ред.*

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Варианты	Комментарии
БЫЛОЕ И ДУМЫ			
Н. П. Огареву . . .	7		446
⟨Предисловие⟩	9		446
<i>Часть первая</i>			
Детская и университет (1812—1834)			
Глава I. Моя нянюшка и La grande armée.— Пожар Москвы.— Мой отец у Наполеона.— Генерал Иловайский.— Путешествие с фран- цузскими пленниками. — Патриотизм. — К. Кало.— Общее управление имением.— Раздел.— Сенатор	15	420	448
Глава II. Разговор нянюшек и беседа генера- лов.— Ложное положение.— Русские энци- клопедисты.— Скука.— Девичья и перед- няя.— Два немца.— Учение и чтение.— Кате- хизис и евангелие	32	420	449
Глава III. Смерть Александра I и 14 декабря.— Нравственное пробуждение. — Террорист Бушо.— Корчевская кузина	56	421	450
Глава IV. Ник и Воробьевы горы	77	422	452
Глава V. Подробности домашнего житья.— Люди XVIII века в России.— День у нас в доме.— Гости и habitués.— Зонненберг.— Камердинер и пр.	86	423	453
Глава VI. Кремлевская экспедиция.— Москов- ский университет.— Химик.— Мы.— Малов- ская история.— Холера.— Филарет.— Сунгу- ровское дело.— В. Пассек.— Генерал Лесов- ский	105	423	454
Глава VII. Конец курса.— Шиллеровский пе- риод.— Молодая юность и артистическая жизнь.— Сен-симонизм и Н. Полевой	149	425	460
Прибавление. А. Полежаев	165	426	461

Тюрьма и ссылка (1834—1838)

Глава VIII. Пророчество. — Арест Огарева. — Пожар. — Московский либерал. — М. Ф. Орлов. — Кладбище	171	427	466
Глава IX. Арест. — Добросовестный. — Канцелярия Пречистенского частного дома. — Патриархальный суд	180		467
Глава X. Под каланчой. — Лиссабонский кварталный. — Зажигатели	186	427	467
Глава XI. Крутицкие казармы. — Жандармские повествования. — Офицеры	195	428	468
Глава XII. Следствие. — Голицын sep. — Голицын jun. — Генерал Стааль. — Сентенция. — Соколовский	203	428	468
Глава XIII. Ссылка. — Городничий. — Волга. — Пермь	219	428	469
Глава XIV. Вятка. — Канцелярия и столовая его превосходительства. — К. Я. Тюфяев	234	429	470
Глава XV. Чиновники. — Сибирские генерал-губернаторы. — Хищный полицмейстер. — Ручный судья. — Жареный исправник. — Равноапостольный татарин. — Мальчик женского пола. — Картофельный террор и пр.	252	430	471
Глава XVI. Александр Лаврентьевич Витберг	277	430	472
Глава XVII. Наследник в Вятке. — Падение Тюфяева. — Перевод во Владимир. — Исправник на следствии	291	431	473
Глава XVIII. Начало владимирской жизни	301	431	473

Часть третья

Владимир-на-Клязьме (1838—1839)

Глава XIX. Княгиня и княжна	311	432	475
Глава XX. Сирота	319	432	475
Глава XXI. Разлука	333	432	476
Глава XXII. В Москве без меня	351	433	477
Глава XXIII. Третье марта и девятое мая 1838 г.	361	433	478
Глава XXIV. 13 июня 1839 года	380	433	479
«Письма к Н. А. Захарьиной»	389		

ПРЕДИСЛОВИЯ, ПЕРЕВОДЫ, ОТРЫВКИ

Братьям на Руси	397	434	480
К первой части			
«Предисловие»	399		480
«Все несчастье борьбы...»	400		480
«Из III главы»	400	434	480
Ко второй части			
Введение «к первому изданию «Тюрьмы и ссылки»	403		481
«Предисловие к английскому изданию»	404		481
Ко второму изданию ««Тюрьмы и ссылки»»	406		481

	Текст	Варианты	Комментарии
К третьей части			
⟨Предисловие⟩	408		481
⟨Авторский перевод из XXIV главы⟩	409		481
Варианты		417—434	
Принятые сокращения		419	
Комментарии		435—484	
Указатель имен		485	
Список иллюстраций		515	



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, В. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМЕРНОВА, [Е. В. ТАРЛЕ], Д. И. ЧЕСНОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

•

Текст и текстологические примечания подготовил С. С. Борщевский при участии Л. Я. Гинзбург (англ. изд.) и Л. Р. Ланского (французские автографы).

Комментарии составил Н. П. Ждановский при участии В. П. Гурьянова (по архивным материалам) и Я. Е. Эльсберга (вступительная заметка).

Лингвистическая редакция французских текстов З. Н. Липовецкой. Переводы иноязычных текстов редактировали Е. А. Гунст (франц.), Н. Г. Елина (итал.), Б. И. Колесников (англ.), О. Н. Михеева (нем.), Ф. А. Петровский (лат.). Указатель имен составила Е. Б. Черняк

Редактор тома Д. Д. БЛАГОЙ

•

Редактор Издательства А. И. Корчагин
Переплет и титул художника А. П. Радищева
Технический редактор Е. В. Зеленкова
Корректор В. К. Гарди

*

РИСО АН СССР № 6-100В. Сдано в набор 10/І 1956 г.
Подп. в печать 12/IV 1956 г. Формат бум. 60×92¹/₁₆.
Печ. л. 32,5+6 вкл. Уч.-изд. лист. 28,2 + вкл.
0,3(28.5). Тираж 25 000. Т-02651. Изд. № 1424.
Тип. зак. 54.

Цена ~~15 р.~~ 4-00

Издательство Академии наук СССР.
Москва Б-64, Подсосенский пер., д. 21.

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва Г-99, Шубинский пер., д. 10.

